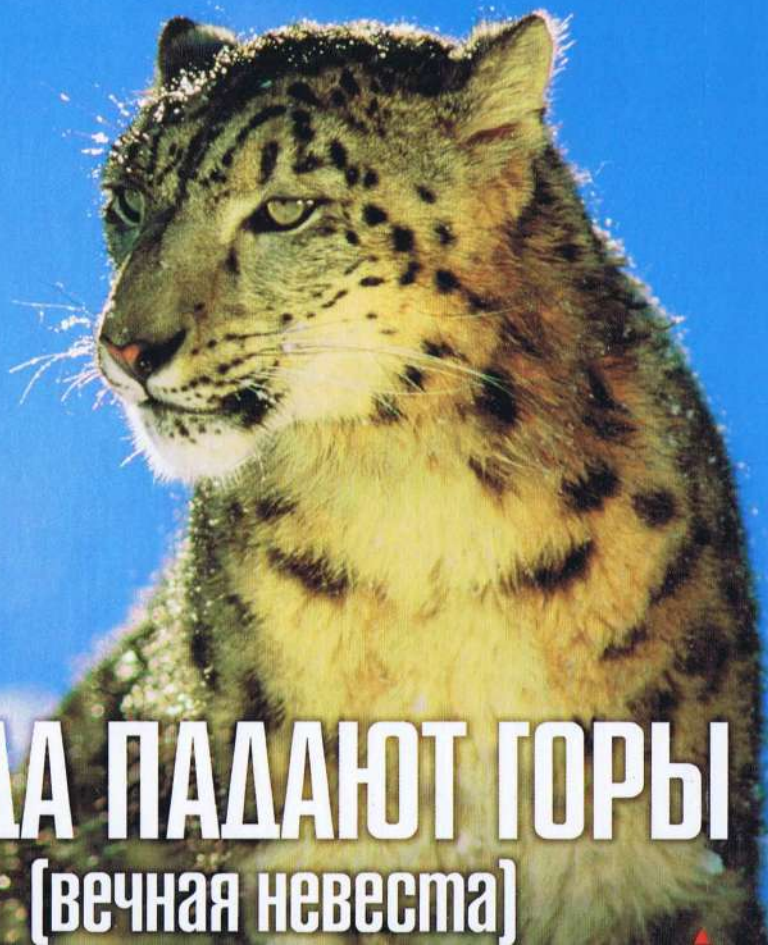


a z b o o k a - t h e b e s t

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ



КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ
(вечная невеста)

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Издательство «Азбука» представляет новый роман классика киргизской и русской литературы, писателя с мировым именем — Чингиза Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)». Чингиз Айтматов — автор ставшего культовым романа «И дольше века длится день», романов «Плаха», «Тавро Кассандры», сделавшей его в одночасье знаменитым «Книги гор и степей», повестей-притч «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря». Уходя корнями в две великие цивилизации — Восточную и Западную — проза Айтматова именно в наше время имеет особый культурологический смысл и дает нам возможность услышать диалог двух культур, происходящий в душе одного человека. Голос Айтматова — это взывающий к совести голос вечных истин, к которым всегда тянется, но которым далеко не всегда следует человечество. Последний роман Айтматова написан так же, как и его предыдущие произведения: «*sub specie mortis*» — «с точки зрения смерти», или, что в данном случае равнозначно, с точки зрения вечности. То есть так, как и должна писаться настоящая литература.

azbooka
the best

a z b o o k a - t h e b e s t

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

когда
падают
зоры

(вечная невеста)



Санкт-Петербург
Издательский Дом
«Азбука-классика»
2007

Оформление Вадима Пожидаева

Айтматов Ч.

А 36 Когда падают горы: (Вечная невеста): Роман, повесть, новелла. — СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. — 480 с.

ISBN 5-91181-227-4

Издательский Дом «Азбука-классика» представляет новый роман классика киргизской и русской литературы, писателя с мировым именем — Чингиза Айтматова «Когда падают горы. (Вечная невеста)».

Чингиз Айтматов — автор ставшего культовым романа «И дольше века длится день», романов «Плаха», «Тавро Кассандры», сделавшей его в одночасье знаменитым «Книги гор и степей», повестей-притч «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря».

Основное действие романа Чингиза Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)» происходит высоко в тьянь-шаньских горах, где пересекаются трагические пути двух страдающих существ — человека и барса. Оба они — жертвы времени, жертвы обстоятельств, заложники собственной судьбы.

Желание мести приводит Арсена Саманчина, известного журналиста, в родное селенье, где для саудовских нефтяных магнатов организована охота на снежных барсов... Арсен приезжает в горы, еще не зная, что встретит тут свою последнюю любовь, а возможно, и смерть. Все драматическое повествование пронизывает легенда о Вечной невесте, которая чудесным видением появляется на заснеженном горном перевале...

© Ч. Айтматов, 2006

© Г. Гачев, предисловие, 2006

© Издательский Дом «Азбука-классика», 2007

ISBN 5-91181-227-4

О том, как жить и как умирать

Роман Чингиза Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)» — это высокая трагедия, произведение большого стиля. Каков и сам автор — совершенное в своем роде произведение Рода людского, Истории, Культуры. Дивен его путь: из доистории — в самую современность, охватывая начала и концы Бытия в шестви Духа и «гомо сапиенса» — и многие фазы и опыты в жизни человека и общества воспроизведены в его сочинениях.

Родился он в 1928 году, и детство его протекло в киргизском аиле Шекер среди первобытно-общинного уклада жизни. Но вторглись туда с севера идеи социализма, его отец стал секретарем обкома партии большевиков Киргизии — и был расстрелян в 1938 году. Чингиз начинал как зоотехник, но его неудержимо тянуло к большой культуре. Он писал корреспонденции в газету, далее — очерки, рассказы, повести. Талант его был замечен. Он учился на Высших литературных курсах в Москве. А в 1963 году удостоен Ленинской премии по литературе — и вознесен в культурную элиту мира. И вот диапазон переживаний, распяливший душу этого человека: от сверхстрадания — до торжества, от положения изгоя — до статуса «любимого сына Родины». Словно для того специально трепала жизнь его душу и ум в силовом поле такой разности потенциалов, чтобы создать творческий сосуд, которому вняты многообразные состояния, какие может претерпевать человек. Эта всеотзывчивость сказалась в созданной писателем плеяде персонажей, которые запали в душу, природнились читателям разных стран. Ибо многие народы Евразии, Африки и Латинской Америки прошли в XX веке ускоренно путь от патриархального со-

стояния к современной цивилизации, от мифологии и фольклора, — к литературе и философии. И Айтматов сопрягает эти пласты Духа: он и мифотворец и романтик, реалист и модернист. Пытливо надзирает он оком извечности на совершающееся в истории с человеком, с его душой и понятиями на каждом этапе и в строе общества.

И золотая пора детства («Ранние журавли»), и юность и молодая любовь-страсть («Джамия»), и революционные преобразования («Первый учитель», «Прощай, Гульсары!»), трепет совести и поиски смысла жизни в ошибке взаимоисключающих миропониманий и ценностей... И все более высвечивается то, что издавна понято Руссо и Толстым: прогресс цивилизации, техники и комфорта не есть прогресс в нравах, и, напротив, человек, взыскующий Духа и Высшей истины, все более выталкивается в одиночество и призван к подвигу: проложить среди толпы и тупости низших инстинктов траекторию ввысь, к Абсолюту — ценой жертвы и гибели («Белый пароход», «И дольше века длится день», «Плаха»). А в романе «Тавро Кассандры» — великий отказ жить на «планете нелюдей», и космический монах Филофей, отлетает вечно носиться в небесах, и рождена автором мощная религиозно-философская идея — о «свободе воли эмбриона»: родиться или нет на сей свет?..

И в то же время он — человек любви и восторга Бытием, многосложной крастотой мира и человека, как и присуще художнику: Разум восхищенный одушевляет. И он ВСЕ любит — не может не любить. Ведь и Бог-Творец лиет свет и дождь и на добрых и на злых. Они — и змеи и крокодилы, герои и предатели — законные элементы, существа в изобилии Бытия.

И вот подходим к ситуации его последнего романа. Каков сам писатель-человек ныне, каков момент истории, к каким пониманиям смысла жизни и всего он вышел? Что несет и каков его сказ, «конечный вывод мудрости земной»?

Это стих из заключительного монолога Фауста у Гёте. А и сам Айтматов уже в возрасте Гёте и Толстого. «Достиг высшей власти» в любимом искусстве и миропонимании. Маэстро и мудрец-аксакал. И про него можно сказать словами Тютчева о Гёте:

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Разлит чистейшим солнечным лучом!

И писатель уже может позволить себе как бы мысленный эксперимент последнего шага, последнего экзамена человека в жизни: каков ты, каким стал — скажется в том, как ты уйдешь. Именно так, как «Уход» именуют *это* применительно к высшим людям: к мудрецам, боддхисаттвам, махатмам («великим душам»). Главные персонажи романа: и снежный барс Жаабарс, и писатель Арсен Саманчин — это ипостаси его самого. Перед всеми — радикальное изменение обстоятельств существования. Жаабарс, бывший царь в своей породе, уходит из стаи и потрясен, видя, как молодой барс в брачном восторге соединяется с его самкой, и, ощущая одышку, не может взять перевал, куда раньше взлетал в легкости. Он — с Роком Природы столкнулся. А человеческое «другое „я“» автора, Арсен, столкнулся с катастрофальным для него сломом в Истории: его естественная среда — космос советской цивилизации (второго, не жестокого постсталинского периода, когда настала золотая эпоха культуры, которой творцом, из первостепенных, был Чингиз Айтматов), с его стилем, идеалами и нравами, — рухнул при пришествии «маммоны» — Рынка и власти Денег. И вот его возлюбленная, оперная певица, исполнявшая Вагнера и Чайковского, смажена шоу-меном «петь» попсу и вертеться на эстраде. А его, кого носили на руках, теперь изгоняют из ресторана — как «персону нон грата». Подходит метрдотель и сообщает, как зюлю-повеление Судьбы: «Сегодня у нас очень большое мероприятие: ужин для зарубежных спонсоров, канадское СП по аксуйскому золоту, международное дело, и местные партнеры по золоту тоже — они приглашающие. Большие люди, с охраной, понятно, с женами. Концерт... Вот только что позвонили, поступило указание, чтобы Арсен Саманчин сегодня не присутствовал в зале».

Удар в поддыхало! Унижение... Вспышка бешенства. Беспомощный соблазн отщепенца: убить торжествующего хама — «шоу-мена»... Но тут еще более катастрофальный сюжет на-

ступает — уже с родным аилом. Пропадает в новых условиях: людям нечем заняться, унижены в достоинстве обитатели космоса гор и степей (А «Повести гор и степей» — так книга Айтматова, за которую он получил Ленинскую премию, именовалась). И довелось ему дожить до времен, «Когда падают горы» (а он и сам «Человек-Гора», как Гулливер среди лилипутов): сокрушается последний оплот — честность Рода, что не подводил. И вот подходим к перипетии, что служит завязкой главного сюжета. Звонит ему «Бектур-ага, родной брат покойного отца... ближайший родственник (авторитет для племянника в иерархии родовых ценностей. — Г. Г.), но главное — человек по-настоящему деловой (таких бы побольше), не случайно был он председателем колхоза в родном селении Туюк-Джар до самого их повсеместного роспуска. И потом не растерялся. Одним из первых смекнул насчет выгоды охотничьего бизнеса... Хлынула зарубежная клиентура». Приезжают арабские нефтяные магнаты на охоту на снежных барсов, а Арсену, знающему английский язык, предлагается их сопровождать. Дело — выгодное и для фирмы дяди, но и для аила родного, для земляков...

Но Боже! Чем стали заниматься гордые горцы? Распродавать горы и своих меньших братьев-зверей. Перестали сами себя кормить трудом, а как слуги за «бакшиш», подачку иноземных туристов из-за бугра: большой доход сулит им намечающаяся охота. Но что с душой при этом творится? Народ — сутенер стал: торгует Матерью-Природой. Как рядом — и русский народ, что торгует нефтью и газом-кровью и духом Матери-сырой земли: лишь продажей «сырья» жив. Так стал Народ-Сын относиться к земле: это всего лишь сырой материал в переработку и продажу, а не мать-Родина...

Арсену — не по душе затеянное предприятие, не по душе включаться в игру по навязанным чуждым правилам. Игра — уже в новом законе: Рынка, глобализации и, по-своему, честна. К тому же земляки родного аила будут иметь занятие (загонщики на охоте), и с радостью встречают именитого писателя. А тут еще встреча со сверстниками, с кем учился в школе, — еще один круг, микрообщина, с кем связан долгом товарищества и обязан услужить. Среди них новый лидер, герой войны в Афганистане — Ташафган — посвящает

Арсена во встречный их план: взять арабских гостей в заложники, требовать выкуп — 20 млн. долларов. «Никогда, ни за какие деньги я не пойду на такое дело, — возмущается Арсен. — Я не террорист». — «Мы тоже не террористы... Мы просто берем свою долю мирового капитала, и не более того». И Арсен во время охоты будет обложен ими и под прицелом.

Так цепью ситуаций Судьба по сценарию писателя-мастера вгоняет человека в капкан последнего и единственного решения, поступка, в котором должен полностью сказать состав его личности, каким она выпестовалась за долгую жизнь. Концентрическими кругами, словно на гарротте, сжимается пространство свободы выбора. Еще в начале Арсен мог вальяжно сидеть в ресторане и решать ревнивое уравнение с возлюбленной певичкой и вынашивать планы отмщения умыкателю. Тут можно и так, и сяк — привлечен. Может предаваться воспоминаниям, может публицистически рассуждать о пошлости новой эпохи, измельчании душ. И много мудрых и горьких истин высказано героем, кто тут явно — рупор идей самого автора... Но, конечно, отчасти. Ведь понимает писатель, что и с другой стороны можно на них посмотреть: что ж? Были вы молоды и сильны, а теперь пришли другие молодые и сильные и новые правила завели, как и вы в свое время вытеснили и заместили отцов и дедов, прежних лидеров и во власти, и в творчестве. Конечно, ропот ваш естественен, но и нажим новых и снисходительное или презрительное даже к вам отношение.

Писатель-экспериментатор приводит своего героя к такой ситуации, где сходятся в клин и угол все императивы: договор и долг, честь и совесть. И все требуют своего... Загнан он, как снежный барс... Да, в романе идет охота на него, на главного персонажа, уже главным охотником — художником, а и нас, читателей: мы тоже вовлечены в охоту на абсолютный поступок — по Истине: возможно ли удовлетворить всем критериям? И оказалось — только жертвой, при готовности на смерть. Но и смерть свою можно сделать актом Свободы, что прорывает тиски Судьбы.

А ведь такой шанс счастливой жизни наконец светанул Арсену как раз в канун этой западни! Нечаянная радость

встречи в аиле с прекрасной Элес, с которой любовь-страсть с первого взгляда. Она освободила его от переживаний о прежней возлюбленной, Айданой, кто оказалась мнимой ипостасью Вечной невесты, — и явилась как ее истинное воплощение — ТА САМАЯ! С нею проведен миг — как Вечности и шанс ему наконец стать нормальным семьянином, с женой и детьми, к чему давно клонят его родственники и земляки. И она ждет его, а он?..

Но ход вещей и ввязанность в дела людей идут в своей последовательности. И вот уже поднялись гости на хребет, место охоты. Загонщики обступают их и Арсена. Ташафган напоминает: «Ты приведешь их сюда, мы разоружим их и загоним в пещеру... По моему приказу ты им велишь звонить по их спутникам в их банки дубайские, эмиратские или какие там еще, чтобы немедленно направили сюда самолетом наш выкуп... Ясно?! Если нет, ты — наш пленник. Тебе и им конец!

...Наступила мертвящая пауза... Несколько секунд спустя над горами разнесся усиленный мегафоном отчаянный голос Арсена Саманчина. Он кричал яростно и грозно вперемежку на английском, русском и киргизском:

— Слушайте, слушайте мой приказ, пришлые зарубежные охотники! Будьте вы прокляты!.. Руки прочь от наших снежных барсов! Немедленно убирайтесь вон отсюда!.. Мотайте в свои дубаи и кувейты, прочь с наших священных гор!..

И тотчас в ответ поднялась стрельба с разных сторон... Арсен так и не узнал, что в этой суматохе иностранцы, вскочив в седла, уже неслись прочь».

Так поступил Арсен прежде всего в согласии с Совестью Личности. Но и Честь Народа в своей Природе защитил — жертвой своей. Мы вышли теперь на сюжет в высях: со сверхценностями и сверхидеями, что — движущие силы в силовом поле романа Айтматова.

Два уровня, предлагаемые для обитания человеку: Бытие и Жизнь — тут и материально-телесно означены: Горы — и Город. Выси снежные, где Земля переходит в Небо, в Дух и там — во Вселенную, Вечность, Целое. Его участником-причастником создан и призван быть человек. Но равно так же он — «hoto», из «гумуса», земли, — член понизового мира — Природы, Общества, Истории, и тут — отношений меж людь-

ми и странами, с многообразием сил, кругов, связей, интересов и целей, в которые вовлечен человек. Герой романа, Арсен, обостренно ощущает себя обитателем этих двух миров-уровней. Мы проследили пока вплетенность его в понизовый уровень, где он, «идееносец», оказывается не нужен в плебейской цивилизации Рынка и Денег — что тьма и тюрьма вольному Духу. Она выпирает его, он слишком крупен для нее и обречен на одинокий путь. Как и Жаабарс, его собрат в высях гор, родная душа и судьба. Они текли параллельно — и сошлись в Уходе: Арсен истекает кровью на груди истекающего кровью Жаабарса в пещере у перевала, который оба не могли взять при жизни и который поддался в гибели. Оба отлетают во Вселенную Духа. Там обитель идеалов, божеств, мифов. Из этого ареала — и образ и миф о Вечной невесте: он — второе заглавие романа и выступает как противовес падению гор и грехопадению народа горцев — как искупление — Любовию. Вечная невеста — это вариант начала Вечной Женственности, что во всех народах есть. Это и Богородица-Дева, и та «Вечная Женственность, что влечет нас», чьим всепримиряющим образом кончается и «Фауст» Гёте.

А Любовь есть встреча Жизни и Бытия, двух уровней человека — и идеального, и телесного: в состоянии любви человек ощущает себя космическим существом. Возлюбленные «утонули друг в друге, вместе, обнявшись, взмыли в чистое небо, которое лгнуло к ним и любовалось ими. А они были уже не здесь, а в самом космосе, головокружительном и бесконечном, потом разом вновь возвращались на землю, где все, что их окружало в природе, каждая травинка и каждый лист, находились в движении вместе с ними... усмиряясь в тихой гармонии... Природа была соучастницей их любви». И такое преображение человека и мира — «это была не иллюзия, не самообман, а то, что однажды дается судьбой как озарение духа и плоти... Если любовь обоюдна, то высшая справедливость в жизни, бдящая за судьбами людскими, состоит именно в ней».

Еще и Справедливость — то, что искал Сократ и предлагал как высший принцип устройства всего: мера и гармония и в обществе, и в природе, и в сосуде человека, влилась

в Кредо айтматовской итоговой веры-религии, что выработал — индивидуальную — за долгие опыты, искания и думы века своего, что аналог извечности. Триипостасно его Божество: Любовь, Слово, Судьба. С первых слов романа тема Судьбы, как симфонии Чайковского лейтмотив: Фатум, Рок — и проходит и соединяет, а здесь спаривает, братает жизнь и смерть высшего животного — Жаабарса, и человека-творца Арсена. «А судьба выше смерти. От судьбы судьба ведется, а от смерти ничего не идет», — вещие слова говорит цыганка в рассказе Арсена Саманчина, что издает его вдова и мать его сына — Элес.

Но выше Судьбы — Слово, вторая ипостась в «тринитарном» Божестве Айтматова. Всю-то жизнь искал он у совопросников мира сего — и у пророков религий, и у философов ответов на вечные мучительные вопросы: почему? зачем? как?.. И тянули Айтматова в свои лагеря и веры — то марксизм, то наука, то христианство, буддизм, ислам, экзистенциализм — его авторитет новообращенного присовокупить себя в поддержку... И что же? На «медиафоруме Евразии» так возговорил Арсен: «Приведу емкое изречение из казахско-киргизской поэзии еще номадской эпохи, высказанное задолго до догматов господствующих мировых религий. В переводе это звучит так: „Слово выпасает Бога на небесах, Слово доит молоко Вселенной и кормит нас тем молоком из рода в род, из века в век. И потому вне Слова, за пределами Слова нет ни Бога, ни Вселенной, и нет в мире силы, превосходящей силу Слова, и нет в мире пламени, превосходящего жаром пламя и мощь Слова“. Эта универсальная максима была выработана тогдашними кочевыми философами, акынами-импровизаторами, обозревавшими мир из седла».

Это, конечно, собственный синтез: тут и Бог-Слово (из Евангелия от Иоанна), притороченное к седлу родного кочевого быта, чего сам Айтматов акын и философ-импровизатор. Тут и наука, с ее «Вселенной». И вот Бог окормляет ее, как молоком, Словом. Так что на родину вернулся Айтматов в итоге религиозно-философских поисков, в любимые родные понятия и в чувство, что впитал с молоком матери. И как же писателю-художнику не восславить Слово — сию кормилицу духа своего, а и мастерок-инструмент?..

Ну а последнее (и первое) слово, Альфа и Омега айтматовского Кредо = «Верую» — это Любовь, — та сила и у Данта «движет светилами».

* * *

Интересно было с высоты последнего романа Айтматова перечитать и повесть, написанную в 1977 году, в середине жизненного и творческого пути писателя. И очевидно предстало: как художник-мыслитель и верен себе, и развивается. Тот же пристальный интерес к нравственным проблемам человека внутри срока его жизни в Истории — на фоне Космоса и Вечности, которых это — «не колышет», как лодчонку-каюк семьи нивхов в зыби и штале Тихого Океана, когда на него в безветрии опустился Великий Туман — ситуация, что подвергла предельному испытанию души людей — на совесть и благородство. Человек взят в очищении от множества качеств — лишних, когда ищется главная суть и смысл жизни. Четверо в одной лодке — это аванпост, авангард и арьергард земной цивилизации: во космосах лодчонка плывет, космический это корабль... И хоть ты будешь всей радиоэлектроникой оснащен, а все равно — как каюк сей примитивный, одинок и жалок в пустынях бесконечных, и не избыть тебе этой же ситуации: кому умереть раньше?

Сюжет разыгрывается, собственно, между Океаном соленой воды и бочонком пресной. Меж ними зажат весь сюжет во человеках: чему взять верх — закону борьбы за существование: конкуренции, победе сильного животного, — или закону любви, жертвы, мудрости? И даже языка слов не надо, но язык движений все скажет: кому перевалиться за борт, кому каюк: а кому — каюк?

А так все буднично начиналось! Пришла подростку Кириску пора возмужания, и с целью инициации: сделать мальчика хорошим охотником, научить его, вести себя как, — снаряжают лодку-каюк и, чтобы передать ему родовой опыт, садятся в лодку отец, дядя и дед. Но далеко от берега Великий Туман опустился на воду, и сутки за сутками они колыхались в лодке, не ведая направления (компаса еще не знал первобытный народ нивхов, а звезды закрыты), пресная вода

заканчивалась, и встал вопрос: в какой последовательности кому исчезать? Показал пример старик Орган, затем перевалялись за борт дядя, отец, а под конец: когда Океан получил положенные ему жертвы, подул Ветер, развеял Туман, — прояснилось Небо, и отрок по Звезде определил, где берег, сопка по имени «Пегий пес». Так наш доселе аморфный отрок Кириск, через испытания и выдержку в недрах хаоса, через жертвы прародителей, кристаллизуется в мужа, но зато небывалой прочности и емкости, ибо за троих живет, жизненная сила трех существований в него одного перелилась и соделала его социальной личностью, что уже обрела стержень, судьбу, волю. Раз ты сам жив, предопределен свободной волей пожертвовавших за тебя, то и ты так поступишь, когда придет твой срок и долг. Они об(в)язали его этим, свободу его воли заклинали априорно и закалили, объездили (как строптивного скакуна) и снарядили в будущее, вооружив его и охотничьим, и нравственным опытом. И вполне логично, что в нем, почти немом дотоле, прорезался и голос — мысль, слово. Выплывая, стал мальчик молиться, заклинать и одушевлять стихии образами любимых людей: «Ты держись, ветер, не уходи. Я не знаю, как тебя звать... А хочешь, я буду тебя звать ветер Орган... Я люблю тебя, звезда моя... Я буду звать тебя по имени отца... звезда Эмрайина... Волны, вы сейчас подгоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас — волны аки-мылгуны».

Так и сложилась совместно: восстановленным из хаоса в космос миром и впервые установившимся «я» подростка — именная песня Кириска, как его личный Символ веры:

Пегий пес, бегущий краем моря,
Я к тебе возвращаюсь один —
Без аткычха Органа,
Без отца Эмрайина,
Без аки-Мылгуна...

Через эти «без» перечисляется его состав: кто в нем отныне зажил.

Где они, ты спроси у меня,
Но вначале дай мне напиток воды...

В этом стихе последнем — память о крестном испытании, что он прошел на закалку.

Так в предвечном безразличии Вселенной, в досмыслии стихий, в вечном борении моря и суши, добывается любовь, жертвой и свободной волей — пусть временный, но зато твердый и определенный луч-смысл существования — во человеке каждом; и имя его (именная песнь) есть его Слово, сказ ему и его от бытия. И его бытие есть со-бытие, а знание — со-знание (с Целым). Человек и есть, возник-создан, чтобы усеять Вселенную со-смыслами, как сад ее засадить-культивировать. (Вспомним, что еще Адаму в райском саду было поручено Богом-Творцом именовать создаваемые Богом твари). Так что фон предвечно-безразличной битвы двух стихий (воды и земли), чем начинается и завершается повесть, не уныние наводит от бессмысленности усилий человеческого существования (ибо все утонет и канет во все одно и то же), — но горделивое сознание к призванности нас к истечению смысла: искрами жизней и актов-дел нравственных и разумных — о кресало-кремень бытия.

Но несть повести Айтматова — без своего центрального мифа. В романе «Когда падают горы» это миф о Вечной невесте, а здесь — миф о Великой Рыбе-женщине и страстной любви меж ею и прародителем — Органом. Через этот миф вводится Эрос — Любовь — неперменная владычица в Троецарствии-божеств в вере-религии Чингиза Айтматова. Уже явились, как мы видели, Судьба и Слово, — и вот всеединящая сущность — Любовь.

Рыба-женщина — это Афродита. Та ведь тоже из воды — «пеннорожденная», хотя та еще в ней «пена»! Она вся — сперма, вытекшая из Урана-Неба, оскопленного сыном в миг, когда, воспламененный, он приближался Гею-Землю оросить...

Картины смертельно-страстного соития вспоминаются аксакалом Органом, выплывают из подсознания. «Крича и ликуя, он бросается к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстроплавающее, как кит, существо. А она, Рыба-женщина, ждала его, ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой и вся трепеща, зависала в длинном броске, ясно вырисовываясь в те мгновения живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами, очутив-

шаяся вдруг в море. Он подплывал к ней, и они уходили в океан... Прошивая телами вспененные гребни беспрестанно бегущих навстречу волн, они мчались по нескончаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета».

Ну что ж! За такое платить надо. И когда Орган в конце отдает себя бездне вод, он должное платит: «ценою жизни — ночь одну» (как любовники в «Египетских ночах» Пушкина). То Клеопатра, Тамара, чудная, роскошная женщина-божество, царица, жрица Эроса. «То была вершина их счастья, то было упоение свободой». Все великие, любимые идеи — в мифе о Рыбе-женщине...

Вечным проблемам духа: смысл жизни, честь, совесть, жизнь и смерть — посвящена и написанная в 1990 году новелла «Белое облако Чингисхана»...

Художник-мыслитель, Чингиз Айтматов осуществил свой синтез и во Времени: пробуравил толщу истории от первобытия к современности, — и в Пространстве: писатель Евразии, он понимает образы жизни и мировоззрения народов Запада и Востока и соединяет их литературные традиции. В противовес нивелирующим тенденциям глобализации и стандартизации Чингиз Айтматов и созданный им оригинальный художественный мир доказывают, как может быть творчески продуктивен малый этнос и как необходимо человечеству сохранить спектр разных народов и многообразие национальных культур.

Сентябрь, 2006

**когда
падают
зоры**

(вечная невеста)

|

Существует одна непреложная данность, одинаковая для всех и всегда, — никто не волен знать наперед, что есть судьба, что написано ему на роду, — только жизнь сама покажет, что кому суждено, а иначе зачем судьбе быть судьбою... Так было всегда от сотворения мира, еще от Адама и Евы, изгнанных из рая, — тоже ведь судьба, — и с тех пор тайна судьбы остается вечной загадкой для всех и для каждого, из века в век, изо дня в день, всякий час и всякую минуту...

Вот и теперь так же обернулось. Да. И в этот раз то же самое: кто бы мог предугадать событие, оказавшееся за пределами человеческого разумения и, если на то пошло, пожалуй, и за пределами божественного промысла.

Единственное, что можно было бы предположить, попытаюсь все же постичь непостижимое, — так это некую астрологическую взаимосвязь двух существ, о которых будет повествование, их космическое родство, в том всего лишь смысле, что могли они родиться, волею все тех же судеб, под одним знаком зодиака. А что, могло быть и так...

Разумеется, они не подозревали, и не могли подозревать, о существовании друг друга на земле. Ибо один из них жил в городе, в многолюднейшем современном мегаполисе, распираемом от перенаселенности, от улич-

ных торжищ и кабаков с шашлычными дымами; другой же обитал высоко в горах, в диких скалистых ущельях, поросших густыми арчевниками и покрытых по склонам залеживающимися по полгода тeneвыми снегами. Потому и прозывался он снежным барсом. А в науке — существует такая наука о высокогорьях — именовался тьянь-шаньским снежным барсом из рода леопардовых, из семейства кошачьих, к коему относятся и тигры. В народе же, в местах его обитания, такого зверя называют «жаабарс» (барс-стрела), что более всего соответствует его натуре — в момент прыжка он и впрямь быстр, как стрела. А еще называют его «кар кечкен ильбирс», что означает — «по грудь идущий в снегу»... И это тоже соответствует истине... Другие твари ищут ходы, только бы не оказаться заложниками сугробов в горах, а он — мощный! — пашет напрямую...

Час барсовой охоты по большей части приходился на середину дня. К тому времени в горах наступает пора водопоя травоядных — дикие козули-эчки и бараны-архары направляются с разных сторон к проточным ручьям и речкам, чтобы утолить жажду, бывает, что на целые сутки, до следующего дня. На водопой они следуют организованно. Легко и упруго, прискакивая, ступая по тропам, словно бы почти не касаясь земли, они идут небольшими группами в цепочку, зорко вглядываясь на ходу и чутко вслушиваясь, чтобы в любое мгновение взлететь пружиной над землей и ускользнуть прочь от опасности.

Жаабарс, однако, великолепно знает свое хищное дело. Он поджидает добычу, умело притаившись за укрытием, чтобы вмиг совершить неожиданный прыжок сверху, из-за скалы (это самый удачный вариант), или неожиданно кинуться сбоку, из-за куста, сбить жертву

с ног и тут же перекусить ей горло, которое обогрится клокочущей горячей кровью, а дальше — известное дело...

А вот настигать добычу в погоне лучше всего после того, как стадо вдосталь напьется. И для этого надо уметь залечь в засаде вблизи — не дай бог шевельнуться! — терпеливо ждать, хотя живая плоть — вот она, на расстоянии одного прыжка. Надо зорко высматривать и ждать, сдерживая себя изо всех сил, пока эчки, вскидывая свои тонкошеие головы, прядая ушами и поблескивая настороженно сияющими очами, пьют и пьют неслышными глотками, стоя передними ногами по щиколотку в воде. Чем больше поглотят они журчащей влаги, тем бóльшая удача ждет барса. Если погоня предстоит по прямой, то не всегда стоит и ввязываться — очень уж эти эчки-архары быстроноги. Они бегут стремительнее звука — в этом их спасение, — не орут и не визжат, не обгаживаются от страха на бегу, как некоторые иные твари вроде диких свиней, порой забредающих в здешнее мелколесье в засуху. А вот когда эчки-архары хорошо напьются, резвость у них становится не та, и тут надо действовать не медля, как только они шевельнутся на отход от водопоя...

И в этот раз ближе к полудню Жаабарса потянуло поохотиться где-нибудь у источника. Он шел сквозь заросли, не торопясь, вдоль привычно шумной речки, посматривая по сторонам и оглядываясь, — позади мог объявиться кто-нибудь из пятнистых собратьев, снежных барсов. Такое бывает, и это нежелательно, особенно если на охоту выходит семейная стая. К чему лишние неприятности да грозное рычание друг на друга! Лучше охотиться в одиночку. И он шел...

День стоял предосенний, а это что ни на есть лучшая пора в Тянь-Шаньском высокогорье — снежные вьюги нагрянут еще не скоро, перевалы пока открыты

для прохода, всякая дичь в самом своем смаке, во вкусном теле, нагулянном за лето; птицы — и те пока еще галдят, свистят и резвятся как хотят — птенцы-то уже хорошо окрепли. А к зиме птичьего отродья здесь не останется, исчезнут все крылатые до следующего лета. Зиму им тут не выдюжить...

Высматривая, не появятся ли где косули, бредущие на водопой, Жаабарс прилаживался на ходу к местности, шел так, чтобы пятнистая шкура его не была заметна среди кустарников и скал. Высокий и неограниченно подвижный в крутой холке, с мощной округлой шей, с крупной увесистой головой, с кошачьими ушами и пристальными, лазерно светящимися во тьме глазами, Жаабарс и телом был упруг, длинен и силен, наделен четко пятнистой шелковисто-плотношерстной шкурой, какие, как поют в песнях, носили на себе шаманы и ханы. Знал бы он, невозмутимо ступающий по земле, что с африканским собратом-леопардом очень схож, даже хвосты одинаково длинны и внушительны. Правда, собрату-леопарду приходится по деревьям карабкаться, как кошке какой, чтобы было сподручней на добычу набрасываться, а снежным барсам лазить суждено по солиднее — по скалам, по обрывам, да и деревьев таких мощных, как в Африке, на четырех-пятитысячной высоте нет; лес в здешних местах растет внизу, в долинах, а там разве что рысье племя живет на ветвях да суцьях... Бывает, что забредают барсы в те места лесные и рыси на них фырчат и шипят, вроде как не признают троюродных сородичей. Для снежных барсов существует иной, высотный мир — обителью им служат только горы поднебесные, и великая охота ждет в схватках и состязаниях в беге с недостигаемыми эчками-архарами...

Жаабарс вскоре определился, выбрал позицию, залег среди валунов в кустах на берегу небольшой речушки.

Притаился, настраиваясь и наостря когти. Сюда должны были прийти эчки-косули пить воду, было их штук семь, следующих цепочкой краем склона, горделиво и вместе с тем пугливо вскинув головы. Он высмотрел их давеча издали через расщелину в скалах. И теперь замер в ожидании.

Солнце стояло высоко, светило ясно, редкие светлые облака походя слегка касались ледяных пиков Тянь-Шаньского хребта. Все, по предчувствию бывалого зверя, складывалось как должно. Приближался решительный момент охоты. Единственное, что внутренне настораживало Жаабарса, так это то, что, затаившись между валунами в наблюдательной позе, слышал он явственно собственное дыхание — точно никак не мог отдышаться. Такое случается, конечно, во время быстрого бега и резких прыжков или в злобных драках за самку, когда рыки и хрипы исторгаются с шумным яростным дыханием, когда клочья летят, когда готов передушить всех вокруг. Но в неподвижной позе выжидания, требующего сосредоточенности и полной слитности с местом засады, когда все внимание обращено вовне, такой одышки быть не должно. Между тем он слышал каждый собственный вдох и выдох. Подобное случалось с ним впервые. И сердце билось сегодня заметнее, чем прежде, — в ушах отдавалось. Вообще много что изменилось в жизни Жаабарса в последний период. Ведь с прошлой зимы он — свирепый барс-одиночка, живущий изгоем в отторжении от стаи. Такое случается, когда исподволь наступает старение. К этому шло давно. Никому не стало прежней нужды в нем, после того как прибился к его барсихе новый барс, из молодых. Схватка была страшная, но одолеть соперника не удалось. Потом еще сошлись, грызлись насмерть, и опять отогнать чужака не получилось. Тот кривоухий (одно

ухо у него было изодрано, видимо, в прежних драках) оказался на редкость злобным, неутомимым, настырным зверем, пристал к барсихе, все лез к ней, притирался, заигрывал, угрожал. И все это на виду у Жаабарса. Наконец и сама matka-барсиха, с которой Жаабарс после первой самки, погибшей при землетрясении в горах, долго жил вместе и дважды плодил потомство, ушла с новым самцом, с кривоухим. Уходила демонстративно, то повиливая хвостом налево-направо, то поджимая его, то вскидывая вверх, то выкручивая дугой, потиралась боками и плечами о нового напарника. Ушла и глазом не моргнула...

Жаабарс тогда кинулся было вслед. Догнал, догнать было нетрудно — они уходили по лощине трусцой, — но толку не вышло никакого, все обернулось по-прежнему. Снова началась дикая схватка. Однако в этот раз и сама барсиха кинулась на Жаабарса, трепала, кусала его, и это оказалось последним ударом, окончательным поражением Жаабарса в попытке сохранить былое место в стае, продлить свою первоприродную роль самца-производителя в барсовом роду. Но даже и тогда, придя немного в себя, Жаабарс попытался перехватить в соседней стае, куда забрел сгоряча, одну из молоденьких новосозревших маток. И здесь схватка была беспощадная, ибо сшиблись сразу три самца, — и тоже ничего не получилось. Стая с маткой и молодыми претендентами умчалась в ближайшее ущелье выяснять отношения и разрешать свои проблемы, а он остался один, покинутый, отторгнутый от главного своего предназначения, — в борьбе за продление рода природа всегда на стороне свежих прибывающих сил.

Прежде чем окончательно удалиться, Жаабарс покружил еще какое-то время по окрестностям — то застывал на ходу, то бесцельно бежал, то ложился, то вставал и оглашал горы отчаянным рыком. Ему хоте-

лось выть по-волчьи, если бы было ему это дано природой. Ошеломленный, растерянный, он не знал, куда себя деть, даже охотничья страсть стала покидать его, не до добычи было — стада козерогих спокойно трусили мимо, будто зная, что ему, матерому Жаабарсу — а ведь еще далеко не старому, еще крепкому, беспрюиришному охотнику, — сейчас не до них...

Так оно по сути и было. И вот тогда, в непонятное ему, потерявшее привычную сущность время, он увидел вдруг то, что явилось высшей точкой его страданий. Стоя на гребне скалистой возвышенности, припав к стволу корявой арчи, он бесцельно озирался вокруг и увидел неожиданно, как внизу вдоль лощины стремится в брачном беге пара снежных барсов — молодые, впервые обретшие друг друга самец и самка, переполненные силой и страстью, приплясывающие на бегу, игриво покусывающие друг друга, чтобы разгорячить кровь перед тем, как, вырвавшись из земной оболочки, воспарить над миром... Даже на таком расстоянии было видно, как зазывно пылали их глаза.

И невольно рухнул, и пополз на брюхе Жаабарс, и застонал, словно хотел уйти от себя самого, но куда было деться? Когда-то такое торжество плоти выпадало и ему, так же играл он со своей барсихой, в ту пору гибкой, как змея, попавшая под ногу, и сладко повизгивавшей. Такое же происходило у него и с той юной девой-самкой, которую он отбил для себя в соседней стае. Тогда и они пустились вдвоем в такой же брачный бег подалее от взоров своих соплеменников-барсов, чтобы не маячить перед ними по-собачьи склещившимися, ибо таинство это предназначено природой лишь самой паре — ему и ей, в полном уединении... Вот так же мчались тогда они в испепеляющей жажде соития, так же возгоралась плоть в ожидании магии, и возго-

ралось небо над их головами, и качались во вспышках взоров горные вершины впереди. О, весь мир вокруг звенел и сиял, а они — новая пара — вот так же шли в беге бок о бок, заряжаясь друг от друга пьянящей энергией, в такой же предосенний день, чтобы к следующей весне появился в горах новый приплод, продолжение рода снежных барсов...

Так летели они, почти вплотную прижимаясь друг к другу, удлинившись туловищами в беге, словно стремительно плывущие рыбыны, вытянув по ветру летящие хвосты. Она — чуть впереди, опережая его на полголовы, как полагается, — в том приоритет самки. Он — на полголовы, не более и не менее, — отставая и пьянея от запаха ее тела, насыщаясь ее горячим дыханием, слыша, как гулко билось на бегу ее сердце. И нечто неведомое до той поры обуревало его. В те мгновения он слышал какие-то новые звуки — протяжные, гудящие и свистящие, разносящиеся эхом по ветру. Они возникали в лучах света где-то над головой, крепили, витали в упругом движении воздуха, в сиянии быстро садящегося солнца, в колыпании гор и лесов вокруг. О, если бы было дано снежному барсу постичь, что то была вселенская музыка жизни, великая увертюра их совокупления... Но, как часто бывает, то оказался лишь сладостный мираж, обернувшийся впоследствии жестокой реальностью. Утекали дни, времена года сменялись и возвращались, мираж растаял...

Прихоти судьбы непредсказуемы — так было, так будет вечно, и нет тому суда.

В тот день, когда Жаабарса постигла участь изгоя, когда его барсиха у всех на виду умчалась с кривоухим победителем, чтоб предаваться тому, ради чего весь день шла битва самцов, Жаабарс ушел скитаться по окрестностям. Слонялся, пытаясь унять в себе неумемную зло-

бу, слонялся бесцельно, даже пропустил охоту. И вот тогда — надо же случиться такому коварству — в одной из глухих горных лощин он набрел на них, барсиху и кривоухого баловня-соперника, наткнулся почти вплотную на склещившуюся уже пару. То была кульминация. Жаабарсу оставалось сделать еще всего лишь шаг, чтобы отомстить обоим сразу. Но в последнюю долю секунды он вдруг остановился и замер неподвижно, не отрывая налитого кровью страшного взора от ненавистно слившейся пары, — некая сила, некий голос, некая воля удержали его. Точно кто-то подсказал, велел изнутри — не трогать, не причинять вреда сошедшимся для плодоношения. Он повернулся и спотыкаясь пошел прочь и, уходя, стонал и сгорал в рыдающем рыке...

Все больше отлучаясь от родовых барсовых стай, Жаабарс обратился в полного одиночку, в беспощадного и свирепого зверя-отшельника, готового биться до крови по любому поводу. Жил он по пещерам, забредал в высокогорные снега в погоне за спасающимися животными и нередко заваливал дневной добычи больше, чем требовалось, будто бы для того, чтобы сбегались отовсюду на доедание все эти мелкие паразиты — шакалы, лисицы, барсучье, чтобы слетались базарно скандальные стервятники, хрипло и недовольно орущие и бьющие крыльями и когтями. На всю эту свалку глядел Жаабарс молча и презрительно со стороны, а иногда кидался их разгонять, ревел и рычал, словно бы они в чем-то были повинны. Так срывал он свою злость, боль и тоску по былому...

Шли дни, горы стояли на своих местах, как всегда, сияя вершинами, навечно закованными в снега и льды, менялась погода, миновали зимы и лета, и все так же пребывал в своем одиночестве, внешне ничем не меняясь, тигроподобный пятнистый царь высокогорья Жаа-

барс. Но незаметно наступили дни, когда он стал ощущать одышку... Она проявлялась поначалу от случая к случаю и главным образом во время резких и напряженных движений, но чтобы дыхание распирало грудь тупой болью в спокойном состоянии — такого еще не бывало.

Поджидая косуль близ водопоя, Жаабарс в этот раз впервые почувствовал, что дыхание сбивается еще до начала охоты.

Действовать предстояло как всегда — дожждаться в засаде, когда эчки-архары напьются вдоволь, и, не упуская момента, броситься в атаку. Но пока то было только намерение. Необходимо было, чтобы все сложилось как нужно, ведь бывали случаи, когда эчки-архары каким-то образом учуивали засаду, в мгновение ока сворачивали в другую сторону и стремительно исчезали из виду. Тогда приходилось заново выслеживать, кидаться в погоню, а там — как получится...

В этот раз Жаабарсу не приходилось сетовать на судьбу. Архары, а это были именно они — дикие рогатые бараны, бегуны и скалолазы, выедающие самые недоступные травы и ягоды высокогорья, — не отклоняясь, шли к извилистому повороту течения, где и поджидал их в засаде сам Жаабарс. Они его не заметили издали, не учуяли вблизи и спокойно начали пить, выстроившись рядком вдоль берега.

Не шелохнувшись, Жаабарс следил за ними из укрытия. Все шло своим чередом — животные наслаждались водопоем, пили и отдыхали, предстояло только выждать. Единственное, что не укладывалось в обычную ситуацию, — это одышка самого Жаабарса. Слышались глухие хрипы из груди, и, хотя они ничем пока не мешали, затрудненность дыхания настораживала.

Однако настал момент, когда барс должен был в два молниеносных прыжка достичь и страшным уда-

ром лапы по хребту свалить большого рогатого архара, стоявшего с краю, вожака стада, — но одышка дала о себе знать, дело сорвалось. Уже на взлете, в прыжке, он увидел, как стадо вздрогнуло разом, резко вскидывая головы, ему оставалось нанести сокрушительный удар лапой с выпущенными когтями, вот он уже почти долетел до цели, но рухнул на землю рядом с архаром, отскочившим в сторону. Не хватило воздуха. В дикой ярости Жаабарс тут же рванулся с места и снова бросился на архара, но тот вывернулся, и вслед за ним все стадо ударилось в бег от страшного хищника.

Еще можно было настичь архаров, еще можно было завалить первого попавшегося, и Жаабарс ринулся изо всех сил вдогонку, но опять неудача — не догнал, не свалил, не восторжествовал в победном рыке, а стадо уходило все дальше... Задыхаясь в мучительной одышке, пересиливая себя, попытался еще раз, но было поздно... Такая неудача впервые обрушилась на голову Жаабарса. Но самым досадным и унижительным оказалось то, что вожак убегающего стада, круторогий архар-самец, на которого нацеливался хищник, вдруг обернулся на бегу, угрожающе, с вызовом покачал рогами и, взрывая копытами землю, помчался прочь. Это был знак того, что Жаабарсу отныне не следует рассчитывать на безусловный успех и придется ему теперь побираться, обглаживать остатки чужой добычи.

Да, конечно, и прежде случались мелкие промахи на охоте, но таких поражений Жаабарс еще не знал...

Он никак не мог прийти в себя, ошеломленно оглядывался, пытаясь усмирить одышку, и медленно брел куда глаза глядят...

Мир опустел. И хотелось Жаабарсу услышать напоследок волшебные звуки гор, водопадов и лесов, ту

самую вселенскую музыку, как тогда, в его брачном марафоне, хотелось взречь призывно, но мир молчал...

Одиноким, задыхающимся бывший царь высокогорья Жаабарс уходил по горам, сам не понимая куда. Предстояло отыскать убежище, пещеру, чтобы коротать там в одиночестве последние дни своего медленного необратимого угасания в ожидании исхода жизни. И никак не мог предвидеть хищный зверь, что напоследок судьбу его разделит с ним человек. Об этом существе он знал лишь понаслышке, точнее, по эху редких ружейных залпов в горах, от которых он невольно вздрагивал, замирал на месте и уходил подальше, но чтобы видеть вблизи самого человека — такого еще не бывало.

Однако такая встреча была написана ему на роду. Опять же — судьба...

Трудно объяснить, но бывают такие стечения — и по месту действия, и по времени, и, главное, по поступкам субъектов, — которые словно бы вынуждают судьбу на неожиданные повороты. Нечто подобное случилось и на сей раз. Хотя он не предполагал такого хода событий. Думалось, верилось, что в конце концов истина восторжествует. Ведь она не может умереть. А значит, живи и всякий раз доказывай истину — для того и существуем, так велено свыше. Только вот что есть истина?..

Как всегда с пятницы на субботу, ночная жизнь начиналась заметно раньше, чем в будние дни. С приближением вечера Арсен Саманчин уже был на месте. Сидел за столом в ресторане, сделав заказ, и воздерживался от курения. Боролся. Бросал. А курить тянуло, как обычно бывает, когда под ложечкой сосет от ожидания. Вскоре за окнами засветились в сумерках уличные фонари, замелькали габаритные огни и фары проезжавших мимо по проспекту автомашин.

Ресторан пока еще наполовину был пуст, но через некоторое время здесь, как говорится, яблоку негде будет упасть. Ничего удивительного: та публика, которая могла себе позволить шикарное времяпрепровождение, устремлялась именно сюда, на окраину Дубового парка, в самый престижный, элитный, как принято теперь

говорить, и, разумеется, самый дорогой ресторан, детище 90-х годов, бывший Дом офицеров, отделанный под евростиль и названный с геополитическим подтекстом весьма громко и модно — «Евразия».

Вот в этой «Евразии» и дожидался он своего часа. Кто-нибудь со стороны мог бы подивиться — чего это он сюда зачастил и все в одиночку? Был бы он разорившимся бизнесменом, неудачно сыгравшим ва-банк, тогда понятно: горе заливает. Однако он был не из них, и причины, побудившие его посиживать за бутылкой вина в «Евразии» вроде бы в ожидании друзей, были не совсем ясны даже ему самому.

Делая вид, что не теряет времени даром, он доставал из кейса своего неразлучного какие-то бумаги, просматривал, вчитывался, попивая вино, и понимал, томась изнутри, что по сути дела идет на риск, но иного выхода не видел. Хотя предчувствовал, учитывая обстоятельства, что лимит его надежд и ожиданий почти исчерпан и, пожалуй, в этот раз ему предстоит последний заход.

Да, следовало действовать, подойти к ней так, чтобы успеть завязать разговор. Как она отреагирует? Иные именуют ее уже примадонной, но он-то знает, и она знает... Главное — не упустить момент. Еще одна попытка во спасение истины. Опять он со своей истиной, сколько можно! Но что станется на деле, какова окажется ответная реакция, сказать трудно. Насколько его переживания и убеждения, в благородстве которых он не сомневался и от которых не отрекся бы, даже доведись ему погибать за них в безводной пустыне, найдут теперь у нее понимание, угадать было трудно. Вот ведь как все обернулось. Романтика, мечты, отвергнутые реальностью! А он судорожно держится за них и оказался вместе с ними в капкане, но не отказывается. И по-

лучается, будто все мчатся мимо по автобану современности, а он, чужак, голосует на обочине, но никому до него нет дела. И вот еще одна попытка. Потому и поторопился он прибыть пораньше и выбрать место так, чтобы ничто не загораживало ему эстраду. Такая позиция была необходима...

Тем временем на сцене появились оркестранты и стали деловито рассаживаться. Предстоял, что называется, «прямой эфир», ибо в ресторанах подобного ранга, как известно, предпочитают живую рок-музыку с выступлениями приезжих и местных звезд.

Кое-кого из музыкантов, игравших прежде в оркестре оперного театра, он знал в лицо, с некоторыми был и лично знаком. Правда, давно не общались. Столько воды утекло. Нужен ли он им так же, как прежде? Да разве дело в этом? Вот зазвучит музыка, и для каждого раздвинется незримый занавес в иной, желанный мир, вхождение в который дано человеку испытать только через музыку, и все суетное отступит, останется лишь поющий дух.

Что касалось музыки, то она была его врожденной страстью, непостижимой, неумемной стихией. Не увлечением, а чем-то гораздо большим, необъяснимым. На этой почве произошел с ним однажды случай, который он нередко вспоминал, в душе посмеиваясь над собой, даже издеваясь, называя себя чокнутым меломаном. Оказавшись в Лондоне в ранние перестроечные годы по своим журналистским делам, он был потрясен и крайне возмущен тем, что в одном из фешенебельных лондонских отелей, где проходила их конференция, в туалете, пусть прекрасно оснащенном всеми необходимыми атрибутами, в тиши над писсуарами откуда-то с потолка лилась волшебная музыка. Прибывающие по нужде совершали свои дела, входили и выходили из

кабин, где они, естественно, подтирали зады, мочились, плевались, харкали и в заключение запускали грохочущие смывочные потоки, бурлящие в захлебывающихся унитазах, а тем временем в их честь звучали Шопен или кто-нибудь еще из гениев. О, какая музыка низвергалась с неведомых высот прямо в канализацию. Не понимал он никак столь своеобразного сервиса урбанистической цивилизации. Ведь музыка — это хождение к Богу, галактика духа. А тут глянь, что учинили! Эх, сожалел он по-совковому, была бы в отеле «Книга жалоб и предложений» — уж он выдал бы им, этим администраторам пятизвездным! Поднявшись из полуподвала в холл, он тем не менее заикнулся было и тут же — как он потом потешался над собой сам, «как заикнулся, так и заткнулся!» — на своем вполне сносном английском, освоенном в московские годы учебы, попытался высказаться по поводу клозетного унижения музыки, но получил ответ — если вам не нравится этот туалет, идите в другой...

Помешанный на музыке, он не стеснялся иной раз даже сказать — полушутя, конечно, — что, будь он с детства отдан музыкальной учебе, а не гонял бы аильных лошадей в горах, быть бы ему непременно композитором, ибо в душе он интуитивно сочиняет музыку, но, получается, только для самого себя.

Так что оставалось лишь выступать в печати музыкальным чятеlem и театральным критиком — это он любил. Однако и тут, случилось, попался на удочку...

Может, оттого, что выпил (вино в «Евразии» было отменное, французское, так что и сегодняшнее посещение ресторана в очередной раз влетит ему в копеечку), Саманчин разгорячился, хотел еще подлить себе вина, но в это время к столу подошел кто-то из ресторанных служащих. Не официант — с виду весьма солидный,

з серой бабочке на толстой шее, как полагалось при евросервисе, в больших очках. Оказалось — сам директор.

— Извините, вы — Арсен Саманчин? — Он положил перед Саманчиным свою визитную карточку с логотипом «Евразии».

— Да! — по привычке живо откликнулся Арсен. — Я Арсен Саманчин, вы не ошиблись. А вы, значит, шеф-директор «Евразии»? — И, встав, протягивая руку для рукопожатия, добавил шутливо: — Стало быть, шеф целого Евразийского континента?

— Ошондой! — покривился тот в ответ, что по-киргизски означало точное подтверждение сказанного, «именно так». Арсен Саманчин тут же дал ему про себя кличку «г-н Ошондой»!

А Ошондой вслед за рукопожатием уверенно отодвинул стул и сел, желал, видимо, о чем-то серьезно поговорить, ибо начал протирать очки в тяжелой оправе.

Несколько удивленный неожиданным появлением самого шеф-директора Ошондоя, Арсен Саманчин тем не менее продолжал в приветственном тоне:

— Уважаемый шеф-директор, позвольте, уберу кейс, чтобы не мешал вам. У вас тут в «Евразии» превосходно, замечательно, сижу и люблюсь, я иногда бываю здесь, редко, но...

— Знаю, знаю, — бросил тот, но не успел перехватить разговор.

— Вот сижу и люблюсь, — оживленно, оглядываясь вокруг, повторил Арсен Саманчин. — Смотрите, сколько посетителей, а какие красивые женщины! — У него чуть заплетался язык, все-таки малость выпил, сказывалось. — А без женщин, сами понимаете, ресторан не гестоган, — на французский манер грассируя, произнес Саманчин, но собеседник не уловил иронии. — Да, рес-

торан — не ресторан, театр — не театр, базар — не базар. Вон еще прибывают. И тоже красавицы! На балконе еще есть места для желающих посидеть повыше. Вот и оркестр начал настраиваться! Наконец-то. Жду, жду музыку! Для того и прибыл. А люстры какие! Скажут, итальянские?

Ошондой кивнул.

— Да, ошондой, итальянские, — и решительно приподнял руку в предупредительном жесте, призванном дать понять: повремените, мне тоже кое-что сказать надо. — Я подошел к вам не случайно, чтобы это самое... — и запнулся на полужесте.

— Ну, это замечательно! — разошелся Арсен Саманчин, приободренный тем, что еще не совсем забыт, что его еще узнают в публичных местах, даже такие вот крупные менеджеры. — Так давайте выпьем, — искренне предложил он, дружелюбно глядя в тяжеловесное лицо собеседника. — Надо сказать, отменное вино у вас, отличное! Давайте я вам налью и еще закажу.

— Нет, нет! — Ошондой перехватил его руку с бутылкой. — Я не для этого. Я по службе. Да, вас многие знают, вы известный человек, но об этом как-нибудь в другой раз. Я к вам по другому делу. Ситуация, знаете ли... Сегодня у нас очень большое мероприятие: ужин для зарубежных спонсоров, канадское СП по аксуйскому золоту, международное дело, и местные партнеры по золоту тоже — они приглашающие. Большие люди, с охраной, понятно, с женами. Концерт... Не в этом, однако, дело. Не буду кривить душой, вот только что позвонили, поступило указание, чтобы Арсен Саманчин сегодня не присутствовал в зале. Так и сказано: «Так требуется!»

— Стоп! Стоп! Кто же это заботится обо мне? — вспыхнул Арсен Саманчин. — Кому это «требуется» и какое право...

— Я говорю то, что мне велено! — не вдаваясь в подробности, перебил его Ошондой, багровея лицом. — А кто о чем заботится — не мое дело. Сказано свыше! — вздернул он голову к потолку с сияющими люстрами. — А я выполняю. Стало быть, надо покинуть ресторан по-хорошему и без лишних разговоров. И чем быстрее, тем лучше. Давайте прямо сейчас поднимайтесь — и дело с концом. Так требуется.

— То есть как требуется? Как это понять? — только он успел промолвить Саманчин и запнулся, жестко поджав побледневшие губы. Конечно, он мог устроить дикий скандал, чтобы у этого мордатого Ошондея глаза полезли на лоб, опрокинуть стол к чертовой матери, свинуть в рыло, поднять хай, заявить протест против оскорбления своей чести и достоинства, сделать многое другое, чтобы дать отпор этому унижительному давлению на его права, но сейчас ему было не до этого. Осененный молниеносной догадкой, он подавил в себе взрыв эмоций, но не от избытка самообладания, а от ощущения, будто его послали в нокаут, будто пред ним разом рухнуло подрубленное дерево и почва под ногами с грохотом сотряслась, ибо то, что он чувствовал интуитивно, что подспудно жило в подсознании как романтический поток звучащего внутри него музыкального мышления, то, о чем он любил порой помечтать, — все это обрушилось вмиг, как то самое дерево, лишилось всякой надобности, своего самостоятельного существования. И эту сокрушительную катастрофу в нем произвела всего лишь одна мысль: «Неужели это она? Неужели она пошла на такое?» Не веря собственной догадке, он глянул на сцену — ее на подиуме еще не было, но оркестр в ожидании ее выхода наигрывал полурри из каких-то мотыльковых мелодий. Он выхватил из кармана мобильный телефон и начал набирать

ее номер. Пальцы дрожали. Боялся, что и голос будет дрожать. Не хотелось, чтобы Ошондой это видел, но деваться было некуда. Ее телефон оказался заблокированным, о чем после нескольких гудков отстраненным голосом сообщила она сама: «Я — Айдана Самарова. Телефон временно отключен и недоступен для связи», — и опять пустые гудки.

— Не отвечает? — иронично приподняв бровь, поинтересовался Ошондой.

Саманчин промолчал. Что конкретно имел в виду Ошондой? Кто не отвечает? Предполагает? Догадывается? Или точно знает? Допытываться не стал. Не хотелось унижаться. И вообще дело-то в другом: предстояло решать, как быть дальше. Встать и удалиться, на том поставив точку, или потребовать объяснений: от кого поступило указание и почему он, шеф-директор ресторана, так усердствует, что превратился по сути дела в вышибалу?

— Ну так что? — выжидающе подал голос Ошондой. — Встаем? Могу проводить до выхода...

— Нет-нет, этого как раз не надо, — отказался Арсен Саманчин. — Дорогу я сам знаю. — Он раздраженно захлопнул кейс.

— Ну что ж! Разумно. Кстати, расплачиваться за ужин не надо. Это мы берем на себя, — добавил мордатый Ошондой.

И тут Арсен Саманчин взорвался, точно только это и ждал, чтобы выместить всю свою боль.

— Да ты что?! — негодуя бросил он в лицо Ошондой, подчеркнуто перейдя с «вы» на «ты». — Ты за кого меня принимаешь? Я что, пришел к тебе с улицы подаяния просить? Да пошел ты знаешь куда! Плевать мне на твой ресторан и на тебя самого. Зови давай официанта, до копейки рассчитаюсь, прежде чем выйду отсюда. И отвали! Всё!

— Ну смотри! Дело твое. Официант сейчас явится. А там, значит, того — как сказано! — предупредил Ошондой, медленно встал и пошел не оглядываясь, с побагровевшей бычьей шеей...

И тут Арсен Саманчин допустил непозволительную ошибку, глупость — смелочился, чем только усугубил скандал.

— Эй, ты! — окликнул он Ошондою и, когда тот обернулся, злобно бросил ему в лицо: — Ты не думай, что погнал меня в шею — и все! Я этого так не оставлю! У меня тоже есть свои ресурсы. Я журналист, независимый журналист! Запомни!

Это словно подстегнуло Ошондою:

— Что тут запоминать? Подумаешь, нашелся. Да плевать мне, кто ты! От тебя уже женщины шарахаются, метут на сторону.

— А тебе какое дело?

— А такое, что знай свою мусорку. Журналисты теперь — что свиньи в стойле: как накормишь, так и хрюкают, что в газетах, что на телевидении. Нашелся тоже мне! Если ты через пять минут не провалишь отсюда, пеняй, гад, на себя... У нас есть силы. Все! Больше ни слова!

С этим Ошондой решительно сдернул очки с искаженного злобой лица и удалился, уже не оборачиваясь на оклики «независимого журналиста».

Знал бы Арсен Саманчин, каким окажется для него продолжение этой истории!

Явился официант:

— Извините, прошу, вот ваш счет!

Но все еще вне себя от ярости, Арсен Саманчин отодвинул в сторону тарелочку со счетом:

— Сначала принеси мне водки!

— Водки?

- Да, водки! Если не понимаешь по-русски — арак!
- Сейчас принесу. Сколько?
- Сколько дотащишь! Быстро!
- Есть!

Официант резво зашагал в сторону буфета. Разгоряченный Арсен Саманчин огляделся вокруг. Никому до него не было никакого дела. Ресторан жил своей вечерней жизнью: народу уже было полно, набралось и на балконе. Сплошной говор, смех, звяканье бокалов, гул многолюдья. И музыка, созвучная настроению зала, сопровождаемая бегающими по стенам световыми лучами, бодрила и расшевеливала души. И только он один в этом сборище оказался изгоем. Голова кружилась, и сердце щемило в груди от напряжения, от понимания, что теперь не дано сбыться тому, на что он сегодня рассчитывал. Если бы доподлинно знать, откуда такая напасть — от нее самой, от Айданы, или от ее новых покровителей? И если от нее, то как могла она предать его, выдать врагам, позволить им вмешаться в их личное дело, кто же она после этого? Какая тварь! И зачем? Что такого стряслось, чтобы гнать его в шею?

Да, была некая ситуация. Случилось это недавно, когда наступила одна из становившихся все более затяжными в последнее время пауз в их отношениях, когда она стала уклоняться от встреч с ним. И тогда он вот так же пришел сюда и стоял вплотную возле эстрады, не выпуская кейса из рук, — весь вечер простоял, упорно глядя на нее. Ему хотелось крикнуть ей: эй, богиня в фольге, опомнись, неужто ты схоронила Вечную невесту еще до того, как она родилась на сцене в твоем лице? Неужто ты продала ее за пляски в татборе? Или ты взбесилась?

И еще что-то убийственно-саркастическое зрело в нем, но он не проронил ни слова... Просто стоял и смот-

дел, а в кейсе заложником немоты лежало великое, в чем он был убежден, творение — рукопись, ждущая своего часа. Но когда предстояло пробить тому часу? И кому какое дело до того? Только ей... А музыка тем временем, как и полагалось, гремела на эстраде, раскошегаривалась над дробь барабана, и солистка изливалась в пении, истопила в эротических телодвижениях так, что публика безумствовала в буре коллективного эротического возбуждения и не отпускала ее, пожирала ненасытно глазами. аплодируя и вопя в экстазе, а он, стоя возле сцены, страдал, глядя, как она трудилась голосом и телом, работала поденщицей на эту ломовую музыку. Несколько раз их взгляды встретились, словно молнии в той буре безумия. Она-то понимала, что к чему.

И вот новый виток. Начиналось то же самое, только в этот раз его, все с тем же кейсом, все с тем же великим творением, в нем лежащим, гнали вон из зала... И он должен был подчиниться.

Вернулся официант с бутылкой водки на подносе.

— Пожалуйста. Вам налить? В бокал, в стакан?

— В стакан.

— Сколько?

— Полный.

И точно в горящую пропасть, он опрокинул в себя золотый стакан водки. И ошалел задыхаясь. Он хотел жечь себя.

— Сколько с меня? — строго спросил он, просматривая счет, так же строго (копейка в копейку) рассчитался, удивив официанта, и молча пошел прочь, стараясь не показать, чего ему стоило после стакана водки держаться ровно, расправив жесткие плечи и вытянув жилистую шею.

В гардеробе он взял шляпу и с тем же строгим видом надел ее на голову. Он любил ходить в шляпе

зимой и летом. Айдана не зря прозвала его Шляпником. Уже на выходе он услышал донесшийся с эстрады ее голос, голос Айданы Самаровой. Весь ресторан дружно заплодировал — свершилось долгожданное: дива явилась! Раздались первые восторженные возгласы: «Ай-да-на! Ай-да-на!» Но Арсен Саманчин не оглянулся, лишь замедлил шаг и сумел еще, с трудом одолевая вал опьянения, подумать: вот, мол, любуйся, наглядное пособие — апогей рекламы и моды. Ради этого эффекта работает вся инфраструктура, идет гонка на выживание. Слава, популярность, все это в конечном счете для того, чтобы деньги сыпались листопадом. Он даже насмешливо промурлыкал: «А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Ой, ля-ля!» И захотелось ему негодуяще топнуть ногой, захохотать во все горло, пуститься в пляс... Но удержался. И тут же ему захотелось плакать. Возопить так, чтобы небо услышало и задохнулось. Предстоял исход, нужно было куда-то скрыться, чтобы не совершить чего-нибудь страшного. Удалиться немедленно, пока не поздно, исчезнуть навсегда.

«Любить и убить! Да как же можно такое? Да это ты спьяну! Нет, не спьяну, — ответил он себе сам, холодея от мысли самой... — Любить и убить...»

Он уходил, а в голове вертелось: и в могиле не забуду, не прощу!..

Кому что суждено на свете. Вот именно — кому что. И это всегда так. И никому не уклониться... В ожидании судьбы дни насущные придут и уйдут. А ожидание останется до последнего дня, до последнего часа... И так будет всегда.

Но вот снова подул ветер откуда-то — это судьба, спохватившись в дозоре своем, поспешала в тот час узреть повсюду все, что полагалось узреть в мире существе, и в душах, и в мыслях, и в поступках людских. И опять хваталась судьба за дела свои неотложные, и, как всегда, нацеливаясь с дальним умыслом, подспудно готовила неожиданные стечения обстоятельств, которые так же неожиданно предопределяли участь и хождения по миру тех, кому предназначалось познать на себе веление оной судьбы неумемной и пережить грядущие дни свои, невольно обращаясь всякий раз к небу эсе с теми же вопросами: что будет? почему? и как быть?..

Но небо не слышит ни шепота, ни криков...

Даже дикий зверь в горах — и тот взывал, с хриплым рыком обращая к небу, луну донимал, и прыгала луна от него то за тучами, то за снежными вершинами, потому как и он не был обойден судьбой вездесущей и ему, горному барсу, она предуготовила нечто...

Потерпевший поражение в самцовой схватке, лишенный права участвовать в продолжении рода, изгой Жаабарс влачил в ту пору тяжкое существование, усугублявшееся сверх всего и тем, что инстинктивно он еще сопротивлялся, еще не смирился окончательно, еще жаждал возврата былой силы и, вопреки всему, подчас горячился. Так и хотелось, как в былые времена, пристать к какой-нибудь барсихе, однако все они уже были «в разборе», и его побуждения не находили никакого отклика. Бывало, он кидался на соперника, чтобы задушить его или хотя бы просто заявить о себе, но схватка обычно заканчивалась вничью. Напрасны были все иллюзии: по сути, в племени его уже не замечали, будто он и не существовал вовсе. И приходилось держаться в стороне, по обочинам барсовых сходок, сбегавшихся при крупной добыче. А сдержанность давалась нелегко, требовала немислимого терпения, надо было сохранять напряженное, до судорог, спокойствие, дожидаясь остатков пожираемой другими дичи. Такова оказалась теперь его печальная доля, хотя внешне он выглядел по-прежнему внушительным — крупноголовый, с приуставшими, мерцающими исподлобья глазами, с бугристой мосластой холкой и чаще всего спокойным, мягко изогнутым хвостом, что свидетельствовало о том, что Жаабарс еще способен владеть собой, когда надо.

Вот только племени до этого не было никакого дела. Лишь сезонные пары хищников с приплодом свирепо поглядывали на него и сторонились, будто он был в чем-то повинен, а бывшая его барсиха, та и вовсе не признавала его — с вызывающей наглостью, призадрав хвост, бок о бок со своим столь же наглым новообретенным ухажером проходила мимо, словно Жаабарс был тенью. И такое унижение приходилось претерпевать тому самому Жаабарсу, который еще совсем недавно был

эооаком среди сородичей, обитающих в горах и ущельях притянь-шаньского вечноснежья. Отлученный от тайной жизни, он худо-бедно перебивался охотой на всякую мелкую тварь вроде барсуков, сусликов, попарались и зайцы. От голода Жаабарс в общем-то не так и страдал, хотя, конечно, не насыщался, как бывало, сыта мясом диких парнокопытных, которых прежде етил почти каждый день. Удача — и та отвернулась от него.

Однако не иссякала в нем воля к сопротивлению, не смирился он, ставший фактически неприкасаемым, с участью изгоя, вынужденного жить на коленях. Вообще всему клокотал в нем стихийный бунт неприятия реальности, в глубинной сути его звериной нарастал протест, зрела — наперекор всему — сила внутренняя, неодолимая, повелевающая как можно скорей покинуть здешние места, эти горы и ущелья, ставшие для него злополучными, исчезнуть навсегда, безвозвратно удалиться в иной мир, который находился не где-нибудь, куда можно заскочить походя, а за перевалом, за великим перевалом поднебесного, вечно снежного хребта. Ему предстояло отправиться туда, в необжитые пределы, на редко доступное — лишь в летнюю пору и лишь на считанные дни — вершинное плато между Узенгилеш-Стремянными хребтами, недостижимыми даже для пернатых высшего полета. Вот куда влекла Жаабарса сила, настойчиво подталкивавшая изнутри, вот куда тянула тоска неумемая. Когда-то он забирался туда на летнюю побывку, но в том-то и заключалась ныне его трагедия — в недоступности прежде доступного...

Путь к перевалу, крутой и скалистый, пролегал по высотному, никогда не тающему снегу, уходил под самые облака и тучи, ползущие по перевалу и исчезаю-

щие за ним, опускающиеся по склонам, погоняемые ветрами по горам, как пастушьи стада... Все это было рядом...

Все это обозревал Жаабарс, останавливаясь, переминаясь и топчась на месте, прикидывая — сколько еще предстоит пробираться через сугробы. И шел, уминавая навалы снега, утопая в снегу по горло, и снова карабкался, цепляясь когтями всех четырех лап, и полз, припадая всем телом к ледяному лону каменных скал. Но дыхания здесь уже не хватало, точно он в бешеной гонке преследовал добычу, оглушительное сердцебиение отдавалось в ушах, и — самое страшное — возник приступ тяжелой одышки, валивший с ног, отшвыривавший назад, в мерцающих видениях рушился окружающий мир. Дальше, выше двигаться не хватало сил — хрипел он, рычал в удушье, а продвинуться не мог ни на шаг... Будь он в силе, как прежде, — через час-другой преодолел бы Узенгилеш-Стремянный перевал и вышел бы наконец к тому, к иному миру. На райскую побывку в небесах... Но если бы и удалось, то в этот раз прибыл бы он безвозвратно, чтобы остаться там навсегда, до последнего дыхания, до последнего мгновения жизни...

Так на подступах к высокогорному плато, окаймленному неприступными хребтами, изводился неприкаянный Жаабарс, в отчаянии мотал головой, скреб когтями мерзлый каменистый грунт, и если бы дано было ему от природы заплакать в голос, то разрыдался бы он так, что горы сотряслись бы вокруг.

Уже несколько раз пытался Жаабарс осилить перевал, однако не удавалось... Однажды совсем рядом с ним, мучимым одышкой, прошли, подпрыгивая на ходу, с десятков рогатых горных архаров — точно хищного барса и не было поблизости. Они его видели, а он де-

лал вид, что не замечает их, предназначенных природой стать главной добычей горных барсов... О горы, разве бывает на свете такое?! Но горы молчали. О небо, разве бывает такое на свете?! И небо высокое молчало. И сникал от тоски Жаабарс...

А ведь было время, когда все ладилось, когда перепрыгивал он с разбега через крутой водопад, который — случись что — унес бы в пропасть кого угодно и вдребезги разбил бы о камни. Но он, Жаабарс, был в ту пору настолько силен и ловок, что не было ему преград — ни пропастей, ни круч, и метель обнимала его, как родная, и кликала его некая богиня с горы: «Подойди ко мне, Жаабарс, подойди!» Он стремительно кидался на ее зов, а она исчезала, и слышался ее голос уже с другой стороны: «Подойди ко мне, Жаабарс, подойди!» И снова бежал он, летел со скоростью стрелы... Ничего не стоило ему в ту пору, когда весь мир принадлежал ему, поспевать, обгонять, настигать и всегда побеждать! Мир вокруг был его миром.

Теперь, мотаясь, карабкаясь, изводясь и унижаясь перед необоримым перевалом, припоминал он с тоской и болью те минувшие дни.

Был полдень. Полдни наступают изо дня в день, но то был незабываемый летний полдень...

И лето тоже незабываемое...

На таких высотах в безоблачный ясный день солнце не жжет, не печет, не загоняет отлеживаться в тень, как в низинах, а излучается чудным, абсолютным сиянием, окармливая горный мир своим светом и трансформируясь в живую энергию, никнет ко всему, что живет и дышит на земле, — от простой травинки до стаи птиц, кружащих над хребтами и залетевших сюда тоже на побывку. И все сущее наслаждается в такой час под солнцем благами бытия...

Так было и в тот полдень, когда они — он и она — вольно мчались по Узенгилеш-Стремянному плато, побуждаемые солнцем и величием гор, мчались в едином порыве, в беге ради бега, чтобы насытиться друг другом...

А добрались они сюда еще накануне. Шли весь день, пробиваясь через перевал, не замедляя хода ни на миг, чтобы не оказаться застигнутыми ночью в пути, чтобы не замело их метелью. И удалось-таки Жаабарсу и его подруге барсихе пробиться к заветной цели до заката, засветло. И оно того стоило! Удачу дарила им, пришедшим по зову инстинкта, природа в тот день во всем. Как только звери отдышались с дороги и стали приглядывать место для ночной лежки, увидели они неподалеку табунок горных косуль, с десятков голов, тоже только что перебравшийся через перевал на луга, на травостой, на воды поднебесные. Но исход тяжкого и для них, парнокопытных, одоления обернулся бедой, а для хищников — удачей. Барсы тут же кинулись в атаку. Догнать добычу было не так уж трудно: после недавнего перехода косули были изнурены. Одну из них барсы завалили с ходу, остальные умчались. Спокойное насыщение свежим мясом на ночь оказалось очень кстати — вкусно, сытно, вольготно. Звезды в небе словно знали это — светили тоже спокойно и благодно над их головами и над горами.

А утром всплыло солнце на ясном небосклоне и ожили, воскресли в незыблемости своей и грандиозности хребты и вершины гор, высветляясь приобретающими все большую резкость гранями.

Жаабарс с напарницей были уже на ногах и не столько высматривали по привычке случайную добычу, сколько гуляли по нетронутым кущам и травостоям, наслаждаясь воздухом высокогорья. А ближе к полудню, когда солнце

вошло в зенит, барсы сначала пошли прыжками, потом пустились в долгий бег. Словно сама сила солнца увлекала и вдохновляла горных леопардов, наделяя их небывалой красотой и мощностью, дабы постигли они в тот час сущность своего двуединого бытия. То было торжеством их гармонии.

Они шли в беге, ничем не скованные, бок о бок, и ничего в тот час не существовало для них в мире, кроме солнца и гор. Никакой добычи им не требовалось, если бы даже и встретилась она на пути. Они насыщались солнцем, поедали на бегу его свет и тепло и становились все сильнее, нисколько не утомляясь, пребывая на вершине наслаждения жизнью. Так было...

И катился шар земной в карусели Вселенной, и все сущее на земле пребывало в незримом кружении вечности, и мчались среди светом озаренных горных гряд и долин Жаабарс со спутницей барсикой, а солнце лелеяло их с полуденной высоты, звало к себе, манило к птицам в небе, ибо являли они в тот час бегущую пару ангелов хищно-звериного племени... Подчас и звери могут быть ангелами. Так было...

Тем временем кончились благоприятные летние дни, сезон на поднебесной побывке завершился и наступил резко контрастный оборот тамошнего мира — грянули вдруг с крутых вершин по склонам взбесившиеся в одночасье метели со стужей лютой и вихрями удушающими, и замутнилось небо беспросветно. И тогда кинулись барсы в обратный путь — едва успели ноги унести. А иные из тварей так и остались там, под снежными лавинами, и птицы, ослепшие в небе, падали с высоты окоченевшими камнями. Так было...

Вот туда, в горное поднебесье, безуспешно пытался пробиться теперь Жаабарс, чтобы предстать там пред магическим солнцем — на сей раз в одиночку — и сги-

нуть, дождавшись последнего своего дня, исчезнуть навсегда. Только там и только так, и никак иначе тянуло этого зверя-изгоя завершить свой жизненный путь.

А ходу не было. Дорога была наглухо перекрыта на неодолимом для него перевале. Жаабарс хрипел, выл, лез, задыхаясь, по крутизне, срывался вниз и снова вставал на дрожащие лапы...

Ну почему же не даровала судьба этому горному барсу такой малости? Ведь всего-то и добивался он — перебраться через перевал, кануть там, за ним, остаться навечно... Неужто была у нее на то какая-то особая причина? Неужто нужен он был ей зачем-то именно здесь, в предгорьях Узенгилеш-Стремянного хребта? Что было на уме у судьбы?

Еще дня два назад готовил он статью, полемизируя с одним читателем, лихо заявившим: «Что там душа? На нее можно списать все, что угодно. Воля и сознание — вот что главное в человеке!» — «Так-то оно так, но не следует исключать и значимость того, что происходит подчас в душе, пусть мы и не отдаем себе отчета в этой значимости. Душевные побуждения нередко становятся решающим фактором даже в исторических событиях. Душа есть источник, из которого исходят в своем первозачатии добро и зло. Душа — аккумулятор подсознания!..» Любил он иногда пофилософствовать о том о сем, если случался к тому повод.

Теперь, однако, было не до философствований. К компьютеру Арсен Саманчин в тот вечер даже не прикоснулся и не подозревал, что никогда не удастся ему дописать ту занятную глубокомысленную статью. Не включал он и музыку, которую слушал обычно по вечерам. И опять же не подозревал, что никогда больше не придется слушать ее на досуге.

После того, что случилось с ним в этом проклятом шоу-ресторане «Евразия», душа его полыхала лесным пожаром. Он испытывал катастрофическое сокрушение духа — не знал, как совладать с собой, шел ко дну и снова вырывался из пучины захлестывавших его переживаний и гнева. Несколько раз уже подходил он

к единственному окну холостяцкого жилья своего и стоял там, сам не понимая, к чему и зачем. Странно, что думал он теперь о себе в третьем лице — будто стал сам себе посторонним.

Стоял, вздыхал, головой крутил, теребил галстук, который так и не снял, вернувшись из ресторана, и все вглядывался в темное пространство — в доме напротив, таком же многоквартирном, многоэтажном, таком же сером крупнопанельном здании, все окна уже погасли. А если бы и светились — что толку? Кому из коммунальных соседей какое могло быть дело до того, что происходит с типом, живущим в третьем корпусе на седьмом этаже и торчащим теперь у окна, терзаясь безысходными помыслами?

Какой толк ныть и бурчать впустую? Кого может он упрекать, кого страшать? Ведь точки над *i* уже расставлены. Когда таксист привез его сюда, ко двору унылых семиэтажек, их круто обогнала следовавшая все время позади иномарка, ослепив до боли в глазах бьющими в лицо фарами. И пока Арсен Саманчин, еще не обретя полноты зрения, вылезал из машины, двое одинаково рослых мужчин из иномарки подошли к нему. Судя по их поведению, посланы они были, чтобы запугать и унижить его, а то и избить. Но перво-наперво они отослали прочь таксиста: «Слушай, гони давай отсюда!»

А Арсена Саманчина прижали к стене:

— Ну что, высокоуважаемый, добрался до хаты? В таком завонялом месте тычкуешься, а еще шляпу носишь! — Арсен Саманчин не успел ничего ответить — один из них резким движением дернул его шляпу вниз, надвинув почти на глаза. — Ты смотри, не суйся не в свои дела! А то, что статьи свои гонишь гуртом, тебе это даром не пройдет. На такого, как ты, пулька всегда

найдется! Понял, гад? Только попробуй еще что-нибудь не то написать — всю грамоту забудешь! У, сволочь, набрался, как на базаре. Вали отсюда! И помни: прижми хвост, пока не поздно.

Оставив его, они тут же отъехали на большой скорости. Им бы каменюкой вдогонку... Но куда уж там! Дурно было. И пришлось молча идти в тусклых сумерках к подъезду. Единственное, что смог, это поправить шляпу.

А теперь маялся, будто юнец наивный: как быть, что делать, как жить дальше, куда деваться? Что с ним творится? Ведь столько уже повидал...

И женат был. Свадьбу справляли. Все забылось. А родственники постоянно талдычат: не удалось по первому разу — что тянуть со вторым? Действуй! Да, недолгой оказалась та спайка. Жаль, перевоплотиться в другого человека невозможно. Вот и разминулись, разошлись, освободились друг от друга. Должно быть, правду говорят: любовь — заря, горит лишь раз, вечно сияющих зорь не бывает. Только никто не смиряется с этим, требуя себе зари вечной, негасимой... Да бог с ним. Заря не заря, разминулись, будто и не знали друг друга. И вот уже третий год живет он, перебравшись в этот микрорайон совковый. Конечно, ужиться нормальной женщине с таким, как он, совсем не просто. И не родила. Не успела. Родственники попрекают. А кто тут виноват? Одной заботой жила, на банк работала неустанно. Деньги! А, все равно с таким фанатиком, как он, каши не сваришь. Он сумасшедший идееносец, если можно так выразиться. Идея для него превыше всего на свете. Идеалист несчастный. К тому же «кафедральный выходец». Так прозвала его английская журналистка, прибывшая в Центральную Азию для подготовки аналитического обзора по региону. Много беседова-

ли о том о сем. Вот тогда-то журналистка лондонская и сказала:

— Господин Саманчин, чем-то вы очень напоминаете наших кафедральных выходцев, твердо верящих в исключительность своих идей. Вот и вы идею свою зорко стережете, держите в ладонях, не упуская.

— Спасибо, приятно слышать, не скрою. Однако я скорее «горный выходец». В горах вырос. А в горах требуется всегда быть собранным и ничего не упускать из виду, чтобы не спотыкаться на краю пропасти.

— Значит, горы — ваша кафедра. Впрочем, — улыбнулась англичанка, — у вас везде горы. Вон какие хребты вдали виднеются!

— Понятное дело, мы ведь горная страна. Только те горы, откуда я родом, самые дальние и самые высокие, потому и называются они Узенгилеш-Стремянные, то есть эти вершины — стремяна поднебесные...

— Как красиво. Мне очень нравится этот образ. На английском будет — *stirrup*. Так что можно именовать ваши горы по-английски — горы Стиррап.

— Прекрасно. По-киргизски это будет Стиррап-тоо! Стремянные горы! Мои земляки будут гордиться. А я не против быть и кафедральным выходцем, не только горным. Ведь кафедры занимаются универсальными, глобальными идеями.

— Значит, я не ошиблась. Спасибо. Очень приятно беседовать с коллегой, понимающим тебя с полуслова.

Теперь, стоя у окна, бессмысленно глядя в дворовую темень, припомнил Арсен Саманчин тот разговор и подумалось ему: вот так, уважаемый «кафедральный выходец». Сегодня ты получил еще один «сладкий» урок жизни. Вкусил! С медом! Bravo! Дошло наконец! Перед рыночной стихией никакие кафедры не устоят. Вот погнали тебя в шею рыночной плеткой, выперли

и пригрозили морду набить. И даже любовь, как товар, выставили на рыночные ряды. А ты только теперь это постигаешь. Стало быть, непригоден ты для бизнес-эпохи. Еще одна персональная расплата за так называемый соцреализм. Тоже мне «стиррапский выходец», родственники айльные, видишь ли, гордились тобой, особенно в перестроечные годы. Теперь уймутся. Ну, так куда теперь деваться и как быть дальше? Забудь, забудь об этой самой «Вечной невесте»! Кому она нужна? Уже в замысле ее попса топчет. Попса торжествует. У нас эпоха попсы. А ты или смиришься покорно, или исчезни не прощаясь. И все же, как быть? В Москву уехать, там есть свои люди, надежные, но ведь и там пик попсы! Словом, сплошной туннель и конца не видно... Думалось ли еще два года назад, что все так беспроблемно обернется? Напишу прощальные письма, ей и брату...

Долго еще томился он этими мыслями, стоя у окна. Потом — сам не помня как — уснул, спал в полной тишине. Странно, что в тот вечер не было никаких звонков ни по мобильному, ни по городскому. Обычно его донимают звонками до полуночи. Журналисту, да еще независимому, так называемому эгемену, Арсену Саманчину так и полагалось — бремя свободы слова. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Столько жалоб сыпалось! Что-то удавалось решить через прессу, что-то нет, не адвокат же он, а всего лишь пахарь от СМИ. А к каким только ухищрениям дельцы разные не прибегали, чтобы через прессу свои интересы продвигать, чтобы сшибаться на виду у публики, жаждая победы и громогласной известности, требуя, чтобы он откликнулся на свары их собачьи конкурентные... А сегодня ни звука. Невероятно. Разве что узнали про его унижение?

Разве что учуяли звериным чутьем, что нет смысла обращаться к нему, потерпевшему столь сокрушительную неудачу в попытке всего лишь напомнить «певице-вокалище», когдатощней богине оперной сцены, а ныне «эстрадке-плакатке», красующейся на всех углах, не столько о себе, сколько об идее, совместно вынашивавшейся ими до недавнего времени, — о сообща задуманной опере. Как теперь выясняется — опере-утопии. Ведь она оборвала вдруг все контакты — точно ее кто околдовал, — стала недоступной в окружении своей охраны. Да бог с ней, в конце концов, но как теперь быть с композитором? Давать отбой? Такие композиторы, как этот маэстро, задумавший классическую оперу ради нее, теперь редкость. Как объяснить композитору Аблаеву, человеку весьма уважаемому в музыкальной среде, охотно воспринявшему идею «Вечной невесты» и уже оформившему контракт со спонсором, которого нелегко было сподвигнуть на такое редкостное меценатство, — как объяснить им это неслыханное происшествие в ресторане? Какой позор! Охранники вывели его в переулок и буквально затолкали в такси, пригрозив кулаком, а таксисту сказали: «Слушай, старик, отвези этого типа, перебрал малость. И нигде не останавливайся. Прямо в Ортосайский микрорайон!» Мало того, сунули таксисту деньги.

Вот так «депортировали» Арсена Саманчина. А хуже всего было, когда на выходе из фойе он вдруг увидел себя в полный рост в сияющем парадном зеркале и чуть не вскрикнул от потрясения. Каким ничтожным, униженным и жалким выглядел он. Да еще эта дурацкая шляпа, якобы классическая, якобы модная. В одночасье он оказался презренным изгоем, которого пинком вышибают из общественного места. А он, вместо того чтобы защитить свою честь, покорно удаляется, запечатлев для себя этот факт в роскошном, сделанном

на заказ зеркале. Куда подевались его всегдашняя элегантность, обаяние, интеллигентность? Ведь недаром называли его эгеменом, независимым, он и впрямь, то ли на беду свою, то ли на удачу, был одним из редко встречающихся в азиатских СМИ самодостаточным, независимым журналистом. И она, Айдана, его Айа, как уменьшительно-ласково называл он ее, бывало, шептала: «Эгемен мой! Я тоже хочу быть эгеменной, и будем мы с тобой эгеменной парой!» Куда там! Все вышло наоборот. Он отвергнут, отторгнут бизнес-элитой. А она, пожав декольтированными плечами, переметнулась в бизнес-рай. Кому же не хочется в рай? Всем там не уместиться, а ей повезло. Были бы у него ключи от рая — отворил бы ей дверь, но у него их нет...

Так куда ж теперь податься со своей навязчивой идеей постановки «Вечной невесты», изначально задуманной для нее, для ее захватывающего дух меццо-сопрано? В какую пропасть выкинуть проблему деградирующего на глазах современного оперного театра, откуда неотвратно утекают таланты — ничем не удержать? Традиционный репертуарный театр то ли выживет, то ли нет. Это и национальная, и мировая проблема. Да, спекулянты от массовой культуры ловко расправились с Арсеном, с эдаким энтузиастом самопальным, сделали так, чтобы он сломался, унился в собственных глазах, чтобы больше и не помышлял о высоких материях. И это еще не конец, они будут продолжать издеваться, высмеивать эгемена-идеалиста, чтобы окончательно доконать его морально и чтобы он сам убрался с дороги, не путался под ногами. И делать это с цинизмом сладострастным будут те самые подметальщики от шоу-бизнеса, так называемые топ-модельщики от поп-модернизма. Уж в этом они преуспеют. Все им дано для этого, все средства — от Интернета до космоса.

И подсобные каждодневки в их распоряжении — эстрада, пресса... Ах, бедная, бедная пресса! Боролась, боролась против рабства слова при тоталитаризме — и сама оказалась рабыней рынка. И эфир тому же служит, ведь радио в каждой автомашине... Даже космические спутники теперь играют роль навигаторов шоу-бизнеса в глобальной круговерти. И все это — чтобы потеснить на обочину классические ценности, чтобы выгоду извлекать, ошеломительно, как цунами футбольных стадионов, нарастающую. Все в их руках.

А ты, ты, заблудший энтузиаст-утопщик, то есть утопист, одиночка несчастный, зачем встаешь на их пути, зная, что и как? Неужто уподобишься покорной жертве и себя преподнесешь трясущимися руками в дань шоуменовому орде? И даже любовь свою подашь им на подносе — нате, мол, только не становитесь нам помехой. И это будет принудительным отрешением от того, что ты называешь смыслом и красотой жизни, даром вечности, ниспосланным от самого Бога, ибо любовь и есть дар Вселенной, энергия от потенциала вечности. Вот почему экстаз соития можно объяснить как кульминационный момент взаимодействия вечности и земной жизни, и поэтому же торжество бурных страстей и любовной чувственности таит в себе трагедии и драмы, определяя сложность отношений между небом и землей. Завершает же всякую историю любви неизбежная смерть, но квота вечности, предназначенная любви от Бога, переносится на последующие поколения, и они тоже будут предаваться любви и через любовь включаться в течение вечности. Но всякий раз разрушительные силы будут коварно наступать на мир любви, ибо много их таится в темных пещерах человеческой сущности и становятся они все изощренней, а потому не убывают в людях внутренние борения.

Вот ты и оплошал и, как говорят в таких случаях, потерпел сокрушительное поражение, унизился и теперь пустишь под откос свою любовь, а ведь и тебе, уже зрелому человеку, и ей она была ниспослана свыше. Опозорился ты, сник перед шоуменом, имя которого не хочется произнести даже про себя, настолько он отвратителен. Но ему до этого дела нет. Он торжествует, он триумфатор. Ведь по сути дела он сумел обаять и у всех на глазах увести обожаемую тобой женщину, а если честно — купить и суперуспешно, по-продюсерски, торговать ею. Ты же оказался обездолен еще и тем, что в тебе убыла разом соприродная любви музыка души, таившаяся в тебе как незримый океан, — пусть дилетантская, пусть импульсивная, пусть другим неслышная и неведомая, но ведь ты не в силах был расстаться с ней. Вот и сокрушайся теперь, что незримая симфония твоего подсознания уходит втихую, потому как не осталось для нее среды обитания.

И тут же Арсен Саманчин попытался унять, вразумить себя: мол, все это эмоции, переключись, постарайся мыслить здраво. Ведь если бы опера на основе фавбулы «Вечной невесты» была сочинена уже и существовала в партитуре, на главную роль можно было бы подыскать достойную исполнительницу в других городах и даже странах. Обошлось бы дороже, но оргвопросы удалось бы решить. Логически, казалось бы, так...

Однако вопреки всему душа его все больше ввергалась в пучину захлестывавшей ненависти и жажды мщения. Невозможно было стерпеть, что топчет тебя ногами воротила из тех, кого величают ныне олигархами. Да пусть наживаются сколько хотят, но почему все должны пресмыкаться перед ними, служа во всем, в том числе и в злодеяниях, начиная от киллерства и кончая прода-

жей совести? Ему хотелось ответить на удар таким ударом, чтобы звезды посыпались с неба!

И прорывался в душу Арсена Саманчина роковой замысел — совершить убийство и тут же покончить с собой! Ноль — ноль! Ни тебя — ни меня! Точка! А что потом будут измышлять на этот счет в печати и прочих СМИ, что будет на устах, истинных и лживых, — плевать!

С какой иронически-презрительной усмешкой относился он прежде к эпизодам убийств в теле- и кинодетективах и вот теперь готов был сам совершить подобное в точности как в кино — хладнокровно, не дрогнув: трижды выстрелить в упор, потом контрольный выстрел в голову, а перед расстрелом бросить в лицо врагу свой приговор, чтобы мозги его свихнулись, как от электрошокового удара. А потом приставить дуло пистолета к собственному виску и спустить курок. Все, финиш! Встретимся, мол, на том свете... И разберемся...

Единственное, что очень хотелось бы Арсену Саманчину унести с собой туда, так это надежду, а лучше уверенность, что и она, Айа, будет обречена высшими силами на неотвратимые муки совести, что всегда будет жечь ее душу раскаяние за преданную ею любовь, за поруганную «Вечную невесту».

И чтобы никому, кроме них двоих, не известная хайдельбергская история любви бередила ее память до последней минуты жизни. И чтобы слышал он на том свете ее рыдающий в раскаянии голос. Ведь идея «Вечной невесты» родилась у них в хайдельбергском нагорном замке в те принадлежавшие только им двоим лунные ночи, в том романтическом парке над средневековым немецким городом, где оказались они в совместной поездке: она с концертом по приглашению Хайдельбергского музыкального общества, он — как сопровождавший ее журналист.

Как ни пытался он унять себя — мол, остановись, то, что ты задумал, примитивно, ничтожно, пошло, не говоря уж о том, что преступно, — ничего не получалось, жажда мести не отступала, инстинктивное желание ответить злом на зло не убывало, а, напротив, усиливалось, разжигая кровь. И припомнилось вдруг то, что доводилось слышать в детстве, — присказка вроде или заклинание, которое изрекают киргизы в безвыходной ситуации: «Эх, будь что будет, головой о камень бейся и кнутом себя стегай, а накинутся душманы, обуздать себя не дай и врага не промени, намертво с седла свали, пику в грудь ему вонзи. А не то — убей себя, значит, нет тебе пути...»

Когда, к чему, в каком отчаянном порыве были сказаны эти слова, кто знает... Но вот и ему пришлось оказаться перед выбором: убей врага — или убей себя! Другого выхода не было. И тут же он принимался корить себя — какая дикость!

Так маялся несчастный, пока вдруг не осенило его и, резко отступив от окна, не прохрипел он, заикаясь: «Коззел! О чем ты думаешь? Из чего стрелять-то будешь? Не из пальца же! — Подойдя к зеркалу на стене, он едва удержался, чтобы не плюнуть себе в лицо. — У тебя же нет даже игрушечного пистолета! Размечтался!»

Много наслышан он был о киллерах, о приемах и технологиях убийств — сколько об этом пишут и показывают по телевидению, но на деле не все так просто. Конечно, можно, наверно, достать, купить, если на то пошло. Но надо же еще уметь стрелять... Вот те раз...

А горю «Вечной невесты» нет конца...

Во сне, уже ближе к утру, приснилось ему, что держит он в руках свой мобильный телефон, но, вместо того чтобы звонить, целится из него куда-то, а выстрела нет... И тут раздался звонок.

Арсен Саманчин подошел к телефону, но не стал снимать трубку. Раздраженно отмахнулся — не до разговоров. Телефон позвонил еще раз — с тем же успехом.

Да, предстояло добыть оружие — пистолет, разумеется, с обоймой патронов. Вот забота-то, никогда не думал... К кому обратиться?..

Светало. Во дворе шумы стали слышны. А он по-прежнему не знал, что делать. То ложился, то вставал. Вот проблема! Где же и как приобрести этот предмет, популярный нынче почти как зубная щетка и столь недоступный реально? Говорят, оружие продается чуть ли не на базарах. Купить за любую цену, потому как впредь денег ему уже не потребуется. Предстоял конец жизни — и никаких забот...

Если удастся достать пистолет, нужно будет постоянно носить его при себе, в кармане, пожалуй, боковом — все остальное, что предстояло, не вызывало у Арсена Саманчина сомнения. Не дрогнет, совершит задуманное в точности, выстрелы последуют один за другим, и последний — в собственный висок. А в том, что возможность такая представится, он был уверен, поскольку с тем, кого он обрек, всегда мог встретиться — люди они, можно сказать, одного круга, давно знакомы. В последнее время, правда, видятся редко. Теперь-то тот — вездесущий эстрадный продюсер, владелец элитных заведений, куда там, почти олигарх, босс, шеф, как там еще его именуют, а был-то посредственным актеришкой. Вот, стало быть, где прорубился — в рыночную тайгу прорубился. И пошел, пошел всеохватно по шоу-бизнесу! Все мы поголовно рыщем теперь по рынку, а удачников — по пальцам перечесть. Суть в том, что от богатства возомнил он себя бульдозером, и, если надо погубить идею, затоптать чью-нибудь жизнь, женщину обратить в робота, — так тому и быть. Все, хва-

тит! Было бы оружие — остальное свершится, теперь это дело только воли и мужества.

Так убеждал он себя и, к собственному удивлению, все больше наполнялся уверенностью, что дело его правое. Мелькала, правда, подчас мысль: до чего же может довести яростная страсть мщения! Получается, зло во имя добра? Может ли быть такое? Но тут же отмахивался: опять, мол, мудришь, только задумал — и уже раскаиваешься... Не трусишь ли? Думай лучше, как подойдешь к нему — поговорить, дескать, нужно. И тут...

Кстати, виделись они совсем недавно, разговор-то у них был... Правда, интереса особого Эрташ не проявил, после пресс-конференции спешил куда-то, все на часы поглядывал. А в душе, наверно, смеялся над ним, над фанатом идеи, — дурак, мол, в заоблачных сферах витает! Да, конечно, в перестроечные годы моложе были, сам-то Арсен Саманчин и в ту пору разные статьи пописывал, в том числе и на театральные темы. Но тогда Эрташ Курчалов, заурядный артист, ничего не значил. А теперь!.. Но что было, то было! Тогда, в перестройку, театр был в зените. Явилось новое мышление. Эпоха представляла на театральных подмостках. Театр тогда возвысился на глазах, дух захватывало в театре, вырывался человек из тенет тоталитаризма. Но только этот Эрташ Курчалов, рядовой артист городского драмтеатра, ничем не выделялся, никто о нем тогда думать не думал. Разве можно было в то время помыслить, что в нем, посредственном актере (правда, ростом он был выше других и голос басовит, а так — один из многих, по преимуществу занятый в массовках), таился мощный потенциал шоу-бизнесмена, который сделается повелителем всех эстрад и даже стадионов?

Однако возникло в атмосфере тех дней словосочетание «Эрташ Курчал», обретшее вдруг широкую по-

пулярность, особенно среди молодежи, словосочетание, которое стало брендом массовых эстрадных представлений со всеми сопутствующими им сценическими эффектами и рекламой столь быстро окупаемой современной шоу-индустрии. Эффектные «эрташ-курчаловские» клип-концерты побывали с гастрольями во многих местах, включая Китай и Москву. Короче говоря, Эрташ Курчалов оказался предприимчив и ловок и сделался доминирующей силой в овладении эстрадными пространствами. Вот туда-то, в эту пагубную эрташ-курчаловскую стихию, и засосало Айдану Самарову мощной тягой.

И поздно было уже думать о том, что и как произошло с Айей, с Айданой Самаровой, которая, будучи ведущей солисткой оперного театра, оказалась вдруг поработана эрташевским бизнесом, замелькала по всем телеканалам, превращаясь на глазах во все ярче разгорающуюся эстрадную звезду, переиначив в ореоле наградившей попсовой славы и голос, и лик, взяв сценическую манеру «а-ля Голливуд», одним словом, перекроив всю свою судьбу. Расхожая фраза «Поезд ушел» подходила здесь как нельзя лучше. Действительно, получилось так, как если бы они с Айданой ехали в одном поезде из Хайдельберга, где судьба уединила их на несколько дней в хайдельбергском замке, для того чтобы снизошло на них озарение, именуемое любовью, и где явилась им идея «Вечной невесты», и вот на очередной остановке она вдруг пересела в поезд, идущий в противоположную сторону, и укатила. А он словно бы долго бежал за скрывшимся составом по шпалам, один в безлюдной степи, и кричал, вопил как безумный: «Ай-а-а-а! Ай-аа! А как же наша „Вечная невеста“? Остановись, остановись! Ай-а-а, Ай-а-а!» Но она укатила... А кто ее заманил, кто очаровал банковскими счетами — ясное

дело. Машинист локомотива, в прошлом «некий», а теперь знаменитый Эрташ Курчалов.

Так зачем же ему, чудаку, бежать вслед за незримым этим поездом и слышать в ответ на свои мольбы хохот с небес: «Сумасшедший! Одержимый! Маньяк!» Не лучше ли просто махнуть рукой на все и забыть?..

Но как бы трезво ни понимал Арсен Саманчин неумолимый, штурмовой рационализм современного шоу-бизнеса, деваться от своих невольных иллюзий ему было некуда. Он был повязан собственной идеей, став ее добровольным заложником и оказавшись вместе с ней в тупике. Все прежние интересы постепенно померкли, отодвинулись куда-то по ту сторону бытия — все, кроме нее и «Вечной невесты».

А между тем массовая культура, к которой он интуитивно всегда относился настороженно, шествовала по миру, снова и снова накатываясь на него своими коммерческими океанскими волнами, каждый раз со все возрастающей силой.

И придумался ему неологизм для обозначения массовой культуры, не сходящей с уст глобальных масс-медиа, — оптовая культура, по аналогии с оптовым товаром. (Ну и пожалуйста! Масскультура от этого и глазом не моргнет!)

В точности своего термина он недавно убедился на стадионе, во время грандиозного шоу-концерта, приуроченного к городскому празднику. Отмечался юбилей — 250-летие города.

Был поздний вечер, стадион колыхался, переполненный многотысячным людом, весь сиял огнями, красовался разноцветными афишами и невиданной электронной рекламой. Прибывшие на праздник толпы, большей частью молодежь, чувствовали себя превосходно, нахо-

дились в приподнятом настроении, приободряемые вечерней прохладой, веющей с гор.

И всем хотелось веселья и нескончаемых зрелищ.

Так оно и было. Оглушающая музыка изливалась над стадионом флиртующим зовом, на сцене сменялись танцы всех хореографических стилей — от балета до припляса, под стать им менялись костюмы и декорации, но, конечно, самой главной приманкой во всей этой динамической сценической стихии была она, Айдана Самарова! Весь этот шумный концерт был смонтирован и сконцентрирован вокруг нее, звезды! И поистине ее чистый, глубокий голос, возносимый динамиками на открытом стадионе до небес, ее ладная, высокая, подвижная фигура, ее элегантность без излишней оголенности и то, что рядом, соучаствуя в ее номерах, эротично извивались в ритме музыки девушки и юноши — красотки и красавчики, все это, вместе взятое, порождало в толпе захватывающее карнавальное возбуждение. Всем хотелось быть на сцене рядом с ней, с Айданой. Весь стадион ликовал, раскачиваясь единым морем вздетых рук. И только он один думал: «Оперная богиня превратилась в шлягерную королеву!» Но никому не было дела до его мыслей. Наоборот, возбуждение толпы достигло своего вулканического апогея, когда Айдана с партнером дуэтом стали исполнять, казалось бы, самую заурядную песню «Лимузин». То был соседский — узбекский — шлягер, и песня исполнялась в оригинале, но узбекский язык здесь понятен всем. Восточно-модернистская музыка завораживала толпу знакомыми мотивами, и в такт электронному звукоизвержению над стадионом порхали клиповые слова: «Сен мени севярсинми? Сен мени севярсинми?» («Ты меня любишь? Ты меня любишь?»), «Лимузин берарсинми? Лимузин берарсинми?» («Лимузин подаришь

мне? Лимузин подарить мне?»), на что партнер отвечал, лихо приплясывая: «Мен сени севярмин, мен сени севярмин («Я люблю тебя, я люблю тебя»), лимузин берармин, лимузин берармин» («я подарю тебе лимузин, я подарю тебе лимузин»).

Что тут началось! Вся многотысячная толпа в едином порыве колыхалась и, умножая заветный слоган, скандировала с воздетыми руками: «Ли-му-зин! Ли-му-зин! Ли-му-зин!»

А в это время на огромных панорамных экранах — их было четыре, с четырех сторон стадиона — синхронно возникали кадры соответствующего клипа: в роскошном лимузине — кабриолете с откидным верхом — мчалась влюбленная пара, Айдана и ее красавец партнер. Поочередно сменяя друг друга за рулем, проносились они мимо рекламно красивых пейзажей: то мимо снежных хребтов, то вдоль берега синего озера, то через мосты, то по степи, и птицы стаями летели за лимузином. Вот где-то на окраине загородного парка лимузин остановился, они вышли, счастливая парочка, и пошли обнявшись в манящий яркой рекламой ресторан, а потом снова помчались на лимузине.

А музыка гремела, и стадион продолжал скандировать: «Ли-му-зин! Ли-му-зин! Ай-да-на! Ай-да-на!»

Арсен Саманчин не знал, куда деваться от стыда. Но кто он был по сравнению с ликующей толпой? И он даже поймал себя на том, что тоже бубнит: «Ли-му-зин! Ли-му-зин! Ай-да-на! Ай-да-на!» Как все...

А в заключение последовал совершенно неожиданный и грандиозный праздничный эффект — ночь озарилась взлетевшими в небо фейерверками, заполнившими сверкающей россыпью разноцветных искр все видимое пространство до самого горизонта. (Какой масштаб! Ну молодец мэр города! Ведь такое по силам

только ему! А с чьей подачи? Опять же — Эрташ!) Что самое интересное, залпы праздничных фейерверков выстреливались не где-то рядом, поблизости от места торжества, как обычно, а далеко, за городом. Мощные ракеты стартовали с вершины пригородного нагорья и вспышка за вспышкой возносились на головокружительную высоту. Эффект был необычный, захватывающий воображение. И опять же подумалось ему: кто мог затеять такое грандиозное зрелище? Конечно, он — Эрташ Курчал. И хотя все устраивалось в честь городского юбилея, по сути получалось — во славу звездной певицы Айданы! Потому что музыка продолжала греметь, и роскошный лимузин с радостной парой все так же мчался по панорамным телеэкранам, в то время как фейерверки взлетали все выше и выше, ослепительно озаряя ночное небо. Казалось, что весь мир поднебесный воссиял звездным духом...

И случилось в тот час нечто, о чем не знал никто, ни один человек на свете...

Всполохи искрящихся огней поднимались так высоко и освещали землю так ярко и далеко, достигая горных хребтов, что загалдели разбуженные птицы в горах и, вздрогнув, проснулся Жаабарс, томившийся все там же, под перевалом. Он встал и поглядел наверх, на дальние огни, словно бы изрыгаемые горами. Нет, это были не звезды, летящие по небу, а нечто иное, непривычное. Зверь пытался укрыться — не получилось. Как не получалось и то, ради чего Жаабарс появлялся здесь изо дня в день, — так и не удавалось ему преодолеть перевал и исчезнуть в ином, высокогорном мире. Судьба упрямо держала его здесь, не желая подействовать. Ведь судьба может все, ан нет, зачем-то изгой Жаабарс нужен был ей здесь. Откуда было знать? Судьба всегда молчалива... Но то, что далекий отсвет огней

праздничного фейерверка достиг той ночью взора Жаа-барса, быть может, было знаком свыше...

А стадион все бурлил и скандировал хором в ритме рок-концерта: «Ли-му-зин! Ли-му-зин! Ай-да-на! Ай-да-на!»

«Вот и укатила она на лимузине оптовой культуры! — с горечью подумалось Арсену Саманчину. И опять: — А как же теперь „Вечная невеста“?» И когда он шел затем квартала два к машине, оставленной на стоянке, к «Ниве» своей, припаркованной на вечер среди всевозможных иномарок, думалось ему еще: какой контраст царит в нынешней жизни, упивающейся оптовой культурой! Сколько бедности в стране, какая безработица! Молодые люди сидят вдоль уличных обочин на целые километры с плакатами «Дайте работу!», большинство из них прибыли из обезлюдевших селений. Это вызов сообществу человеческому, значит, не способно оно обеспечить востребованность новых поколений, современный мир словно бы говорит им: обществу ты не нужен, исчезни с глаз долой. А мы, те, что при деле, покатым вперед на своих лимузинах.

Так, размышляя, ехал он по ночным улицам на своей «просоветской» «Ниве», а лучшей машины он и не желал — привык, да и не по карману другая! Не всем же лимузины. А то, что она, Ая, «залимузинилась», — что поделаешь. Теперь она суперзвезда, недоступна, окружена охраной, на звонки не отвечает... С бывшим мужем своим вряд ли сойдется, вот уже много лет, как тот, говорят, спился окончательно.

Не стоит судить. Всякое бывает в жизни. У каждого свои проблемы... Однако если свериться с реальным положением вещей, что называется, по большому счету, если попытаться вникнуть, осмыслить крутую рокировку Айданы Самаровой, солистки оперной с пер-

воклассными вокальными данными, — ей бы на миланскую сцену, там ее место, — то трудно смириться с тем, что она так быстро кинулась каруселиться в сногшибательной звездной популярности, в облаках поп-культуры! А деньги какие валят через все это!

Стоп! Это ее дело, ее право! А ты выбит из седла, потому и страдаешь, кипятишься, злословишь... Признайся честно, упрекал себя Арсен Саманчин, конкуренты оказались куда сильнее! Кто ты, журналист, пусть независимый, пусть известный, — а кто он. Такие разные орбиты. Один — в космосе массмедиа, а другой — массмедийный муравей. И потом, любовь всегда подвержена испытаниям, иначе не было бы ни ее мучений, ни радостей, ни горестей, ни катастроф... Да, бывает — оползнем срывается лавина с горы, никому не остановить. У каждой любви своя история, своя цена страданий. А ты на глобализацию, на массовую культуру пытаешься списать свою частную беду.

Ты на иной вопрос попробуй ответить и других убедить. Какими способами масскультура противостоит «Вечной невесте», отвергает ее? Попробуй Расскажи, при чем тут «Вечная невеста», как и откуда вдруг явилась она вам, когда вы с Айей пребывали наедине, занятые вроде бы лишь самими собой, когда волна любви накрыла вас так, будто всю предыдущую жизнь вы существовали в ожидании этого момента и наконец дождались возможности познать истинную природу любви как откровения, дарованного судьбой. Смешно, казалось бы: ведь вы же не юнцы, и до этого у обоих был свой опыт, но судьба избавила вас от комплекса прошлого. Был старинный парк на взгорье, старинный замок, и луна округлая задумчиво наблюдала за вами сверху меж облаков. Тот день и час судьба заведомо предопределила для премьеры вашей любви, как вы в шутку называли свою встречу, хотя ей было уже за

тридцать, а тебе — под сорок. Но не в этом дело, не в вашем романтическом экстазе, а в том, как возникла в тот день перед вами, влюбленными, чуть ли не въяве сама Вечная невеста, как на коленях просила спасти ее, дать ей такой певческий голос, чтобы все на свете услышали ее, чтобы в песнопениях излила она душу свою и поведала о разлуке, что превратила ее в Вечную невесту, и чтобы нашла того, кого ищет. Вот тогда, при встрече той воображаемой, якобы и родилась задумка творческая — идея оперы и всего, что связано с этим замыслом. Да, попробуй убедить других, что встреча с Вечной невестой была настолько реальной, что вы поклялись спасти ее, явить ее миру через оперу, на театральной сцене, через пение в той роли Айи, ведь она сама, Айдана, шептала, слово дала, что будет петь «Вечную невесту», покуда жива.

Постой, постой, разошелся! Кто же поверит такому невероятному диву, такому чуду? Любой здравомыслящий скажет: абсурд, все это вымысел, миф, легенда, сказка, все это молва, мол, и мистика. Безусловно, никакой иной реакции и быть не может. И однако неземное явление Вечной невесты породило в душе Арсена Саманчина метафорическое восприятие ее образа (кстати, то же восприятие разделяла в тот момент и Айдана, тогда это было их обоюдным сопереживанием, ну а потом, что поделаешь, Айдана сбилась с толку и дала обратный ход — «укутила на лимузине», вернее, ее сбили с толку, взяли в бизнес-плен, но сейчас не об этом). Образ прижился в его осиротевшей душе как послание свыше, обернувшись истовой верой и нескончаемым состраданием. Ведь никто не видел Бога, но люди верят в него, верят в то, что Бог есть. Вот так и приходит, должно быть, вера — через духовное созерцание желанного образа и любовь к нему.

Нечто подобное произошло и с ними тогда, в Хайдельберге. Айдане Самаровой предстояло выступить с единственным сольным концертом. Он прошел с большим успехом. Конечно, она знала, что приглашение в Хайдельберг — в значительной мере заслуга и его, Арсена Саманчина. Тому способствовали близкие ему люди — журналисты, музыканты, друзья.

Для тамошних меломанов Айдана, поющая классику, была экзотикой. Как полагается в Европе при проведении таких эксклюзивных гастролей, повсюду были расклеены афиши, о ней сообщали в новостях, транслировали ее пение по телевидению, публиковали рецензии в газетах. А выступала Айдана Самарова в старинной хайдельбергской кирхе. Предоставление молельного помещения для светских мероприятий считается у немецких протестантов особой почестью. Под высокими сводами кирхи живой вокал усиливался великолепной долгозвучной акустикой, веками предназначенной для небесного слуха. В сопровождении фортепьяно и органа Айдана пела на итальянском, русском и немецком языках. Несколько песен солистка исполнила на родном киргизском. Аплодисменты были долгими, и сияли духовной радостью глаза слушателей, заполнивших и неф, и хоры кирхи.

Эйфория успеха и вдохновения обострила их любовные чувства, сблизила, им хотелось все время быть вместе. Именно в том экстазе и явилась им Вечная невеста. После концерта и небольшого приема, устроенного в их честь в соседнем с кирхой ресторане, они гуляли вдвоем в нагорном парке вокруг старинного хайдельбергского замка, где их поселили на эти дни как почетных гостей, обеспечив желанное уединение. Настроение было приподнятое. Недолго посидев в баре, расположенном в вестибюле замка, и выпив по глотку

виски, снова вышли погулять по аллеям, любовались с высоты средневековым городом, сказочно освещенным к полуночи. Сидя на скамейке, разговорились о музыке. И вдруг Айдана спросила его:

— Арсен, а что бы ты хотел, чтобы я спела для тебя?

— Сейчас?

— Да нет. На каком-нибудь концерте с симфоническим оркестром. Ты будешь в зале, а я со сцены буду петь персонально для тебя. Что бы ты хотел? Что-нибудь итальянское?

— Да много чего, Ая, из твоего репертуара. Итальянское, испанское — это понятно. Но знаешь, что самое желанное? Я же чокнутый, Ая, я давно втайне мечтал — как монах, предающийся грешным грезам о женщине, — услышать в твоём исполнении арии Вечной невесты.

— Арии Вечной невесты? — удивилась она. — Знаешь, легенду-то я слышала краем уха, но ведь для оперы должны быть музыка, либретто, много чего еще... Ты и впрямь как монах-грешник, мечтающий о женщине!

— Да в мечтах-то ничего страшного нет, но вот к мечте поворачивает путь...

Осознавали ли они в тот момент или нет, что то был старт — пусть пока только в размышлениях — будущей постановки «Вечной невесты»? Арсен Саманчин будто только и ждал этой минуты, чтобы впервые сказать ей о давно зревшей в нем идее. Не для того ли и свела их судьба в тот час в том месте?

* * *

А уж коли речь о судьбе, то откуда было знать Арсену Саманчину в тот судьбоносный для него час, что возникнет вскоре на обочинах этой истории страшный

замысел, о котором никогда и не помыслил бы прежде, — замысел убийства. И что будет брести он по краю пропасти и не отступит. И только одна, для иных простейшая, а для него тупиковая забота будет донимать его днем и ночью: как достать оружие, чтобы совершить задуманное?..

* * *

И еще о судьбе. Жаабарс в тот момент все еще находился на Узенгилеш-Стремянном перевале и по-прежнему ждал от судьбы — вдруг поможет она ему преодолеть его и уйти наконец в отшельничество.

Никто — ни человек, ни зверь — не мог знать, что предстояло им впереди. И не было, казалось бы, между их судьбами никаких связующих мотивов, никаких совпадений, но обстоятельства, в силу которых ничего не ведающие друг о друге существа, человек и зверь, оказались под оком одной и той же судьбы, уже вызревали в лонах их жизненных стихий. Чего не бывает на свете.

Могла ли случиться, допустим, реинкарнация мифологической Вечной невесты, когда бы явилась она той ночью в хайдельбергский парк, где, уединившись, беседовала между собой влюбленная пара, все больше проникаясь взаимной тягой друг к другу и находя все больше взаимопонимания? Могло ли в пылу любовных откровений случиться перевоплощение легендарной личности, для которой трагедия любви обернулась конечной ипостасью бытия? Арсен Саманчин, между прочим, не исключал возможности такой реинкарнации — ведь многое зависит от настроения, от готовности влюбленных душ одарить окружающий мир своим счастьем.

Это-то и вдохновило Арсена, когда он стал рассказывать своей Айе легенду о Вечной невесте.

— Я с самого детства знаю и верю — у нас в горах Узенгилеш-Стремянных по сей день бродит Вечная невеста. Не веришь?

— Верю, верю! — охотно отзывалась Айдана, с легкой усмешкой касаясь ладонью его шеи. — Я так люблю тебя слушать — как будто ты ласкаешь меня. Смотри, Арсен, как чудесно вокруг. Ночь, луна такая ясная, фонари светятся, как в сказке. И мы с тобой, и больше никого. И даже птицы в парке умолкают. Продолжай.

— Хорошо. Пусть птички умолкают, но я-то не умолкну, когда речь идет о Вечной невесте. Можно как угодно думать — миф это или еще что, но для меня это не миф, Айа! Бывает, где-то вдаль, в горах, ее можно мимолетно увидеть — и тут же она исчезает. Сказание о ней в наших краях живет давно, и все верят, что она бродит где-то по горам, ищет, ищет пропавшего жениха, а за ней — погоня похитителей. А ее возлюбленный, молодой удачливый охотник, сгинул бесследно. То ли враги упрятали его в пещере, то ли лишили его дара речи — кто знает? Тут, как всегда, история людских страстей — коварства и жажды власти. Так было во все времена.

Знаешь, в горах у нас такой обычай — каждое лето в ночь полнолуния страдальцы по Вечной невесте собираются на высокой горе и разжигают костер, чтобы видно было ей издали. А шаманы бьют в барабаны и пляшут, выкликая имена ее и потерявшегося жениха, — зовут их явиться к огню. И женщины кличут и плачут у костра. И бывало, сказывают, появлялась она где-то в тени, кланялась и исчезала. Хочешь, еще раз взглянем в бар? Немножко виски?

— Мы уже были там. И ты уже немного того. Не стоит, Арсен. Я так переживаю за нее, за Вечную невесту, будто ради этого мы и приехали сюда.

— Может, так оно и есть. Поэтому я и хочу рассказать тебе эту историю. Костры для Вечной невесты разжигают в горах и на китайской стороне. Граница-то проходит за Узенгилеш-Стремянным перевалом, и на той стороне живут издавна родственные нам киргизские племена, но мы почти не общаемся — путь через перевал дается только летом, если дается. Так вот, год назад побывал я там по журналистским делам. Через Ургенч на самолете, потом на автомобиле. Встречи были разные, интересный материал получился для газеты, но я не об этом, а о том, что очень был удивлен, когда узнал, что и там, на китайской стороне, в горах, местные киргизы знают о Вечной невесте и обычай у них тот же — разжигают летом в полнолуние костры и вызывают духов в помощь Вечной невесте. Но есть у китайских киргизов одно интересное отличие. По их обычаю, возле костра две красивые девушки держат оседланного коня наготове — если Вечной невесте понадобится!

И тут Айдана пошутила:

— А что если и здесь, на Хайдельбергском взгорье, разжечь костер для Вечной невесты? Давай, Арсен!

— Почему бы и нет? — рассмеялся Арсен Саманчин. — Надо было только раньше думать. Дрова нужны. И где взять шаманов? А хочешь, я сам пошаманю?

— Шаман в цивильном платье! — веселилась Айдана. — Прекрасно! Из тебя вышел бы хороший шаман. Только давай в другой раз. А то ведь устроить костер на холме над городскими улицами — скандал международный выйти может.

— Это ты права! Прославиться можно на всю Европу, — покачивал головой и посмеивался Арсен Саманчин, обнимая ее за плечи. — Как хорошо в этом парке! Я тебя не утомил, Ая?

— Да что ты, я отдыхаю, и я счастлива, что Вечная невеста с нами!

— Спасибо. Ну, слушай. В горах наших жил молодой охотник, обладавший небывалой силой и резвостью. Он мог угнаться за горной козой. Добывал шкуры волков и барсов. Мог прокормить своей добычей многие семьи в роду. Очень уважали его в народе и предсказывали, что станет он вождем, бием. Как-то отправился он с родственниками в соседнюю долину на пир и увидел там красивую девушку. Полюбили они друг друга, и стал он ездить к ней на коне своем через горы почти каждый день. А вскоре одна ясновидящая открыла девушке, что есть в небе особая звезда — звезда их любви, которая ослепительно возгорится в день их свадьбы и будет ярче всех светиться над горами, не двигаясь с места до самого утра, если не закроют тучи. Когда девушка рассказала об этом охотнику, тот признался, что другая ясновидящая открыла ему тайну его предназначения: «Я родился на свет, чтобы жениться на тебе». И будущая невеста заверила охотника, что всегда будет с ним.

И вот жених-охотник в сопровождении чуть ли не всего своего рода прибыл к невестиным родственникам на смотрины — свататься. То был невиданный праздник. Гости заполнили сотни юрт на лугу возле горной реки. А какие подарки привезли они невестиным родителям, сватам и родственникам! Много скота разного, табунами и стадами, золотые самородки, а лично от охотника-жениха — шкуры разных зверей, собольи и куньи меха. Но главное — жених нес на каждом плече по роскошной барсовой шкуре. Такие мог добыть только великий охотник. С поклоном он передал этот дар родителям невесты. Ликуя, все сопроводили жениха и невесту к берегу реки, где они и были помолвлены.

Река стала отныне свидетелем их любви и согласия. Свадьба была назначена через семь дней, теперь уже в селении жениха, за горами.

Пировали, празднуя помолвку, как полагается, до самого рассвета. Однако и здесь нашлись завистники-недоброжелатели. Злобу и зависть их вызывало не только то, что жених — удачливый и прославленный охотник, но и то, что в народе стали предсказывать: скоро он, умный и волевой джигит, видный собою и энергичный, непременно станет вождем породнившихся племен — бием всей округи. С этим завистники примириться не могли. И задумали свой зловещий заговор.

Нет бы сразиться насмерть открыто, один на один, не за землю, не за богатство, не за власть даже — за душу. Но разве есть предел коварству человеческому?

Смута зреет втайне, на то она и смута. Кому было знать в тот день и час на пиру у реки, что, крадучись за спинами, преля в злобе и ненависти к счастью влюбленных, зарядилась иная судьба — эта самая подспудная смута. Как пели акыны впоследствии: «Знало бы солнце о той смуте — перевернулось бы в небе, пряча лицо от стыда. Знали бы тучи — схлынули бы ливнем, чтобы смыть и унести тот праздничный пир подальше отсюда, в чистую степь».

— Ах, Арсен, как прекрасно!

— И еще пели акыны впоследствии: «Знала бы о той смуте река — ведь реке поклонялись влюбленные в день и час помолвки, клянясь в верности, — и река повернула бы вспять». Понимаешь, даже бесстрастная природа восстала бы против задуманной подлости. Но кто мог предположить чудовищный умысел тайный, если в мире царил гармония — солнце благодатно светило над горами, дождь прошел стороной, издали обдав свежей прохладой, радушно маня, стелились под ногами луга, дымы

над кострами зазывали гостей ароматами еды, птицы носились над головами счастливыми стаями... Обо всем этом сказано в песнях акынов! Праздничный пир сватовства ликовал в долине у реки, голосами, шумами жизнь наполняя. Особенно молодежь резвилась в конных играх, шаманы заряжались духом в неистовых плясах и камланиях, созывая духов со всего света, но самое яркое предбрачное действо отводилось влюбленным — традиционная скачка на конях «догони невесту».

Жених и невеста восседали на лучших скакунах — им предстояла игровая скачка: жених должен был догнать мчашуюся впереди на положенной дистанции невесту и поцеловать ее на скаку. И если удавалось — значит, счастье на стремени, значит, судьба в галопе...

Любо было смотреть и восхищаться, как ладно красовалась в седле невеста, точно рожденная для этого, — и ростом вышла, и фигурой, и ликом, и осанкой, и одеянием девичьим. И жених был под стать. Их сияющие, возбужденные в предвкушении скачки взгляды, их немного смущенные улыбки наполняли счастьем всех присутствовавших, с нетерпением ожидавших скаковой феерии. Подруги громко подбадривали невесту: «Скачи во всю прыть, не дай себя догнать! Пусть знают нас мужчины!» Жениха тоже напутствовали: «Смотри! Не догонишь — будешь смешон!» А шаманы буйствовали — плясали и били в барабаны, заводя людей и коней...

И вот старики дали знак. Гонка началась. Невеста мчалась впереди на удалении, жених — следом. Они скакали в сторону реки, на берегу которой были помолвлены. Погоня позволялась только до брода. Если жених не успевал догнать невесту, то под всеобщий хохот невеста сама поворачивала жениху навстречу и целовала его победительницей.

Но обычно женихи всегда догоняют...

На всю жизнь последующую запоминает невеста эту волшебную скачку — «побег» от желанного жениха, с которым мечтает быть навсегда неразлучной. И жених никогда не забудет, как догонял ее под гомон и свисты соплеменников...

Так было и на сей раз: мчалась невеста, убегая от жениха птицей летучей, а он — за ней. И встречный ветер обнимал обоих, целовал на лету, шептал, что нет и не будет в их жизни большего счастья, чем эта погоня.

Ах как было весело, азартно и отраднo! Впереди за-виделся берег, а они все мчались, и кони горячились в разбеге. И ждала, очень ждала невеста, когда же настигнет ее на скаку тот, с кем хотела она связать свою жизнь навсегда, дабы любить и быть любимой! И невольно стала она чуть сдерживать своего коня, подтянула поводья, уперлась сапогами в стремяна пожестче. Пусть догонит жених поскорей, а то ведь река уже видна... И вот все ближе, ближе топот и храп настигающего коня. И вот они уже скачут парой, рядом, стремя в стремя, и открылся перед глазами свет, прежде невидимый. Как жаль, что такое мгновение не длится вечно. Вот он обнял ее на скаку, а она прильнула к нему. Вот поцеловал он ее, потом они поцеловались еще и еще раз. А кони мчались, и седоки знали, чувствовали, что единятся навсегда. «Я люблю тебя! Ты моя!» — крикнул он. «Я буду всегда с тобой!» — ответно крикнула невеста.

А народ ликовал, и все в один голос славили жениха: «Молодец! Настоящий джигит! Дорогу! Дорогу! Посторонись! Он возвращается! Теперь он наш, он с нами, а мы с ним!» Такие возгласы завершали праздник помолвки.

Но и тайный заговор не убыл, не уклонился, еще крепче сжали зубы заговорщики. Смута всегда найдет свои ходы...

Тем временем гости-сваты, попрощавшись, вернулись в свои края, чтобы готовиться к свадьбе. И приготовления начались незамедлительно. Все шло своим чередом. Все было предусмотрено, как предписывают традиции и обычаи, — начиная от расположения на видном, удаленном от других месте свадебной юрты, где молодоженам предстояло провести первую брачную ночь, а также гостевых юрт для сватов и родственников и кончая приготовлением подарков и угощений. Сказания акынов, песни и пляски молодежи — все было продумано и подготовлено. Так полагалось в те времена — свадьба была общим делом всех соплеменников.

И вот настал день накануне прибытия гостей и начала свадьбы. С утра охотник-жених с двумя братьями отправился на охоту, чтобы добыть для угощения почтенных гостей свежей дичи, а для дарения — звериных шкур. И охота была удачной. Но ближе к полудню вдруг донеслись издали крики — это разыскивали охотника-жениха прискакавшие вдогонку родственники. Их было много, и были они возбуждены. «Беда! Беда! Остановись! Вернись!» — кричали они и, бия себя в грудь, сообщили страшную весть: минувшей ночью его нареченная сбежала с прежним возлюбленным своим, многие думают, что увезли ее в многолюдный базарный город.

Что тут началось! Небо разом померкло, поднялся ураганный ветер, и в летнюю пору, как зимой, заметалась снежная вьюга. «Позор! — кричали родственники и падали в отчаянии на землю, взывая к небу. — За что, за что нам такой позор?! Убить ее, разыскать бесстыжую и убить на месте!» И готовы были в тот же миг ринуться на поиски. Но охотник-жених оставался безмолвным. Потрясенный, он застыл, побледнев, и словно бы онемел.

— Какой ужас! Какой ужас! — шептала Айдана, искренне переживая.

— Вот я и говорю! — подхватил Арсен Саманчин. — Представляешь все это на оперной сцене? Какая может быть музыка, какие страсти, какие голоса, какие мизансцены! А дальше, Айа, последовали еще более потрясающие события.

Когда родственники, поспешно готовясь к погоне, стали толкать и дергать охотника-жениха, чтобы он пришпорил своего коня, тот наконец разомкнул уста: «Остановитесь, замолчите! Я никуда не двинусь! Если это проклятие на мою голову, то я проклинаю и ее, подлую! Проклинаю весь род людской! Лучше быть зверем, чем человеком! А теперь убирайтесь вон! Больше я не увижу ни одного человека на свете, и меня отныне не увидит ни один человек. Вы слышали? Убирайтесь с глаз долой! И не ищите меня!» С этими словами он соскочил с коня и пошел пешком через гору. Родственники, потрясенные таким поворотом событий, поначалу застыли на местах, потом кинулись его догонять, но его и след простыл. Больше его никогда не видели.

И тут опять исключительно драматическая сцена для театра: возвращаясь, родственники жениха-охотника услышали крик вдруг объявившейся невесты. Теперь она металась в поисках, звала жениха. Никто еще не знал, что она вовсе не сбегала, то был коварный, убийственный оговор. В действительности ее тайно похитили той ночью — связали руки, посадили на коня и повезли прочь. Но на берегу той самой реки, где они были помолвлены с женихом-охотником, ей развязали руки, чтобы, удерживая с двух сторон, перевести через брод. Это-то и спасло ее. Она вырвалась и бросилась в реку. Похитители — следом, но она уже исчезла в бурном потоке. Река спасла ее, а похитителей потащила вниз по течению и

расшибла о камни. Чудом спасшаяся невеста обрела дар летать, как птица, и вскоре появилась в тех местах, где родственники только что расстались с ее бесследно исчезнувшим женихом. Теперь они пытались остановить ее и узнать, что с ней произошло, но и она оказалась неуловимой. Она тоже исчезла. С тех пор и существует тайна Вечной невесты и раздается в горах ее вечный плач, слышимый далеко-далеко. Я спою тебе, Аяа, как умею. Послушай, как она кличет:

— Где ты, где ты, я к тебе бегу!
 Я была похищена, но удалось бежать.
 Я осталась девственницей, я тебе верна.
 Где ты, где ты, мой родной жених?
 Я осталась девственницей, ты услышь меня,
 Меня спасла река наша, где клялись мы в любви.
 Где ты, где ты, ты услышь меня!
 А за мной погоня, меня хотят схватить...
 Ты исчез в горах, охотник мой.
 Мы были помолвлены у реки с тобой.
 Где ты, где ты, на какой горе?
 Где ты, где ты, я бегу к тебе.
 Мы были помолвлены у реки с тобой,
 Ты исчез в горах, охотник мой...
 Я твоя невеста, где же, где же ты?
 Разве мы не свидимся больше никогда?
 Мы с тобою воду пили из одной реки,
 На реке клялись, что будем мы верны.
 Разве мы не свидимся больше никогда?
 А река течет, но где же, где же ты?
 Вспомни, отзовись, охотник мой,
 Мы клялись в любви луной, душой...
 Куда же ты исчез, охотник мой?
 Разве горы не раздвинутся?
 Разве тучи не разойдутся?
 Разве солнце не осветит ущелья?
 Разве горная коза не укажет путь к тебе?

Где ты, где ты, на какой горе?
 Где ты, где ты, я бегу к тебе...
 Разве не мы мчались на конях наперегонки?
 Разве не мы обнимались в седлах на скаку?
 Разве не мы целовались в седлах на скаку?
 Чтобы видели боги,
 Чтобы видели люди...
 Где ты, где ты, на какой горе?
 Где ты, где ты, я бегу к тебе...
 Без тебя луна угаснет для меня,
 Без тебя не будет жизни для меня.
 Разве небо будет счастливо без нас?
 Кто же проклял, кто же проклял нас?
 Разве горы будут счастливы без нас?
 Кто же проклял, кто же проклял нас?
 Разве не из горной дичи ты дар принес богам?
 Разве не из барсовых шкур ты дар принес сватам?
 Чем же провинился ты перед судьбой,
 Ты, удачливый охотник с щедрою рукой?
 Неужели не ходить нам в плясе у костра?
 Где ты, где ты, на какой горе?
 Где ты, где ты, я бегу к тебе...
 А за мной погоня, меня хотят схватить,
 Чтоб не свиделись мы больше никогда.
 Где ты, где ты, я бегу к тебе...

Ох, дай передохну! — прерывисто дыша, сказал Арсен Саманчин. — Отдышаться надо. Этот речитатив на бегу можно продолжать долго, повторяя снова и снова, наращивая, потому как — чувствуешь? — в этом плаче страдания души обращены ко всем временам и всем пространствам. Его суть — в извечной трагичности судеб влюбленных, которых постигла насильная разлука, и до тех пор пока они не найдут друг друга, их трагедии не будет конца. Ты только представь себе, никто не останется равнодушен, все будут сопереживать им, так слажены души людские. Как потрясающе это мож-

но показать в театре! Даже река будет петь в опере, протекая краем сцены. Такого никогда еще не было в оперном искусстве — река, спасшая помолвленную на ее берегу невесту, поет:

— Я река, текущая с гор в низины,
 Я спасу тебя в течении своем.
 Я унесу тебя от врагов коварных,
 Я выручу тебя, ты моя богиня,
 Быстрее кидайся с берега,
 Быстрее кидайся в воду,
 Я спасу тебя в течении своем...

Так будет петь хор за кулисами под шум реки, символизируя то, что сама природа жаждет справедливости. И все это насыщено мощной оркестровой музыкой, на фоне которой звучит вокал, голос в полете, твой, только твой голос — и небо слышит Вечную невесту, и луна ей вторит... Ты представляешь, что это будет?!

— Да, я потрясена, первый раз слышу такой вселенский плач, — отвечала Айдана. — И река поет! Чудо! Поющая река! И ты все это помнишь, Арсен, слово в слово?

— Так я же с детства много раз бывал на ночных кострах Вечной невесты и слышал все это в песнях наших акынов. О-о, как они в такие ночи изливаются в импровизациях, сочиняя свой сказ! Каждый акын по своему страдает за Вечную невесту, душу раскидывает по горам — Вечную невесту зовет! Для них это то же, что для тебя солировать на сцене. Не зря их называют токмо-акынами. Меня как-то спросили, как перевести на русский «токмо-акын». Изливающийся бард — больше никак! А для них, для акынов, вдохновение в том, чтобы рядом были сопереживающие слушатели, и тогда акын в слове своем то погружается в глубокий колодец мысли, то ветром уносится по степям...

— Понимаю, понимаю, — соглашалась Айдана. — А все же, как в народе толкуют, куда подевался жених-охотник? Хочется знать — жив ли он, почему молчит?

— Это тоже вечный вопрос. Никому не ведомо, где он, что с ним. И однако все ждут. Говорят обычно, что он скрывается где-то в недоступных местах. В обиде на весь мир, в обиде на судьбу свою отверг он и себя. Считается, что он стал монахом-отшельником и живет где-то аж в самом Тибете, в монастырских пещерах, в медитациях пребывает там дни и ночи. Так говорят, но кто знает, куда он сгинул сгоряча? С его стороны это вызов самой человеческой сущности — он категорически не приемлет зло, с которым так часто мирятся люди. Необратимое разочарование. Даже императоры — загляни в историю, — лишившиеся империй, не впадают в такую черную меланхолию, не отвергают самое жизнь, но для него, для жениха, любовь была наивысшим смыслом жизни. В общем, сказ именно об этом, в этом его былинная философия. Но главная фигура в этой истории, разумеется, она, Вечная невеста, в ее нескончаемом мученическом подвиге, в поиске истины... Неужто всегда такой будет расплата за любовь? Получается так, что жених навсегда отрекся от мира, самоустранился в знак протеста против людских злодеяний и греховности, а она пребывает в вечном покаянии за род людской, и в этом глубина и сила ее любви и горя. Я больше скажу, она — мученический стон вселенского страдания. Почему в любви всегда больше испепеляющих трагедий, чем цветущего счастья?

Обрати внимание, в летучем образе Вечной невесты, в этом притчевом эпосе живет извечная боль разлуки и жертвенной расплаты за всегдашнюю агрессивность людского мира. Добро неизбежно расплачивается за зло. Вечная невеста не может примириться со злом, воспламененным ненавистью и завистью, она хочет спасти, вернуть

жениха-охотника из его отшельничества в жизнь, какая она есть, и в этом спасительном порыве, в стремлении к истине нет предела человеческому духу ни во времени, ни в пространстве. Всегда так было и всегда так будет в людском роду. И оттого Вечная невеста, спасенная рекой, стала символическим образом на все времена. И в этот час она тут, в парке, с нами уже потому, что мы думаем и говорим о ней, и она это чувствует. Улавливаешь в этом фольклорном экскурсе вселенский ностальгический мотив любви?

— Еще бы! Ведь ты прочел мне об этом целую лекцию, и тоже вселенскую, — заметила Айдана с восхищением, но не без иронии. — Удивляюсь неудержимости твоей мысли! — воскликнула она, зябко передернув оголенными плечами. — Помнишь, как одна журналистка назвала тебя «вселенским глобалистом»? Смех да и только: глобалист — и притом вселенский!

— Ладно, пусть я чокнутый, но тебе предстоит задача совсем иная — превратиться в Вечную невесту на оперной сцене и вознестись волшебством твоего дивного голоса прямо в космос!

— Ой, перестань! Вот с этой скамейки — и прямо в космос! Значит, я буду космической солисткой, певицей-космонавткой? С тобой не соскучишься!

— Ну извини! А я ведь всерьез! Разве ты не почувствовала, что сама Вечная невеста с нами здесь, в парке, вон там, за деревом, что у фонаря? И знаешь, что она говорит?

— Что?

— Вслушайся! Она говорит: сколько же я ждала-выжидала этого дня, чтобы поклониться вам, влюбленным, когда вы вспомните обо мне. Годы минули и века, а я так и остаюсь помолвленной невестой и потому именуюсь в памяти знающих Вечной невестой, и пото-

му зажигают для меня люди в горах ночные костры, чтобы явилась я, блуждающая в тоске и горе, на светящийся огонь, чтобы свиделись мы у костра и чтобы шаманы вызвали духов и спросили их, сколько же будет Вечная невеста скитаться и звать по горам своего жениха-охотника, сколько будет она причитать и накликать за собой погоню? А духи отвечают всегда одно — слушай-слушай, Аяа, это касается и нас с тобой, — духи отвечают, что услышит мир о Вечной невесте через песнопения ее громогласные на виду у множества людей и что в песнях тех поведает она о судьбе своей горестной и обратится ко всем невестам на земле и скажет им: пойте песню мою женихам своим как дар верной любви и преданности! Пусть же духи услышат и нас с тобой в этот час, Аяа! Они ждут песнопений Вечной невесты в твоём исполнении на виду у множества людей, то есть на публике. И говорят они, духи, что тебе предначертана свыше реинкарнация и станешь ты посланницей Вечной невесты! И вознесут тебе благодарность небесные боги и духи, и люди будут чтить тебя и восхищаться твоим пением, твой голос будет литься из космоса...

— Ой, ой, ой! Куда тебя занесло! — насмешливо перебила Айдана. — Хватит витать в космических сферах, надо мыслить трезво.

— А ты не спеши, — не сдавался Арсен Саманчин. — Трезво мыслить успеется всегда. А сейчас вон, смотри. Ты мне не веришь, так смотри вон туда, под дерево возле фонаря. Видишь тень Вечной невесты? Смотри, как она кланяется с благодарностью и надеждой. Вечно молодая, а какая красивая — в прозрачном шелковом платье, с накидкой, похожей на крылья.

Айдана кивала вроде бы в знак согласия, потом сказала:

— Ну ты, Арсен, на самом деле оголтелый романтик. Но и мечтать надо реалистически. Чтобы петь Вечную невесту на сцене, нужна музыка, нужны ноты и партитура, оркестр, сценография, костюмы, хор в сотню голосов... Вот ты говоришь, что река будет петь, а где для этого сценическая машинерия? Где, в конце концов, композитор, режиссер-постановщик и, самое главное в наши времена, — где взять средства на все это? Оперный театр не только у нас — повсюду зачах. Государству сейчас не до оперы.

Арсен Саманчин как будто и соглашался, но гнул свое:

— Да, я знаю, оперный театр ныне — что опустевший храм. На оперных сценах царят эстрадный балдеж, клоунада и прочие развлекаловки. Знаю, что лучшие солисты и солистки разбежались голосить по рыночным дебрям. Все это так. Почти никто из современных композиторов не пишет музыку для оперы. И все же высокое искусство не должно погибнуть. Как мы можем на это спокойно смотреть?

— И что ты намерен делать?

— Если ты, Айа, согласишься спеть Вечную невесту, я пойду, как бульдозер, пробивать дорогу. Добьюсь. С композитором Аблаевым договоренность уже есть. Он ждет. Либретто пишу я. Он хотел бы, чтобы мы встретились все вместе. Когда вернемся, я ему позвоню...

— Ну хорошо. Посмотрим, посмотрим... Вначале напиши либретто, либреттист мой дорогой!

На хайдельбергский старинный парк уже спустилась полночь. Тени на аллеях под фонарями застыли в неподвижности, теперь уже до утра. Арсен Саманчин вел под руку Айдану Самарову в замок, и они продолжали говорить все о том же. Перешептывались о том и в постели. На другой день утром им предстояло вылететь в Москву и далее — в свои края.

Подобной встречи у них больше никогда уже не было. Но идея «Вечной невесты», словно ниспосланная им свыше, чтобы одухотворить их встречу, завладела ими настолько, что казалось подчас — ради того и оказались они на другом конце света, в центре немецкого романтизма, и окунулись в его магию, чтобы воспарить над обыденностью. Возможно, потому в той романтически-возвышенной обстановке все повседневное было начисто забыто и отброшено — вся предыдущая жизнь с ее трудностями, конфликтами, скандалами, тяжбами в судах, ненавистью, злобой... Все это в полной мере касалось и его, и ее жизни — ведь и Айдана уже неудачно побывала замужем, но быстро развелась, как это часто бывает у артистов, — но все было на короткий миг забыто. Здесь, в хайдельбергском парке столетнем, куда привела их судьба, они были чистейшими существами, он — богом, а она — богиней, и им явилась с неизбывным горем своим Вечная невеста...

А потом все обернулось иначе...

Не судьба, стало быть. Хотя и встречались подчас на первых порах, и обсуждали на ходу идею «Вечной невесты», пусть оказавшуюся утопической, по телефону созванивались, потом все прервалось — укатила Айдана на «Лимузине», демонстрируя себя в прямом эфире всем телезрителям страны. А уж сколько денег лежало в багажнике того «Лимузина»! Но разве стоило упрекать ее за это? Кто не жаждет побольше занять, заработать, да еще и прославиться — в общем, как упустить такую шуюдачу! А ведь у нее теперь, пожалуй, контракт подписан с ним, с Эрташем Курчалом. Как-никак контракт века! Имеет право. Да, имеет право. Ну а ты, ты что скажешь, олигархоборец несчастный? Что у тебя есть, кроме писанины твоей? Так теперь и пресса в руках местных олигархов.

Попрекал, ненавидел Арсен Саманчин сам себя за то, что доходил до такой низости — до зависти, дикарем себя обзывал... И упирался в тупик. И здесь предстояло ставить точку. Ведь сказал кто-то: сила силу гнет и в том пребывает силой. Массовая культура придавила его, идеалиста, так, что больше не встать... А признанным богом могущественным оказался Эрташ Курчал. Сколько у него ресторанов, эстрад, стадионов, сколько рекламных агентств и телеканалов! И все это на виду, всем этим он владеет вполне законно, это он нагнал океанскую волну масскультуры и смысл его, Арсена Саманчина, а заодно и «Вечную невесту» на задворки несбывшихся помыслов...

А позднее прибавилась еще одна неожиданная, мучительная тягота — легло на душу страшное бремя задуманного убийства того самого, будь он проклят, Эрташа Курчала. И никуда не деться было теперь от неумного жжения мести, надсадно тлеющего в глубине души, — убить, и только. На этом замыкались все мысли. Не от комплекса ли неполноценности возбудилась в нем ярость такая? Досада сжимает горло, дышать не дает — одним словом, сам себя загнал в капкан. Судьба? Кто мог предположить, что такая возвышенно-романтическая идея, родившаяся в любовной эйфории, разрешится таким страшным образом — неотступной, бычьей готовностью к убийству. Но даже тогда, в набежавшие дни окаянные, все-таки случалось просветление души и приходила в голову прекраснодушная мысль убедить Айдану Самарову покаяться вместе с ним перед Вечной невестой, съездить для этого в горы, зажечь костер, попросить прощения за несбывшиеся хайдельбергские иллюзии, отрыдаться...

Но созвониться с ней так и не удалось. Вероятно, и к лучшему — можно себе представить, как она бы

его высмеяла. Сказала бы: спятил мужик окончательно! И все равно мечтал: если бы оказались вдруг в горах, дабы совершить покаяние перед духом Вечной невесты, упал бы на колени и при ней призвал бы само небо в свидетели — у любви нет, не должно быть никаких причин, чтобы отказаться от дара вечности (опять понесло философствовать), ибо любовь — это двуединый путь влюбленных к вечности и намеренное разрушение чувственного поля любви есть посягательство на вечность. Ведь это любовь есть устремленность к бессмертию, и каждому дано ступать той тропой, предначертанной Богом... (Только кто как ступает — вот вопрос.)

Но опять же, сколько иронии излилось бы на него! Да кому все это нужно! Разве стоило бы ей, звезде, мечтающей уже о «голивудстве» (этот самый Эрташ Курчал якобы задумал фильм для нее), разве стоило бы ей тратить попусту свое время, безраздельно принадлежащее шоу-бизнесу, на ожидание духов где-то в горах, на ожидание Вечной невесты? Смешно!

Итак, просвета впереди не предвиделось.

И судьба совершенно точно и недвусмысленно дала ему это понять в ресторане «Евразия». То был финальный кульбит... И тут уж ничего не оставалось предпринять в ответ, кроме как добыть оружие... Но где и как? Идиотская проблема! Ну почему жизнь столь беспардонно заводит в такие безвыходные тупики? А коли так, к чему бесповоротно обрушивать житейское бытие, рубить лес налево и направо? Что толку? Только и осталось, что, погибая, сказать свое последнее слово!

Вот такая выдалась у Арсена Саманчина ночь — исполненная раздумий и самоборения без финала. В полном одиночестве стоя у единственного светящегося окна, выходящего во двор повально спящих пятиэтажек,

томился, грустил он, учинял себе самосуд, пытаясь убедить себя не прибегать к убийству и неизбежному самоубийству, не совершать самого злодейского на земле преступления. Но подавить в себе буйство мстительности не удавалось. Вот и маялся...

И Жаабарс маялся той ночью в горах под перевалом. Не спалось одинокому зверю. Тоже томился, грустил в полной отверженности своей. Подвывал злобно, глядя на звезды. Их было так много, и они дружно светились. Вот куда бы удалиться, ведь звезды не выживают друг друга, зимой и летом они всегда вместе...

На те же звезды глядел в этот миг и Арсен Саманчин. И ему тоже хотелось оказаться среди звезд и не думать ни о чем...

Однако же не думать не удавалось — откуда-то из глубины выплыла мысль: а не обратиться ли к брату, Ардаку Саманчину? У Ардака гораздо больше знакомых и связей среди торгового люда. Бывший врач-терапевт, ныне он занимался собаководством, разводил среднеазиатских овчарок и торговал ими в Европе, большей частью в Германии. Овчарки эти пользуются большим спросом. Покупателей хоть отбавляй. Документацию на вывоз собак Ардак умеет профессионально и своевременно оформить. В общем, живет за счет этого, у него-то в семье трое детей-школьников — дочь и два сыночка. Жена Гульнара — бывшая медсестра. Сумели они приспособиться к рынку. «Адаптируюсь с помощью собак!» — говорит Ардак, то ли шутя, то ли всерьез. Домик есть у них на окраине города, двор, клетка для собак... «Жигули» есть.

Сам он, Ардак, человек порядочный, работающий, начитанный. Только вот родственники в родном Туюк-

Джаре недоволен и его собачий бизнес осуждают. Стыдно, мол, за него. Учился, учился, получил диплом врача, а теперь — куда это годится — торгует собаками по всему свету. Особенно сестру их, Кадичу, — она постарше и живет в аиле — задевает очень, когда речь заходит об ардаковском бизнесе. Кадича аж краснеет лицом, так неприятно ей. В аилах сам факт торговли собаками многих шокирует: слуханное ли дело, вон сколько их бегают, собак, по задворкам, по огородам — лови, бери сколько хочешь. Того и гляди, кошками станем торговать, а то и крысами. Но Ардак держится, правда, в аил не наезжает — зачем выслушивать?

Зато при случае как старший брат сам выговаривает Арсену — до каких пор, мол, будешь холостяком бродить по свету? Чего тянешь? Подходящих женщин сколько угодно и в городе, и в аилах. Ну было дело, женился неудачно, развелся — не оставаться же без жены на всю жизнь. Да, у тебя другое мышление, языки знаешь, ты известный журналист, независимый — теперь это в моде, — повсюду тебя на конференции зовут... Самодостаточный, словом. Но ничто не компенсирует холостяцкого одиночества, если ты не монах какой.

Нет, вряд ли что получится с Ардаком насчет оружия — станет обязательно допытываться, зачем, почему вдруг острая необходимость возникла пистолет заиметь. Человек он дотошный — врачи ведь все дотошные, — бывает, правда, выпивает... Нет, не стоит связываться с братом родным в таком деликатном деле. Вдруг догадается — в доску расшибется, не позволит...

Так думал он в тот поздний за полночь час, разглядывая через окно звезды в небе. Летом всегда кажется, что их много. Вот так бы и жить: «светить — и никаких гвоздей»...

Утром его разбудил телефонный звонок. Пока вставал, пока шел к телефону, надеялся, что звонки прекратятся, — не очень-то хотелось откликаться разом со сна. Но кто-то был настойчив. Зато получилась разрядка — после метафизических парений духа и фантазматорических сновидений приходилось окунаться в реальную, обыденную жизнь, и вот для начала пошли звонки. Это оказался свой человек — Бектур-ага, родной брат покойного отца. Он часто позванивал, как-никак ближайший родственник, но главное — человек по настоящему деловой (таких бы побольше), не случайно был он председателем колхоза в родном селении Туюк-Джар до самого их повсеместного роспуска. И потом не растерялся. Одним из первых смекнул насчет выгоды охотничьего бизнеса. В Узенгилеш-Стремянных горах стал известным охотничьим предпринимателем — создал фирму «Мерген». Дело пошло, а в последнее время хлынула зарубежная клиентура, много иностранцев стали прибывать на охоту по линии фирмы «Мерген». Помогал дяде в оформлении приглашений и других документов для охотников-иностранцев и Арсен Саманчин.

Кто знает, чем обернулись бы для него эти неодолимые, неизбежные терзания воли и сознания, этот душевный самотеррор, если бы не раздался с утра тот

телефонный звонок. Очень не хотелось Арсену в таком состоянии вступать в какие бы то ни было разговоры, и, когда в трубке послышался знакомый голос Бектургана Саманчина, он, зная, о чем пойдет речь на их предстоящей встрече, хотел было поначалу отложить, оттянуть ее на полуденное время. Надо было сначала постараться прийти в себя, приостановить сейсмическое, как он определил для себя, колебание собственной души. Но при первых же приветственных, еще ничего не значащих фразах, привычно предвещающих деловой разговор, Арсена вдруг осенила мысль о том, как можно запросто достать оружие и решить наконец этот проклятый, донимавший его вопрос. Он даже облегчение почувствовал сразу. И потому выразил готовность встретиться для очередного разговора, далеко не откладывая, и извинился за то, что не позвонил сам: мол, так получилось, дела.

Их разговор, естественно, никоим образом не касался того отчаянного, пусть призванного наказать зло, но страшного по своей природе умысла, что вынашивал в себе Арсен. Они по-родственному, обыденно беседовали о том, что уже давно стало постоянным предметом их обсуждения, — о делах охотничьих, на которых держался бизнес Бектургана Саманчина.

— Наконец-то. Слушай, до тебя второй день не могу дозвониться, — начал с упрека Бектур-ага — так все почтительно именовали аксакала Бектургана Саманчина. — Где ты пропадаешь, слушай, Арсен? И мобильник у тебя отключен.

— Бектур-ага, а ты в городе?

— Ну а как же, для того и прикатил, чтобы с тобой потолковать. Ты что, забыл про барсовую охоту для арабских гостей? Сам же все устраивал. Им нужен переводчик, только такой, как ты сам, и чтобы на все сто

процентов. А ты все тянешь и тянешь, что тебя держит? Не ты ли самый независимый и свободный эгемен? А получается?.. Забыл, выходит.

— Да нет, Бектур-ага! Никак не забыл.

— А что же тогда тянешь? Я ведь на тебя рассчитываю. Времени-то осталось всего ничего — семь дней до прибытия арабских гостей, а ты все молчишь...

— Не беспокойся, Бектур-ага, я тут готовил большую передачу для телевидения. Иностранные журналисты приезжали. Но не волнуйся, я уже все решил, сам буду с арабскими гостями — и переводчиком, и, как принято теперь называть, менеджером. Постоянно буду при них.

— Ну если так, то слава богу! Так и положено в делах с родным отцовским братом. А как же иначе! Другие охотники приезжают — уезжают, но такие арабские гости в наших горах впервые, сам понимаешь, как наместники самого Аллаха придут. А времени всего семь дней осталось. Сколько еще всего приготовить надо по горам, по ущельям! И главное, сейчас как раз самый сезон наступает, как раз барсы возвращаются с летних мест за перевалом в наши Узенгилеши. Пора шевелиться.

— Я понимаю, Бектур-ага. Я уже сказал, я готов.

— Так давай встретимся, Арсен, и все обговорим. Заодно еще и другое дело есть. Мы и за тебя переживаем...

— Встретимся, Бектур-ага. Сейчас девять часов утра. Давай к одиннадцати. Только где?

— Хочешь, у тебя на квартире?

— Давай, я к тому времени чайку приготовлю...

— Хорошо, Арсен. Только чай готовить-то тебе зачем? Что я, важный гость какой со стороны? Был бы ты женат, тогда дело другое. Родные все переживают за тебя, а ты... Ну ладно. К одиннадцати подкачу.

— Жду, Бектур-ага, жду.

Положив трубку, Арсен Саманчин облегченно вздохнул. Оглянулся по сторонам. Припомнил, позвонил на мобильный водителю Бектура Саманчина — хороший такой парень, на джипе отменном дядю возит. Итибаем зовут его. Подшучивает Арсен порой: Итибай означает «человек с богатой собакой». А раз собака богатая, значит, и самому кое-что перепадает! Эх, вечная мечта о богатстве, какие только метафоры люди не придумают... Договорился с Итибаем, чтобы тот позвонил ему перед выездом.

И на том несколько успокоился Арсен Саманчин, снова предался размышлениям. Да, безусловно, надо идти на предложение ближайшего родственника своего Бектура Саманчина, надо помочь ему в приеме таких высоких гостей-охотников. Арабские нефтяные магнаты — Хасан и Мисир. Говорят, они двоюродные братья. Любители скачек, ловчих птиц и экстремальной охоты. Главное же заключалось в том, что вокруг этих арабов, готовящихся к охоте на снежных барсов (а ведь таких благородных зверей больше нигде в мире нет, тем более на Ближнем Востоке, они в тамошнем зное не могут жить, их родина — поднебесные горы с освежающей летней прохладой и зимними морозами, оттого и мех у них божественной красоты, каждая шерстинка на вес золота...), так вот, вокруг таких гостей-охотников будет задействовано много людей — обслуга, охрана, проводники... Все будут вооружены и охотничьим, и прочим оружием. Стало быть, и он, как постоянный переводчик и сопровождающий, тоже будет вооружен — может быть, карабином, а пистолетом уж обязательно. И этот пистолет он оставит потом у себя, предлог найдет. Если в охоте им будет сопутствовать большая удача, гости, пожалуй, подарят ему пистолет. И с тем пис-

толетом, как только охота закончится, он прикатит с гор в этот город многолюдный и применит его так, как задумал.

Звонок дяди оказался очень кстати еще и потому, что заставил его опомниться, вернуться к нормальной жизни после минувшей ночи размышлений, будораживших душу даже во сне. Одумавшись, взяв себя в руки, Арсен Саманчин как бы наложил мораторий на эти размышления, заключил договор о перемирии с самим собой, отложив на время свой злонамеренный план. Надо было делом заниматься. «Хватит, хватит, Арс, уймись! — мысленно сказал он себе. — Не об этом надо думать сейчас, ты же не совсем чокнулся, Арс!» Это Айдана ласково так называла его в минуты нежности — Арс, а он ее — Айа. При воспоминании о тех минутах ему оставалось лишь с горечью вздыхать. И тогда Арсен ощущал себя деревом с густо облетающей на ветру листвой. Оголялась душа...

Да, следовало немедленно заняться делами, сколько можно терзаться и гробить себя заживо? Работы полно. В загоне компьютера томится уйма начатых и не законченных в спешке текстов, срочно ожидаемых в разных редакциях. Сам виноват: хватается за разные темы, от публицистики текущей до гидроэнергетических проблем, вынашивает и другие замыслы. А результат? Никогда такого не бывало, чтобы накапливались у него завалы незаконченных статей. Это, скорее всего, издержки того, что ходит в шкуре независимого журналиста. Свобода! Никому не подотчетен, никакого контроля над ним. Живу как хочу... Куда это годится?

Так настраивался Арсен Саманчин, подхлестывая себя упреками, чтобы не сжигать понапрасну душу, терзаемую страданиями по убиенной любви и по убиенной идее. Капитализм проклятый творит свое дело! Тво-

рит — и ничто не может помешать ему, кишка тонка! А вообще при чем тут капитализм? А при том, что идею можно купить, как товар, идею, оказывается, можно продать, эмбарго устроить идее — за деньги все можно. А ты в этой ситуации чужой — не покупаешься, не продаешься, ты — с либерального кочевья забредший, вот и получай. Сшибайся лоб в лоб, один против всех. Тебе это обойдется ценой головы, а они откупятся от кого угодно. А, все равно, биться так биться, никуда не денешься. Но не сейчас. Во всем должна быть своя, пусть малая, стратегия и своя тактика. Но пока про все это надо забыть! — так убеждал он себя, полагаясь на то, что прибудет Бектур-ага — и все пойдет по-другому. Совсем иной вопрос встанет на повестку дня, другая ипостась жизни выйдет на передний план. Разговор будет по-настоящему серьезный, потолковать есть о чем.

И в то же время, укрощая себя таким образом, Арсен Саманчин словно бы оправдывался перед Вечной невестой и утешал ее. Он говорил вроде бы не сам, а как собственный двойник, обращаясь к ней мысленно, шептал, как если бы она слышала его, находясь где-то за дверью, только что выйдя из заезженного до дикого скрипа и хрипа лифта его хрущевской семиэтажки. Он шептал ей неслышно, почти извиняясь: подожди, мол, потерпи немного. Бог даст, сможем чего-нибудь добиться. И тогда я вас сведу, тебя, Айдану и музыку великую, классикой напитанную! Айдана будет на сцене, а ты за кулисами, рядом, и все сама услышишь и увидишь. Только потерпи. И потом, подумай, виновата ли Айдана. Пойми, не по своей прихоти отринулась она, ее тоже похитили, как когда-то тебя, но по-своему, потеперешнему, — сбили с пути, завлекли, совратили, купили. Если в прежние времена красивую женщину умыкали, посадив на коня, то теперь ее вскидывают на

мешок с долларами, и на нем она скачет сама, да поскорее, к долларovým табунам устремляется, а табунщики там миллионеры, и каждый свой долларový табун погоняет-выпасает. Вот так и живем. Другого ходу нет, все на рынке толчемся. И никто не виноват, рыночная экономика всеми правит. Но все же, если подумать, виноваты. Виноваты, что покорно живем так, как нас принуждают, все поголовно. Ой, что-то меня в дебри социологии и политики потянуло. Только ты не принимай это близко к сердцу, тебе эти заботы ни к чему. Да и я завелся оттого, что просто к слову пришлось. Извини и верь мне, жди, бог даст, свидимся еще. Нет, постой, задержись на минутку. Вот еще что постоянно гложет меня изнутри. Все думается исподволь: а как она там чувствует себя — действительно ли счастлива, как в рекламе подают ее повсюду, как на сцене выглядит, залитая светом, или где-то в душе пещеру имеет свою, куда скрывается, где, быть может, плачет и кается, не зная, как быть? Жаль, нелегко ей, должно быть, если даже избегает меня, но вряд ли удастся ей забыть наш хайдельбергский парк, где мир грезился нам по-иному. Ты же видела ее сама, Вечная невеста, ты видела нас вместе, и вот мы разминулись...

Так шептал он беззвучно, обращаясь в такое же беззвучное пространство, и тут же пытался вразумить себя: «Опомнись, опомнись, куда заносит опять тебя натура твоя неумемная? Чего ты лезешь? С кем тягаешься? Ты один колготишься, что-то там пописываешь, философствуешь, донимаешь, как можешь, олигархов, а они, доллар-баи современные, тусуются себе на мировом рынке, „тусуются-коррупциуются“, как однажды смешно выразился твой брат Ардак, ты даже использовал где-то эту фразу, но они этого и не заметили. Потому как ты для них никто, как и всякий, кто на

рынке веса не имеет, — пустой звук, бродяга приبلудный. Да, порой кажется, что им, доллар-баям этим, теперь сам Бог служит, глаз с них не спускает, бережет. А что? Получается, теперь Бог — банкир вселенский. Стой, что-то уж я какую-то ахинею несусь. Господи, прости меня, грешного!»

...Он принялся за уборку квартиры. Бектур-ага — человек деловой, хозяин строгий, в лицо говорит, если что не так. Потому и колхоз держал в порядке. Рассказывают, что выговаривал любому за халатность и ничто не считал мелочью — почему навоз выкидываешь на край проезжей дороги? Убрать! Что это у тебя стог набок завалился, спьяну, что ли, как ты сам? А ты что арык свой на огороде в свинарник вонючий превратил, прочистить не можешь? Требовал от односельчан порядка и прав был.

Памятуя об этом, Арсен Саманчин стал наскоро пылесосить прихожую. Газеты, которые валялись по всей квартире, журналы всякие глянцевого, читанные и недочитанные, складывал стопками. Потом стер пыль с зеркала и — особо тщательно и бережно — с лакированной поверхности светло-коричневого пианино. Красивая вещь пианино, самая ценная в его жилье не только потому, что универсальный музыкальный инструмент, но и потому, что на нем играла сама Айдана. Дважды было такое. Играла весь вечер и за полночь.

Сам-то он дилетант, играет на слух, а Айдана прекрасная пианистка. Удовольствие было слушать ее игру — слышалось в ней далекое эхо Европы. Арсен восхищался, считал, что руки у нее музыкальные, от них словно бы сама собой исходит музыка, как и от светящихся глаз. Не утерпел Арсен Саманчин, ностальгия нахлынула, присел и попытался припомнить что-то из тогдашних ее наигрышей. Загрустил опять. Больше она

не придет сюда, не сядет к пианино... А от пианино до постели в его крохотной квартирке — три шага, и там своя музыка... Противилась душа его назвать ее предательницей, хотя на деле именно так и получалось, хотелось ему вопреки всему думать, что Айдана Самарова — жертва никому не подвластной судьбы.

Раздался телефонный звонок. То был Итибай, водитель дяди Бектура. Он сообщил, что они выехали...

Пора было идти навстречу. И через несколько минут, переодевшись и нацепив галстук, Арсен Саманчин загодя вышел во двор, чтобы встретить как полагается старшего в роду. В прежние времена, когда появлялся подобный гость, его встречали с почтением, придерживая верховую лошадь его за уздечку, а самого под руки спускали с седла, а коня отводили к привязи, облегчали подпруги. А потом овса подносили коню — все равно как если бы теперь заправили автомашину прибывшего гостя горячим...

И вот минут через пять, пока воображаемый конь поедал с лотка свой гостевой овес, сородич дорогой Бектур-ага на автомобиле, да еще на каком — на мощном джипе японском, черного цвета зеркального, с сияющими стеклами фар, с двигателем чуть ли не в шестьсот лошадиных сил, — вкатился с дальнего конца во двор и приближался к подъезду. Во-во, таких бы джипов-вездеходов побольше иметь в горах. Но пока бектуровский, купленный где-то в Эмиратах Арабских, был единственным на всю туюк-джарскую округу, да и обычные-то тачки — «Жигули» да «Москвичи» — можно было в аилах по пальцам перечесть, а иначе и быть не могло: народ бедствовал, даже прежнего мало-мальского колхозного достатка лишился. Крепостной был век, но все же... А теперь, можно сказать, перебивались кто как мог — тяжким трудом или даже воровством, —

и впереди никакого просвета. Говорят: бизнесом занимайся, а где он, тот бизнес, — копай картошку, убирай сено, что еще? Зато свобода, мол, есть. Но свобода без достатка тоже ой какое нелегкое, пустое дело. Пока что все беды сельские списывали на переходный период: вот, мол, перешагнем в рынок — и пойдем! Жди! Один дурак даже несусветное придумал: надо, дескать, чтобы и дети рождались рыночные! Куда уж дальше! О каких машинах у сельчан могла быть речь, на ишаках зачастили грузы возить, как в Средние века. Хорошо еще маршрутки заезжать стали. А молодежь повально в город подалась, и житье там у нее цыганско-безработное...

Но кое-кому перепадает от щедрот бизнес-эпохи. Даже дикий мед стали собирать по горным ущельям и сбывать на продажу, чего прежде не бывало. Мед дарили, ведь мед — улада, домашнее лакомство для старых и малых, а никак не предмет купли-продажи. Но это так, к слову, невелика беда...

Тем временем подъехал на джипе сам дядюшка Бектур. Вот это, что называется, весомая фигура — не кто иной, как Бектур Саманчин, сообразил охотничий бизнес-промысел, устроил так, что почти круглый год шли дела. По сезонам охотились на разных диких тварей — тут и горные архары, которые стали называться «Марко Поло», и рогатые козы, и медведи, и ловчие птицы, и вот теперь снежные барсы по особой статье вошли в крутой бизнес. Молодец Бектур-ага, ничего не скажешь, нашел жилу, умный человек...

Машина остановилась, Арсен успел открыть солидную дверцу джипа, и улыбающийся Бектур-ага ступил на землю с бодрым рукопожатием, потом они с племянником обнялись. Да, заметный, солидный человек — и лицом, и фигурой, и особенно мощной бородой. В роду у них все мужчины были приметными на вид, в том

числе и Арсен, только Арсен, в отличие от большинства Саманчиных, не стал отращивать усы и бороду.

Еще раз поздоровались они в четыре руки, как и полагается близким родственникам, — каждый протягивает и пожимает обе ладони другого, поклонились друг другу, тепло улыбаясь при этом. И первое, что промолвил Бектур-ага, приложив мосластую руку к груди:

— Слава богу, живы-здоровы! Сколько мы не виделись, Арсен, месяца два, наверное, или побольше?

— Да, байке, мне кажется, почти три месяца.

— Вот видишь! — вскинул густые брови Бектур-ага. — Я ведь то и дело наезжал в город, но тебя не всегда удается заполучить. Ну ладно, теперь побудешь подольше с нами. Сам понимаешь.

— Да, байке, понимаю, конечно. А то, что не удавалось встретиться, так тут дела разные отвлекали, никуда от них не денешься. Ну поговорим еще. Главное — встретились...

Конечно, он не собирался рассказывать о том, что происходило у него с Айданой, тем более о том, с кем пришлось столкнуться вплотную из-за нее и кто всерьез вознамерился оттеснить его, устранить навсегда от возлюбленной, да и вообще согнать с арены общественной жизни, а еще меньше — о том, что собирался он, Арсен, его сородич, предпринять в ответ. Разумеется, такое исключалось, разговор предполагался совсем иной, сугубо делового характера. Ради него и прибыл Бектур-ага накануне с туюк-джарских гор.

Их радушная, по-родственному теплая встреча вызвала одобрительные взгляды и улыбки проходивших мимо соседей. А тут еще двое шустрых мальчишек, бегавших по двору в драных шортах и майках, один — с собакой на поводке, принялись любоваться бектуровским джипом. Хотя во дворе стояло много всяких машин, этот

вездеход им приглянулся особо. Они о чем-то шушукались, подталкивая друг друга в бока: сорванцам, понятно, очень хотелось бы прокатиться по улицам в такой мощной машине, чтобы все восхищались ими.

Все это Арсен заметил, когда невзначай оглянулся на джип, и так хорошо, так трогательно стало оттого на душе его.

Такие приятные чувства охватывают подчас, когда видишь проявления радушия и искренности в окружающей жизни. Так и хочется сказать: вам хорошо — и всем нам хорошо! Даже погода в то летнее утро была какой-то радушной и искренней, еще не раскалившееся солнце заливало своим светом все видимые пространства, одаря сиюминутным счастьем бытия всех тварей, живущих на земле, и словно бы соучаствовало в радостях людских.

Вот бы всегда так, в ладу и гармонии, жить на свете. Но, говорят, откуда-то из облаков всегда взирает на нас некий хмурый глаз. Ну и пусть себе...

А в тот час ощущение благорасположенности и уверенности не покинуло Арсена Саманчина и тогда, когда приступили они к обсуждению деловых вопросов. Бектур-ага рассуждал очень убедительно и разумно, имелась, имелась в его натуре крепкая хозяйственная жилка — с его доводами и мнениями трудно было не согласиться.

Все он продумал, обосновал, спланировал, начиная с лицензирования официальных документов на охотничий промысел, в которых отдельным пунктом были предусмотрительно упомянуты и снежные барсы, оговорено разрешение на их отстрел и даже предстоящий налог с дохода. Арабских гостей давно уже уведомили обо всех условиях. Контракт с ними на английском языке помогал оформить еще минувшей весной сам

Арсен Саманчин. Уже и позабыл об этом малость, но вот теперь предстояло вступить в дело на практике. Поскольку с английским языком у Бектура Саманчина была «полная проблема незнания», — кому бы в здешней округе пришло в голову учить англиш, — то миссия общения с арабскими охотниками возлагалась на Арсена.

С этической точки зрения, а также по сугубо прагматическим соображениям самого Бектура Саманчина для такого непростого и деликатного дела, как посредничество между ним и арабскими гостями, бесспорно, подходил только Арсен, и никто другой. Ибо персонам такого статуса требовался не просто переводчик, а серьезный, образованный и интересный собеседник.

— Так что, дорогой Арсен, тебе благословение от наших предков, ты как раз и есть тот толмач, тот человек авторитетный, сын моего старшего брата покойного — мир ему, — который должен, сам понимаешь, помочь нам в этом деле, — убеждал Бектур-ага. — Побудь с нами пару недель, чего тебе стоит? Ты же ни от кого не зависимый журналист — куда хочу, туда лечу, не так ли? Учти, первые посланцы от арабских гостей прибудут уже через пять дней, подготовительная группа, по-нашему — даярдаши, трое их будет. А сами гости на личном самолете прилетят в Аулиеатинский аэропорт.

— Аэропорт, байке, не аэропорт, — поправил Арсен. Но тот не смутился:

— А я говорю «аэропорт», у нас так говорят. Так вот, самый ближний к нам аэропорт — Аулиеатинский. Да ты все знаешь, сам же помогал договариваться. Вот теперь время пришло — поработать надо. Арабских гостей в аэропорту вместе будем встречать и вместе повезем в горы. А там у нас все подготовлено, насчет этого

не беспокойся. Я выкупил бывшую колхозную контору, и там две гостевые комнаты устроили, ну не такие, как в городах, но все же... Под самый перевал Узенгилешский повезем на охоту, а надо, так и дальше, за перевал, а там уже — Китай. Все тропы знаем. Туда, конечно, разве что альпинисты забираются, но пусть поглядят и эти молодые ханзада-любители, поохотятся на наших барсов — не бесплатно, конечно. Ты же знаешь, за барсов хорошие деньги будут, бог даст. И все свою долю получают.

Еще много разных деталей обговорили. У Бектура Саманчина и впрямь все было продумано и проработано тщательно, по-деловому — начиная с переносных палаток и верховых лошадей и заканчивая поименным списком коневодов. Только лично ему известным и проверенным на порядочность людям доверялся уход за лошадьми высоких гостей. А уж что касается оружия, осветительных приборов и приборов оптического наблюдения, тем более все было расписано, как по протоколу. Восхищался в душе Арсен Саманчин, даже гордился своим сородичем и еще раз убеждался: бизнес обладает величайшей организующей силой, учит действовать рационально и целенаправленно. Бизнес, как ничто другое, требует от человека старания.

Вот так планировался туюк-джарский охотничий бизнес-проект. Знали бы об этом сами снежные барсы в своих снежных горах... Знал бы об этом самый уязвимый среди них, изгой Жаабарс, все еще, как околдованный, метавшийся под Узенгилеш-Стремянным перевалом...

Что касается Арсена Саманчина, то он, естественно, знал во всех деталях, как задумана эта охотничья акция, особенно после встречи с Бектуром Саманчиным, но и он, разумеется, не мог предвидеть, что ждало его на этом пути. Теперь, задним числом, может показать-

ся провидческим то обстоятельство, что незадолго до событий, коим предстояло свершиться, он почему-то сделал в дневнике запись, которую озаглавил «Незримые двери, или Формула обреченности». И вот что он изложил в этой пророческой записи: «У каждого предстоящего акта судьбы есть незримая дверь, заранее уготованная, заранее приоткрытая, и кому написано на роду переступить порог этой двери, узнает об этом, лишь оказавшись заложником по ту сторону ее. Никому, кто сделал роковой шаг, нет обратного хода, как не может родившийся человек вернуться в материнскую утробу. Так вершится приговор судьбы. Такова формула обреченности. Есть только вход, выхода — нет».

Эта запись могла бы иметь продолжение, могла быть развернута под пером Арсена Саманчина в трагическое эссе, но только лишь в одном случае: если бы все пошло по-другому...

Тем временем утренняя прохлада постепенно сменялась предполуденной жарой. Почувствовалось это и в домах. Прервав на минуту разговор, Арсен Саманчин закрыл приоткрытое с ночи окно и включил небольшой кондиционер, встроенный наверху, над шкафом. В многоэтажных домах жару переносить гораздо труднее, спасение в кондиционерах. Однако Бектур-ага велел оставить окно открытым. Привык в горах к естественному воздуху. Пришлось уважить гостя... То, что окно осталось приоткрытым, имело свои последствия. Но об этом кому было знать...

Сородичи снова вернулись к разговору, который продоллся часа два, не меньше. За это время шофер Итибай, добродушный работяга-парень, успел и чаю попить, и — главное — побывать со своим джипом на заправке и на мойке, да еще привез фруктов с базара. А они, повязанные родством, а теперь и бизнесом вездесущим, все об-

суждали большой охотничий проект. Кстати о бизнесе. В горах люди не могут взять в толк то, что рассказывают им челноки и челночницы, скитающиеся по миру: оказывается, к великому их удивлению, цветы можно продавать и покупать! Кому такое в голову могло прийти, ведь цветы живут сами по себе, полюбоваться можно, проезжая мимо на коне, сорвать можно для детишек, но чтобы торговать цветами — совсем смешное дело. Дело же, которое обсуждали Саманчины, касалось особняком живущих горных зверей — снежных барсов, стало быть, и до них дотянулась длань рыночная.

Арсену Саманчину, пока он слушал старшего сородича, набрасывающего планы организации охоты на бумаге, иногда казалось, что все задумано им почти как в театре, только режиссером-постановщиком выступает бывший колхозный председатель, впрочем, и на самом деле башковитый человек. Приемы, которые он предлагал, и впрямь напоминали драматургические сюжеты. Например, Бектур Саманчин придумал хитроумный способ загона зверей в западню, чтобы иностранцы могли снайперски отстреливать на выбор самых ценных особей. Вслушиваясь и вынужденно вникая в замыслы неслыханной горной охоты, поскольку ему предстояло вскоре детально объяснять их арабским гостям, Арсен Саманчин порой невольно начинал сочувствовать барсам, ничего не ведающим сейчас у себя в Тянь-Шаньских горах о грядущей трагедии. И тогда чудилось ему: знай эти звери, что сейчас где-то в далеком городе, в кишашем скопищами людей мегаполисе, на седьмом этаже заурядной хрущевки сидят два типа и, как боги, загодя решают их судьбы с точностью до дня и часа, — кинулись бы прочь, пока не поздно, куда-нибудь в Гималаи.

Мысль — вольная птица, залетает то в гнездо, то в космос. Вот опять накатила откуда-то бредовая, но бла-

городнейшая по сути мысль: как бы дать им об этом знать, барсам в горах? Но если бы даже и осенило его на этот счет, такого абсурда и в мыслях допускать нельзя было. А бизнес куда девать в таком случае? Уберегая, пусть даже всего лишь в своих фантазиях, каких-то диких зверей, гробить бизнес? Да если бы такое и впрямь приключилось, разве устоял бы мир на ногах? Все покатилося бы в тартарары, самоуничтожением полным завершился бы род людской. И потому нет и нет — только бизнес в приоритете, все остальное потом и «после потом». Попробуй ляпни что-нибудь в этом духе — лучше повеситься!.. Так не столько подумалось, сколько возникло в подсознании Арсена Саманчина, возможно, в наказание ему, пока он, слушая становящуюся все более наставительной по тону речь Бектура-аги, аккуратно записывал в блокнот по-английски указания главы бизнес-охотничьей фирмы «Мерген» для предстоящей работы с важными гостями.

А сам Бектур Саманчин, разумеется, и не подозревал, что творилось в сокровенном уголке души Арсена в тот час, какие мысли, о которых не проронил ни слова, невесть откуда накатывали на него.

Кому бы пришло в голову, что с человеком, вполне здраво обсуждавшим общие дела, могло в то же время происходить нечто далекое от реальности, чему, казалось, нет и не могло быть никаких объяснений? Если ветер дует за горой, то не всегда качаются ветки на другой стороне.

Очень уверенно, сосредоточенно и по-родственному весьма благорасположенно Бектур Саманчин продолжал развивать свои предложения. Он набрасывал на бумаге планы и схемы, отмечал наиболее вероятные места в горах и ущельях, где будут устраиваться засады на зверей. Чтобы загнать диких хищников в западню,

требовалось окружить местность с нескольких сторон, лучше с трех-четырех одновременно, и синхронно наступать, издавая устрашающие звуки, чтобы заставить животных бежать в нужном направлении. Конечно, может случиться и прокол. Но в любом случае нужно, чтобы как минимум пять-шесть загонщиков на резвых конях успевали преследовать зверей и загонять их в окружение в самый подходящий момент. Удача для приезжих охотников — еще бóльшая удача для хозяев: деньги, которые будут разделены между всеми по долям. Так что, понятное дело, все будут стараться, чтобы удача сопутствовала...

Бектур Саманчин назвал имена односельчан, которым доверил такую ответственную работу под своим личным контролем. По словам его, они уже готовились, эти верховые загонщики, тренировали коней, готовили оружие и барабаны...

Так сидели они, не спеша попивали чай и не только об охоте вели разговоры, обсуждали и всякие другие дела житейские — много всяких было забот в родных краях. К тому же во время их беседы приключилась забавная и почти невероятная история.

Дело в том, что в летний сезон во дворах и вокруг домов много носится голубей и ласточек, обитающих под карнизами и на чердаках многоэтажных домов. Никто на них не обращал внимания: голуби еще куда ни шло, привлекали взоры жителей, а ласточки мало кого интересовали, жили себе как умели. Летали стаями и врозь, поднимали из гнезд уже окрепших птенцов, летать учили. И пусть бы себе, ведь ласточки самые благородные, самые изящные, самые тактичные птицы, не то что нахрапистые воробьи... Так нет же. Именно с ними случилось нечто странное, а возможно, и более того...

Когда дядя и племянник Саманчины спокойно сидели за столом, занятые все теми же разговорами, в открытое окно неожиданно влетели со двора две ласточки — видимо, пара птичья. Если бы залетели они в квартиру случайно, то тут же и упорхнули бы назад через то же окно. Но эти голосистые птички вовсе не собирались улетать, а, наоборот, стали кружить под толчком на распростертых быстрых крыльях, неумолчно, настойчиво щебеча и клича.

— Ой, глянь-ка, откуда тут ласточки такие? — удивился Бектур-ага и даже привстал с места. — И часто так залетают со двора?

— Да нет, первый раз. Никогда не залетали. Их тут полно, туда-сюда носятся мимо окон. У них где-то под крышами гнезда, — стал объяснять Арсен Саманчин.

— Может, испугались чего? Открой окно пошире, пусть вылетят.

Арсен широко распахнул окно, но ласточки продолжали не смолкая верещать и кружить над их головами, поблескивая крохотными глазками. Явно чем-то были обеспокоены очень. Что-то побуждало их искать близости с людьми, будто они залетели в это жилище, чтобы то ли поведать о чем-то, то ли кого-то вразумить... Так почудилось Арсену, и стало даже смешно. А старший Саманчин схватил полотенце, висевшее на спинке стула, и принялся гнать птичек в окно. Ласточки увернулись и, вылетев, исчезли...

— Ну позабавили, — покачал головой Бектур-ага. — И что им здесь понадобилось? Ладно, пусть летят. Нужно еще поработать, времени осталось мало. Давай определим, когда ты прибудешь, когда встретимся с земляками-загонщиками? И потом, надо же нам с тобой контракт заключить!

— А контракт к чему между нами? Совсем не обязательно.

— Нет-нет, по теперешним временам так полагается. Бизнес на контрактах стоит.

Арсен Саманчин хотел было уклониться — к чему, мол, я верю тебе, байке, как отцу, — но не успел и слова вымолвить, как ласточки влетели снова и опять быстро закружили под потолком.

— Ха, — изумленно воскликнул Бектур-ага, — вернулись! Бул эмнеси — что это значит?

Да, они вернулись, как будто хотели что-то досказать, или дослушать, или узнать нечто волнующее их, — так подумалось Арсену в ту минуту, и он готов был взирать на этих странно озабоченных ласточек и слушать их еще и еще, но Бектур-ага попросил выгнать их и закрыть окно. Пришлось махать полотенцем и плотно прикрывать оконные рамы. Заодно включил Арсен и кондиционер на полную мощность. Не хотелось, чтобы Бектур-ага испытывал неудобство от жары.

Но не прошло и минуты, как ласточки снова объявились за окном, они зависли в воздухе почти вплотную к стеклам и продолжали верещать, точно бы упорно старались все же что-то донести до людей или предупредить о чем-то своим невероятным поведением, добивались, чтобы их выслушали.

Бектур-ага даже промолвил, пожав плечами:

— К чему бы это? К добру или к худу? Ну не будем отвлекаться. Задерни занавески, может, тогда уймутся. Пришлось плотно закрыть окно занавесками.

Родственники еще посидели, обсудили разные дела, важные и не очень, но Арсена не покидало удивление и сожаление о том, что пришлось отгородиться от этих загадочных ласточек. Никогда прежде не слышал он о таком поведении птиц...

Продолжал он думать об этом и тогда, когда Бектур Саманчин, очень довольный разговором, который располагал его к спокойному и рассудительному высказыванию своего близкородственного мнения, не преминул затронуть тему холостяцкой жизни племянника.

— Все у тебя хорошо, Арсен, — произнес он, глядя ему в глаза, — спасибо. Только вот чай у тебя холостяцкий, не обижайся. Дело, конечно, не в чае, но сколько ты будешь тянуть? Пора, пора, иные вон по пять-шесть раз умудряются жениться, да еще по телевидению этим похваляются, а ты однажды споткнулся и никак встать не можешь. Нет, так не годится, Арсен. Ты человек молодой еще, умный, очень умный, отец покойный тобой очень гордился бы, ну не богатый ты, так скажем, но и не бедный. Вся родня ждет свадьбы. А я готов, у меня есть табун лошадей, в калым отдам сватам, если хочешь, в город пригоню. Не смейся. Хороших женщин полно и в городе, и в аилах. Выбирай. Время уходит... Да ты же сам все прекрасно понимаешь.

Арсен улыбался, согласно кивал и пытался перевести разговор на другие темы, когда вдруг Бектура Саманчина осенило:

— Слушай, Арсен, а может, эти ласточки не зря тут летали туда-сюда? Они тоже хотят видеть твою жену, а ее нет в квартире! — и расхохотался своей шутке. Но Арсен ответил вполне серьезно:

— Хорошо бы, если б так.

И потом, когда провожал Бектура во дворе, мысленно повторял: «Хорошо бы, если б так». А Бектуру Саманчину думалось уже о другом, более практическом. Увидев рядом со своим мощным джипом, сияющим после мойки во всем своем великолепии, запыленную арсеновскую «Ниву», он сказал:

— Слушай, Арсен, если все пройдет успешно, как задумано и как рассчитано, ведь ты мог бы купить себе такой же джип. Хватит кататься на «Ниве» — машина неплохая, в наследство от советских времен досталась, но в нынешние времена такому человеку, как ты, самое подходящее — это джип.

Арсен поблагодарил дядю Бектура:

— Спасибо, байке, спасибо, посмотрим, как получится, на джипе удобней в горах, но посмотрим. — А сам, снова повторив про себя: «Хорошо бы, если б так», переключил разговор: — Слушай, Итибай, как отдохнул? Молодец, всегда держись так. Дороги в наших горах не каждому по плечу.

— Да, мы-то с Итибаем уже наездили по этим дорогам, как ты думаешь сколько? Триста тысяч километров!

— Триста сорок уже! — поправил Итибай с гордостью.

Потом они обнялись, попрощались, Арсен помахал вслед джипу, а сам все думал: «Хорошо бы, если б так».

И была еще одна грустная причина того, что никак не мог Арсен Саманчин успокоиться в душе, вспоминая этих загадочных ласточек. Он не собирался никому о них рассказывать, смешно было бы, только Айдана могла бы правильно воспринять эту историю и истолковать ее романтически. Она наверняка посоветовала бы ему сделать из этого какой-нибудь сюжет, может быть, либретто или песню сочинить. Она любит такие неожиданные находки для интимных разговоров. Это еще больше сближает души влюбленных. Сколько было у них таких разговоров! А теперь и по телефону не услышишь ее голоса, укатила прочь на том «Лимузине» пошлом... Жаль, а то бы рассказал ей про этих загадочных ласточек-вестниц. Интересно, что хотели они возвестить?

Конечно, через несколько дней все это забылось, готовиться в горах туюк-джарских к бизнес-охоте было непросто, забот хватало, но впоследствии, уже там, в селении родном, на пятый день по прибытии и сделал он ту горькую запись в дневнике своем под названием: «Незримые двери, или Формула обреченности».

Неужто невинные ласточки пытались предупредить именно об этом? Но откуда им было знать? Смешно. Глупо. Высосано из пальца. Так казалось. Пока так оно и было. Пока... Но то, что такая запись появилась под пером Арсена Саманчина, было знамением грядущего. Пока же горизонты были чисты, никаких треволнений, потому как все шло своим чередом в соответствии с бизнес-планом.

А он, не ведая еще ни о чем, что уготовила ему судьба, грустил и как-то инфантильно переживал, что не может увидеть Айдану и рассказать ей про забавных ласточек. Как же, так и прискакала бы она — ой, а где, мол, эти чудесные птички-ласточки?! Да и в уме ли он, жалкий изгой?

Тем временем другой изгой, зверь Жаабарс, будто замороженный, маялся под Узенгилеш-Стремянным перевалом. Чего он ждал? Что ждало его?

Два дня спустя Арсен Саманчин был уже в пути за рулем своей «Нивы». Оставались считанные дни до прибытия высоких гостей — двоюродных братьев Хасана и Мисира. Разумеется, полные имена их были куда как сложнее и длиннее, предстояло выучить их наизусть. Но пока достаточно было и так — Хасан и Мисир... Ради обслуживания их охотничьих пристрастий и направлялся Арсен Саманчин в родные края, в отроги Тянь-Шаньских хребтов, в далекие туюк-джарские горы.

Путь предстоял долгий — часов на пять. И хотя дорога была хорошо знакома, ездил он по ней много раз, особенно с тех пор, как освоил вождение, каждый раз поездка превращалась в испытание — дорога была заасфальтирована лишь до половины, далее шла грунтовка по склонам и обрывистым краям нагорий. «Нива» была еще на ходу, хотя и выглядела раритетом на фоне современных иномарок, заполонивших в последние годы город и окраины.

Сейчас он ехал как раз по восточной окраине. Минувя пригородные закоулки и недостроенные дома, дорога выводила мимо окрестных садов и поселков в поля прежних колхозов и совхозов. А дальше открывалась степь, уходящая к холмистым предгорьям, за которыми проглядывали контуры великих снежных хребтов Тянь-Шаньского массива, где и обитали испокон веков в уро-

чищах и ущельях достойные братья тигров и леопардов, хищные снежные барсы, вдруг оказавшиеся столь привлекательными объектами для международной охоты.

Вот туда, в сторону поднебесного высокогорья, и держал путь Арсен Саманчин, катил на «Ниве» своей в родные края, где бывал теперь лишь наездами по разным житейским поводам — то на похоронах, то на свадьбах, то на новосельях близких родственников. Сестра родная, у которой он собирался остановиться — муж у нее местный кузнец, на кузнечном деле теперь много не заработаешь, — давно намекала, что требуется им примостить к дому пристройку, сын Оскон собирается жениться. Если все получится, как задумано, и охота окажется удачной, то денег дать на пристройку надо, конечно. А как же, обязательно надо.

В этот раз Арсен Саманчин отправлялся на малую родину по особому, получалось, случаю, прежде такого повода не бывало. То, что он откликнулся на призыв сородича — всем известного в здешних местах охотничьего бизнесмена Бектура Саманчина, — было воспринято земляками Арсена как само собой разумеющееся: дядюшка дядюшкой, но кто же не хочет поиметь свою долю из кучи свалившихся с неба долларов? Какой дурак откажется? Такой куш обещает привалить от арабских охотников, вернее, от снежных барсов, потому как — тоже небывалое дело — и звери попали теперь в рыночный оборот: не существуй здесь барсов, зачем было бы этим гостям деньги такие выкладывать.

А когда такие деньги на кону, мало кто знать желает, что у кого происходит в душе. У каждого свои заботы, а в чужом огороде, как говорится, хоть трава не расти. И потому никому не было дела до истинных причин, побудивших Арсена Саманчина согласиться пойти в переводчики.

Сидя за рулем, следя за скоростью и за встречными автомашинами — особенно на крутых поворотах, когда огромные, до отказа нагруженные фуры, китайскими их называют, кренились так, что каждый раз, миновав их, он с облегчением вздыхал, — Арсен и в этой дорожной напряженности размышлял все о том же: как жить дальше, как быть? И если бы только это! Набегала попутно все та же настойчивая, неотвязно терзающая мысль, от которой всякий раз становилось не по себе. Вот и ерзал Арсен Саманчин за рулем, донимал его изнутри «синдром финального ответа» — так обозначил он для себя тлеющую в нем, никак не утасующую страсть отмщения. Сам удивлялся, что оказался столь примитивным, что не может одолеть себя, что не хватает культуры, чтобы найти духовную альтернативу этому своему состоянию. «Альтруистом ведь когда-то назывался, — вспомнилось ему, — а каким оказался ничтожеством. Первобытный инстинкт гложет, и рыночная идеология не для меня, выкидывает прочь... Мало кто понимает, что, избавившись от социалистического произвола, мы влипли в рыночный. А рынок, если кто с ним не в ладу, — убивает. Но раз тебя убивают — и ты убивай. Таков его, рынка, „финальный ответ“». На словах упрекал, корил, высмеивал себя, но в глубине души не склонялся ни к какому раскаянию или прощению. Считал, что имеет полное моральное право на «финальный ответ».

Так углублялся он в пространство предгорное на «Ниве» своей, все дальше и дальше от урбанистического скопища себе подобных существ, позабытых, кажется, Богом, если он есть, или позабывших Бога, если он у них был, унося с собой сведавшие душу тревогу и смуту, печаль и тоску. Да будет он трижды проклят, этот город, разлучивший его с Айданой, заманивший ее в масскультуру.

Самого Арсена Саманчина город, однако, вовсе не отпускал, настигал и осаждал в пути звонками по мобильному телефону, на которые приходилось отвечать либо на ходу, не выпуская из рук руля, либо приостанавливаясь на обочинах, чтобы в аварию не попасть. Звонки в основном были из различных редакций, которые ожидали обещанные статьи и тексты интервью. Их приходилось переносить на более поздние сроки, а иным слишком уж настойчивым редакторам и телеведущим, планирующим очередные передачи, объяснять, что он якобы в отпуске, то есть сам себе устроил отпуск, на что имеет полное право, и предстоящие три недели будет в разъездах, уже и сейчас выехал за пределы города. В общем, эти дежурные проблемы удалось пока отсрочить, согласовать, но в двух случаях вопросы оказались неотложными, дискуссионными, звонящие требовали объяснений и обсуждений по телефону, поскольку в печати и в телекомментариях был необходим его немедленный ответ на критику его же высказываний по актуальным общественным вопросам. Ситуация не была для него нова, ему нередко приходилось вступать в споры и доказывать свою точку зрения по разным вопросам, но одно дело — разбираться на месте, в редакциях, и совсем другое — дискуссия на расстоянии, по телефону. Деваться, однако, было некуда. Вот и теперь он вынужден был остановиться и вступить в разговор. Хорошо, что телефонным собеседником оказался свой человек, главный редактор газеты «Новый путь» Кумаш Байсалов. Их давно связывали журналистские дела.

— Слушай, Кумаш, — раздраженно сказал Арсен Саманчин, — ну что там такое срочное приключилось? Я в дороге, я же тебе говорил. Вот вернусь, тогда и обсудим...

— Я понимаю, Арсен, но мне хотелось бы, чтобы ты знал — по поводу твоего выступления на конференции, на медиафоруме, помнишь?..

— Помню, конечно.

— ...Так вот, группа религиозных деятелей наших, местных — и мусульмане, и христиане, и даже баптисты либеральные — написала открытое письмо. Говорил я тебе, ты всегда слишком уж закручиваешь гайки.

— Ну и что же так взволновало этих богословов? Что заставило их побрататься? В другое время руки друг другу не подают...

— А то, что ты во всеуслышание, публично покусился на существование Бога, самого Всевышнего поставил, как сказано в письме, в зависимость от своего «Слова».

— То есть как это? Что это значит? Какой же он Всевышний, если он зависит от моего «Слова»? Чепуху солят в бочке.

— Не прикидывайся, Арсен. Ты знал, на что идешь. А теперь они требуют, чтобы ты покаялся и публично признал свою позицию не просто заблуждением, а умышленным искажением истины.

— Стой-стой, какую позицию?

— А ты помнишь свое выступление на медиафоруме в Алматы?

— Ну если подумать... Ведь когда это было, еще в мае.

— Верно, с двадцать пятого по двадцать седьмое.

— Так, и что дальше?

— А вот послушай, я тебе сейчас прочитаю суть их претензий.

— Ну давай.

— А телефон у тебя не сядет?

— Не беспокойся, у меня подзарядка с собой.

— Тогда читаю: «Таким образом, достигнув в результате совместного обсуждения единого мнения, мы, представители региональных центров мировых вероучений, высказываем наше осуждение и возмущение тем богохульством, которое допустил известный журналист Арсен Саманчин на конференции „Медиафорум Евразии“, сославшись и процитировав варварский, якобы философский текст „Слова“ кочевого номадского периода истории, что по сути более опасно, чем даже атеизм». Ты слышишь?

— Да, слышу, слышу.

— Ну вот, а дальше — твой текст. Кстати, ты помнишь, что все выступления на конференции транслировались по телевидению? Я тебе сейчас прочту, потерпи, вот что было сказано тобой, и это приводится в их письме: «Возможно, у меня при этом проявится свой подход, свое понимание поистине глобального значения современных СМИ. Поэтому я позволю себе не только напомнить злободневную повседневную значимость и ответственность формирующихся информационных пространств эпохи, но и прибегнуть к древним метафорам для постижения исконного понимания универсальности слова как такового, понимания, унаследованного от кочевых философов давно минувших времен. В частности, приведу емкое изречение из казахско-киргизской поэзии еще номадской эпохи, высказанное задолго до догматов господствующих мировых религий. В переводе это звучит так: „Слово выпасает Бога на небесах, Слово доит молоко Вселенной и кормит нас тем молоком из рода в род, из века в век. И потому вне Слова, за пределами Слова нет ни Бога, ни Вселенной, и нет в мире силы, превосходящей силу Слова, и нет в мире пламени, превосходящего жаром пламя и мощь Слова“. Эта универсальная максима была выработана

тогдашними кочевыми философами, тогдашними акынами-импровизаторами, обозревавшими мир из седла».

— Ну и что здесь не устраивает наших мулл и попов?

— А вот что: как, мол, можно выносить такое вызывающее, как они единодушно считают, богоотрицание на публику, вещать о нем по телевидению?! Ты понял?

— Да. Честно говоря, я не ожидал такой реакции с их стороны. Думал, они мыслят шире. Однако это ничуть не поколебало моей убежденности по сути.

— Хорошо, а нам как поступить прикажешь?

— Как сочтете нужным.

— Ясное дело. Так вот учти, Арсен, — почему я тебе и звоню, несмотря на то, что ты в пути, — мы немедленно поддержим наше духовенство и это письмо дадим на первой полосе. Пойми, мы с тобой еще с перестройки рука об руку, но, если мы сейчас этого не сделаем, наша газета окажется без финансовой иглы. Нам уже не то что намекнули, а дали понять это почти в открытую. А кто наш «накольщик», ты сам знаешь.

— Как не знать. Он «накольщик» не только у вас, скоро вся культура будет сидеть на его финигле. И все будет в его руках — и нажива, и повеление.

— Значит, ты не будешь в обиде на нас?

— Нисколько. Действуй. А я буду отстаивать свою позицию. Для истины найдутся свои поля.

— Ну о'кей! Только ты пойми, Арсен, я не от хорошей жизни... У тебя ведь и до этого была статья, которая очень не понравилась «накольщикам».

— Какая статья?

— В российской печати.

— А-а, да.

— Одно название чего стоило — «Патологическое стремление к богатству и власти»! Та еще статейка! От каменного века до наших дней...

— Да, было дело, — скупое отозвался Арсен Саманчин, подумав, что и та статья сыграла свою роль, спровоцировала недовольство, вот и мобилизовали для отповеди богословов, а те и расстарались. И за всем этим стоит все тот же Эрташ Курчал. В этом Арсен не сомневался. — Ладно, Кумаш, — добавил он, прижимая мобильник подбородком, — буду иметь в виду. А сейчас мне надо двигаться. Пока, Кумаш!

— О'кей! Арсен, не мне тебя учить, но смотри, что вокруг тебя закручивается. Письмо мы дадим, другого выхода нет. Богословы от нас не отстанут.

— Да какие они богословы! Лицедеи!

— Ну это я так, в шутку. В общем, ты же горец, сам должен знать, где подъем, где уклон, а где пропасть. Счастливого пути...

— Спасибо. Я поехал, — ответил Арсен Саманчин, пытаясь сообразить, что означало это напутствие — предостережение в дорогу или нечто более жизненно важное?

Потом последовали еще два звонка из редакций, но беспроблемные...

Задержавшись лишь на заправке, Арсен Саманчин уже приближался к серпантину грунтовой дороги в горах. Петлять по подъемам и спускам по-своему романтично, и виды открываются вокруг красивые, но требуется повышенное внимание за рулем и для автомашины нагрузка. Сосредоточившись на вождении, Арсен Саманчин размышлял не без огорчения о том, как односторонне, предвзято комментируется в прессе его выступление на медиафоруме: спорных выступлений на разного рода конференциях бывало у него много, но такая организованная травля идет, пожалуй, впервые. И это происходит почти демонстративно — он, Арсен Саманчин, уезжает, откладывая на потом то страшное,

что вынашивал в душе и о чем никто на свете знать не знает, а тот, кто давит все и вся вокруг своим немалым богатством, кто спекулирует на чужих трагедиях, преследует его и настигает. А раз так, то и ему нечего воздерживаться, завершив охоту с арабскими гостями, надо выходить на финишную прямую...

Трудно было отделаться от этих фатальных раздумий. Он ехал уже четвертый час, уже представляли перед взором все более знакомые, с детства родные места, оставалось около часа езды до родного Туюк-Джара, самого большого айла и некогда самого крупного колхозного хозяйства во всей округе, а все те же мысли роились в голове у Арсена. И странным образом, как бы он ни удалялся в пространстве, почти детское, сентиментальное желание, которое вроде бы не должно быть свойственно взрослому и отнюдь не слабовольному человеку, неотступно преследовало его: желание свидеться тотчас — если бы это было возможно! — здесь и сейчас, свидеться и поговорить с Айданой. Как прекрасно было бы ехать вместе в родное селение, сидя за рулем, рассказывать ей, куда и почему он направляется... Перед выездом он пытался до нее дозвониться, хотя и знал, что это исключено; но так и не услышал ее «Алло!», так и не смог сказать ей перед отъездом хотя бы несколько слов — не допустила этого нынешняя ее суперсудьба, а точнее, судьба, подвластная супершоуммену... В сумбуре этих раздумий только и оставалось, что возмечтать, будто Айдана здесь и он разговаривает с ней.

И тогда она оказывалась сидящей рядом, прикасаясь плечом. Она была очень внимательна и, конечно, красива, она и должна была быть красивой, ведь для любой женщины быть красивой — первоначное условие бытия, так заведено в роду человеческих существ. И, что уж скромничать, Айа действительно была красива от природы —

и ростом, и фигурой, и ликом, и глазами, всегда оживленно поблескивающими из-под черных ресниц, и волосами, подстриженными до плеч, то зачесанными назад, то обрамляющими чистое лицо, будто кулисы — сцену. А голос! Тут уже надо обращаться к Богу и благодарить Его за красоту и силу, данные голосу ее. Не так ли, Ая? Ах, извини, не стоило об этом упоминать. Понимаю, понимаю, удручаюсь, унижаюсь, казнюсь. Ведь ты пошла по рукам ловкачей. А меня, обалдуя, пустила по ветру. Но об этом потом...

— Стой! Куда ты? — встрепенулся Арс. Но ее уже не было рядом...

В аиле ждут — столько родственников! — сестра родная, зять-кузнец, племянники, шурины, двоюродные, троюродные и прочие родичи и, главное, — сам Бектур-ага, считающий часы и минуты до его прибытия, ведь времени уже в обрез, арабские гости прилетают через пять дней — семнадцатого июля в семнадцать ноль-ноль, в Аулиеатинский аэропорт, на своем личном самолете. Все вопросы с аэропортовскими службами согласованы по Интернету — получилось досье целое по прилету и с пока открытой датой вылета. Все это время самолет с экипажем будет находиться в аэропорту, или, как предпочитает говорить сам Бектур Саманчин, «на аиропорту» (для них, арабов, личный самолет — все равно что для тебя твоя «Нива»), короче говоря, все проработано согласно бизнес-плану. А он едет себе на своей «Ниве» то ли вправду, то ли в воображении... Вдруг она снова оказалась рядом...

— Ты куда едешь, Арс? — спросила она его.

— Ой, извини, Ая, — проговорил Арс, выкручивая руль вильнувшей от неожиданности машины. — Я тебе звонил и не смог дозвониться. А ты сегодня в том же платье, в каком была — помнишь? — в хайдельбергском парке, тебе оно очень идет.

— Так я его берегу, для тебя нарядилась, Арс.

И тут он переменяет тон:

— Куда едем, туда едем, но давай поговорим все-рвез. Надо что-то делать, Айа.

— Давай поговорим, если хочешь.

— Пусть не будет для тебя дурным сюрпризом, имей в виду: дело может кончиться плохо. Твоей жизни это не коснется, но...

— А что, что такое? Это коснется твоей жизни?

— Не только моей.

— В чем дело, Арс?

— Видишь ли, ты умная, сильная, красивая женщина. Тебе дан божественный голос, чтобы пела ты под божественную музыку. Но оправдываешь ли ты ожидания Бога? У тебя ведь теперь иной бог, бизнес-бог, имя его Эрташ Курчал, Курчал-Мычал — будь он проклят! Он не просто богач жирующий, пусть бы себе, Эрташ Курчал — дьявол в мантии шоумена. Он ненавидит все, что не под его рукой. Раскусил сразу, учуял нюхом...

— Следи за рулем, Арс!

— Не беспокойся, Айа, все будет в порядке.

— Ну да, ты же похвалялся когда-то, что за рулем ты — ас.

— Может быть, и так. Но ты послушай, я доскажу. И вот учуял он, хищник, нюхом своим, кого я имел в виду уже в заголовке статьи «Патологическое стремление к богатству и власти», а статья опубликована в московской газете.

— Я пока не читала, Арс. Но, говорят, никто там персонально не упомянут.

— Я и не собирался кого-либо упоминать. Нет такой необходимости. Понимаешь, речь идет об общей неотвратимой тенденции — стремлении к богатству и власти. Причем неважно — напрямую владеть властью или иметь

возможность купить ее, и то и другое сойдет. Я пытался сказать, что для власти нужно богатство, как для дыхания — воздух, а богатство требует власти, опять же как дыхание — воздуха. Так устроено в жизни. Власть и богатство друг без друга не могут обходиться, а опасность хронической тяги через богатство к властолюбию и наоборот в том как раз и состоит, что цель здесь достигается любым способом и во что бы то ни стало. И тут уж что кому на роду написано: кто-то усладу найдет, кто-то с проклятием в могилу уйдет. А этот тип живо учуял, что в статье изобличается его супостатская сущность...

— Ой, Арс, ну тебе бы только лекции читать. Ты лучше следи за дорогой да руль покрепче держи!

— Не беспокойся. Думается мне, очень скоро ты убедишься, что богатство и власть — это сиамские близнецы, сросшиеся еще в утробе.

— Ты что, опять за социализм? Не побывали разве мы там?

— Не об этом речь.

— А о чем?

— О том, что мы с тобой оказались жертвами, принесенными рыночным богам. Что ты об этом думаешь?

— Ты сам знаешь! Не заставляй меня, Арсен...

— Что замолчала? Переживаешь?

— Слушай, останови машину! Или я выскочу на ходу. Хватит! Ты думаешь, я просто так решила? Да прекрасно ты все понимаешь лучше меня. Вопрос стоит так: или я в стременах звезды скачу по просторам поп-шоу-бизнеса, или плачусь по романтизму и кожу с протянутой рукой! Не рви мне душу, ты же знаешь — родители-старички даже пенсии не получают, и дочурка моя у них. Чужим поручать ее не хочу, а самой времени не хватает, я теперь нарасхват. Я знаю, ты думаешь обо мне, сочувствуешь, я знаю, ты все страдаешь по

Вечной невесте. Но если ты можешь себе позволить быть идеалистом одиноким, то мне-то что делать? Нет, нет у нас с тобой, нет...

— Чего нет? О чем ты?

— О том, что мы больше не свидимся.

— Почему?

— Слушай, пусть я покажусь тебе циничной, но последок скажу. Слова — одно, а на деле — другое. Ты вот в одиночку горюешь, что мир не так устроен, таких, как ты, плакальчиков немало. А у него — бизнес-гарем, в котором немало таких, как я. И за деньги все с радостью бегут к нему и ждут, когда еще потребуется. Да, не по душе тебе владелец эстрад и лимузинов, ты его на дух не переносишь, и что с того? Он был никем, а стал всем! Благодаря своему бизнесу. Сила на его стороне. Вот и всё!

— Да, Айдана, всё! Ты права. Тут ничего не добавишь. Все так. Но капитуляции моей он не дождетя. И ты скоро кое-что увидишь, ради этого и путь держу. Что с тобой? Не переживай. Не ты виновата, а рыночная эпоха, тебя оприходовавшая. У нее бог — деньгá. И этот бог вездесущ. Не переживай. Подожди, куда ты? Подожди! Где ты? Где ты?

Но она исчезла. Он даже притормозил и оглянулся в недоумении, будто бы Айдана Самарова на самом деле только что была рядом, сидела бок о бок с ним и точно бы на самом деле могла на ходу выскочить из машины и исчезнуть в одно мгновение. И лишь опомнившись, крепко шлепнув себя ладонью по лбу, Арсен поехал дальше, усмехаясь и покачивая головой, упрекая себя, как всегда, в фантазерстве, веря и не веря тому, что происходило в его буйном воображении. Однако оправданием того раздвоения, которое произошло у него в сознании и позволило, как наяву, вести этот диалог, были неизбежная, пья-

нящая любовь и удушающая горькая тоска. А единственное утешение состояло в том, что, как бы нелепо и смешно ни выглядело все происходившее в его фантазмагорическом клиповом сознании, ни единая душа на свете не знала о том, что задумано им в реальности. Никто... А вот когда узнают... Но это уже неважно, как говорится, это другой вопрос. На том свете даже враги, говорят,жимают руки друг другу и обнимаются...

Тем временем Арсен Саманчин уже приближался к родному селению в горах, ехал по круто поднимающейся вверх окраине Туюк-Джара, радуясь, волнуясь, вглядываясь на ходу в знакомые дома под шиферными крышами, в дворы и заборы айльные, забыв о тех кульбитах, которые выделявало только что его воображение, ведь почти полгода не приезжал он сюда и вот теперь приближался, живой и здоровый, к своему айлу, какому ни на есть бедняцкому, но родному, а перед этим не преминул в соседнем айле, что у развязки дорог, заправиться горючим, что тоже было очень важно в здешних местах — приехать с полным баком.

Конечно, его ждали. Когда он въехал во двор, сестра Кадича и джезде Ормон выскочили из дома и долго обнимали его (от кузнеца пахло каленым железом), а сестра даже прослезилась и стала расспрашивать, как поживает семья Ардака, позабыв на время о возмущавшей ее торговле собаками. Очень радушная была встреча. Родственники уже знали, что он прибыл как переводчик арабских магнатов. Сам Бектур-ага появился минут через пять, тоже, стало быть, ждал с нетерпением, оно и понятно — без Арсена Бектур Саманчин был бы как без рук. Бектур-ага сидел верхом на коне, в накидке, сапогах и белой остроконечной шапке, готовый для верховой езды. И первое, что он сказал гор-таным голосом:

— Ждал, Арсен, тебя, очень волновался, хорошо, что прибыл вовремя. Дела идут по плану, все готовы. Я привез тебе факсы от долгоожидаемых наших гостей-охотников. Прочтешь, переведешь, но это завтра. А сегодня спокойно отдыхай, приходи в себя. Работы будет невпроворот...

Поговорили еще немного, чаю попили, сестра-то все наготове держала, а тем временем заглядывали соседи, чтобы повидаться. Ребята забегали с улицы, вертелись возле «Нивы». Вышел и сюрприз — неожиданно удалось пообщаться с одноклассником Таштанафганом. Его настоящее имя было Таштанбек, но после афганской войны, на которой ему пришлось отмотать почти три года — хорошо еще, отделался легкими ранениями и с орденом на груди вернулся, — в аиле стали его называть Таштанафган, а в семье и того короче — Ташафган. В переводе на русский это прозвище означало «твердокаменный афганец»: «таш» — камень, «таштан» — сделанное, созданное из камня. Например, «таштан эстелик» — каменный памятник. Так же образованы и самые популярные у горных киргизов имена: Темирбек — Железный бек, Темирхан — Железный хан, Темиркул — Железный раб... Вот и получилось, — кто мог предположить! — что имя, данное ему родителями в соответствии со знаками небесной символики, дабы вырос он мощным и крепким (кстати, такой он и был, в юные годы даже выходил на поясные борения с аильными силачами), односельчане переиначили на Таштанафган в знак уважения к воину, чья молодость оказалась крепко кована и перекована на наковальне военных событий в диких горах Афганистана. С Арсеном Саманчиным они были одноклассниками, соплеменниками и друзьями с детских лет. Потом их пути разминулись. Арсен все студенческие годы провел в Москве и Ленинграде, стал горожанином. Таштанафган

заканчивал агрономическое отделение областного сельскохозяйственного техникума, когда его призвали в армию и направили в составе пехотного подразделения в Афганистан. Вернувшись, слава богу, на родину, он остался в своем колхозе, а тем временем с перестройкой нагрянули демократические реформы, в сельских районах пошла приватизация земель. Таштанафган держался, как и все здесь, на малом сельхозбизнесе, а точнее, как и все, кое-как перебивался, едва выживал, всюду так было, тем более в столь удаленных горах.

Все это припомнилось Арсену Саманчину, когда по приезде брата сестра стала рассказывать, как ждут его односельчане:

— Все близкие тебя ждут, Таштанафган уже три раза приходил, тебя спрашивал.

Арсен едва успевал поздороваться и поговорить со всеми. Кроме соседей, кроме шефа Бектура — оказывается, аильчане стали именовать его не традиционным «байке», а чисто современным «шеф», — пришел повидаться и Таштанафган. Тоже крепко обнялись, поздоровались. Оба были рады друг другу. Вспомнили, что не виделись почти два года. По этому поводу Ташафган высказался так:

— Это у вас там, в городе, у каждого свой телефон, разговариваю с кем хочу, когда хочу. А у нас нет телефонов и вряд ли будут когда. Сам знаешь, Арсен, хорошо еще электричество есть в аиле, при Советах еще провели. А мобильный телефон — только у самого шефа и двух его помощников — у Борбия и Жанарбека, ты их помнишь, вместе в школу ходили.

— Да, знаю, конечно, — улыбнулся Арсен и попытался к слову обнадежить старого друга: — А насчет мобильных думаю вот что: проведем охоту на барсов с арабскими ханзадами — ты наверняка что-то заработа-

ешь. Шеф Бектур-ага, когда в город приезжал, сказал, что ты у него главный среди загонщиков барсов. А это не шутки — лазать по скалам, прыгать через пропасти да еще орать во всю глотку. Бектур-ага тебя очень ценит, к тому же афганский опыт у тебя. Надеюсь, оплата будет неплохая. Купишь мобильник и еще кое-что. Главное, чтобы барсы попались в западню.

Таштанафган неопределенно пожал плечами:

— Посмотрим, как получится. Поговорим еще. Ты не смейся, Арсен, но снежные барсы очень редкие звери у нас в горах, сколько сказок рассказывали нам о них в детстве, а мобильников в городах — как картошки в мешках. Кому что.

— Так-то оно так, — согласился Арсен Саманчин, — но поезд идет своим ходом. Теперь это не сказка, как видишь, сам будешь выгонять барсов на арабских охотников. Теперь это большой бизнес.

— Да, конечно, бизнес большой. Ничего не скажешь.

— Шеф Бектур-ага сказал, что вас, загонщиков, пять человек, ты вроде как бригадир, все на своих конях и за коня — отдельная плата.

— Это верно, — подтвердил Таштанафган. — Нас пятеро. И кони у нас крепкие. Только скакать-то придется по нехоженным горам и снегам, надо бы и за стремя платить — бизнес так бизнес. Ну до завтра.

— Ладно, до завтра.

Но, дойдя до выхода со двора, Таштанафган приотстановился задумчиво, вроде бы что-то недосказал. Так оно и оказалось. Он вернулся:

— Постой, Арсен, задержу еще на минуту.

— Да, что-то хочешь сказать? Слушаю.

— Отойдем-ка в сторону. Понимаешь, ты для нас человек свой, мы ведь все здешние, туюкцы. Арабам что — поохотятся в наших горах и смотаются, а нам как

быть — мы сами должны думать. Вот наша пятерка загонщиков и хотела бы с тобой посидеть-потолковать по душам. Когда еще такой случай выпадет? Кстати, мы и тебе коня приготовили по заданию шефа, тебе ведь тоже придется скакать с арабскими гостями. Конь у тебя что надо, отличный, вот увидишь, седло и сбрую — все подобрали. А как же, шеф сказал — значит, все! Вот и коня тебе покажем, сядешь, проедешься, а заодно чайку попьем, поговорим...

— Хорошо, Ташафган, давай посидим, поговорим. Вот только когда? Время надо выбрать, бизнес-план у нас плотный. С шефом согласовать требуется.

— Вот-вот. Завтра у тебя как? Арабы прибывают семнадцатого, сегодня уже двенадцатое, конец дня. Завтра надо нам повидаться, не то уже не успеем. На разведку в горы подадимся. Дел будет невпроворот. Эх, всего два араба прибывают, а мы всем народом, всем аилом готовимся... Ладно, пятерка наша ждет, очень хотят пастухи-джигиты повидаться с тобой.

— Хорошо, я согласую с шефом.

— Поговори, но того, скажи, что просто с одноклассником встречаешься. И учти, есть и пить даже слегка не получится — это в другой раз. Так пятерка наша решила, сейчас есть дело поважнее.

— Не беспокойся, Ташафган, я тоже не очень насчет выпивки (хотел было похвалиться, как недавно в ресторане «Евразия» хватанул целый стакан водки, но, припомнив, кто стоит за всем этим, запнулся от гнева). Конечно, нам следует посидеть, потолковать, мы же ровесники, в одной школе учились.

— Это верно, Арсен, а один из пятерки нашей — бывший учитель, ты его знаешь, тоже вместе учились — Саксан. Помнишь, мы еще дразнили его Саксагаем, лохматым. Он потом, после педучилища, физкультуру преподавал.

— Да, помню, конечно.

— Так вот, Саксан-Саксагай теперь в табунщики подался, на учительские копейки не проживешь.

Арсен промолчал, сказать было нечего. А Ташафган разговорился:

— Саксан очень хороший человек, но помотала его судьба. В челночниках года два промыкался. Страдает, конечно. Давай присядем на скамейку, два слова о Саксане. Потерпи, послушай.

— Я готов. Давай присядем.

— У Саксана есть байка не байка, трудно сказать... Но говорит он об этом так, как будто на суде под присягой выступает.

— И что же это за байка?

Немного помолчав, Ташафган ответил:

— Видишь ли, челноков жизнь куда только не забрасывает, ну и понаслушался, должно быть, Саксан всякой молвы и рассуждает теперь на свой лад. С чего-то он очень придиричив к арабским странам, к нефтедобывающим, ненавидит все эти эмираты, как в раю живущие. По нему получается, паразитируют они на нефтедобыче и от этих бешеных цен на нефть чумеют. Как он говорит, кровь земную сосут и богатеют задарма.

— Ну так это ситуация всем известная, общемировая, — заметил Арсен Саманчин. — Нефтедоллары торжествуют.

— Так-то оно так. А вот то, что они, арабские богатеи, позволяют себе, — таким, как мы, даже во сне не привидится. Знаешь, они, оказывается, устраивают автогонки на самых дорогих машинах — и где ты думаешь? В песках Сахары.

— Сахары?! — подивился Арсен. — Да, черт возьми, такого не слыхал! Ну да, ведь есть же любители экстремальных гонок по горам, а по пескам, наверное, еще круче.

— Если бы только это! Вот представь себе, Арсен, нам об этом Саксагай рассказывал со слов очевидцев, и по телевидению показывали — мы обалдели! Аж глаза на лоб лезли. Эти гонщики на джипах, да на каких — у нас пока таких и в помине нет, даже у шефа нашего, ему-то тоже джип оттуда, сказывают, пригнали, то ли из эмиратов, то ли из кувейтов... — ну так вот, гонщики эти не просто катаются. Они на своих суперджипах носятся сломя голову наперегонки по барханам — они называются у них, как у нас, «чоку», — то в крутые низины прыгают, то снова вылетают наверх — все равно как на доске по океанским волнам. Как называется эта доска балдежная?

— Кажется, серфинговая. И что?

— Так вот, джип, который прибывает к финишу последним, считается неудачником, которого надо наказывать, что они и делают. И они, подумай только, тут же для забавы с хохотом обливают бензином и поджигают машину-неудачницу, а сами танцуют, веселятся, и проигравший гонщик веселится вместе с ними, шампанским обливаются, и никакого дела им нет, что поступают они как последние сволочи. Завтра же купят себе новенький джип, как ни в чем не бывало, для них это — раз плюнуть, зато позабавились. И доказали себе, что они совсем не те бедуины, которые когда-то трусились по тамошним пескам на жалких верблюдах и Бога молили, чтобы не оступился верблюд, а не то сгинут они в песках. И все потому, Арсен, что счету нет их бьющим из нефтескважин миллионам и миллиардам. Почему такое происходит на свете? И никто не хочет за это отвечать — одни сжигают джипы для потехи, а другие, мы например, не могут детям обувь купить, чтобы было им в чем в школу ходить.

— Я понимаю, — тихо ответил Арсен Саманчин.

Последняя фраза Ташафгана разбредила душу, ему стало не по себе. Такого разговора он не ожидал. Ду-

мал, просто поболтают о том о сем. И, чтобы как-то смягчить распалившегося Ташафгана, сказал:

— Успокойся, дружок, не горячись. Я понимаю, но не стоит так... Когда-нибудь поплатятся они, у жизни много уроков припасено.

— Да я-то что! Я себя держу в руках. А вот видел бы ты, как Саксагай, когда говорит об этом, кулаками небо молотит. Так ненавидит он эту несправедливость земную. С трудом унимаем его, ну и, что тут скрывать, сто граммов даем глотнуть.

— Да, конечно. Но давай не будем сгущать краски. — Арсен похлопал его по плечу. — Думаю, в этих странах люди в основном нормальные, какими бы богатыми они ни были, а эти офонаревшие от богатства поджигатели стабунились, наверно, случайно. Бог им судья. Но ведь, смотри, и нам кое-что перепадет от них: заладится охота на барсов — каждый из нас что-то получит.

— Да, если так будет, то потому, что шеф у нас такой деловой человек, устроил всем нам бизнес-артель. Посмотрим. Охотничье счастье как ветер — не уследишь.

Чтобы поддержать его мысль, Арсен Саманчин решил в шутку добавить:

— И еще кого надо нам поблагодарить и кому кланяться низко, так это нашим снежным барсам. Не будь их в горах — не было бы и охоты. Не было бы и контрактов Бектур-агаевых!

— Это верно, — вполне серьезно отозвался Ташафган. — Барсов мы продаем, выходит... А что делать? С ними контракт не заключишь.

— Ну ты даешь! — рассмеялся Арсен Саманчин. — Такого еще не слышал — контракт со снежными барсами. Здорово! Ну спасибо тебе. Отдыхать будем. О'кей?

— О'кей! Задержал я тебя малость. День-то уже к вечеру клонится. Отдыхай, только не забудь, очень креп-

ко прошу тебя, завтра увидимся. Мы тебе твоего коня приведем.

— Хорошо, Ташафган. В городе говорят в таких случаях: презентацию коня устроим.

— Во-во, презентацию... Шефу так и доложим: презентация, мол, будет. — И, уже расставаясь, спросил: — А сапоги у тебя есть для верховой езды? Нет — так подберем.

— Не беспокойся. Я же знал, зачем еду, захватил давнишние сапоги. Годами лежали без дела.

* * *

В завершение того дня, перед тем как Арсен расположился с дневной усталости на ночлег на приготовленную родственниками постель в углу комнаты, позвонил ему по мобильному сам шеф Бектур-ага. Он сообщил, что находится в предгорной долине Дасторкан, где будет первая ночевка арабских гостей. Само собой понятно, устроить полевую стоянку не так просто, тем более для такого ранга особ. Договорились назавтра после обеда встретиться и уже начать текущую работу. Предстояло обсудить встречу гостей-охотников в Аулиеатинском аэропорту через три дня. С момента их прибытия Арсен обязан был постоянно и круглосуточно находиться при них. Тоже непростая задача: охота само собой, а как узнать, что они за люди, какие у них характеры, увлечения.

Впрочем, Арсен Саманчин готов был исполнять свои обязанности самым добросовестным образом, с тем и засыпал после телефонного разговора, мельком припоминив давешний разговор с Ташафганом. С чего он так раскипятился? Странно даже...

А в глубине гор в ту летнюю пору, в тот час, в ущелья между снегоносными вершинами и продольными хреб-

тами спустилась уже полная тьма, и стало холодно почти как зимой. Все твари, обитавшие в тамошних местах, смиряли свои страсти до утра. Успокоение требовалось. И все было слажено в здешней природе к тому успокоению — яркие, крупные звезды засияли в небе, близко нависая над горами, облака перестали кучеваться, растянулись вдоль хребтов безо всякого намека на дождь, гремучие реки приутихли. А у подножия Узенгилеш-Стремьянного перевала еще поддувал низовой ветер, и изгой Жаабарс прохаживался здесь для умиротворения души, переступая через завалы камней, выбирал удобное место на ночь. Так и не удалось бедолаге преодолеть перевал, лето уже перекинулось во вторую половину, а он все появлялся тут набегами, околачивался, исчезал и снова возвращался. Вот и в этот раз оставался на ночь. Не нравилось ему, что птицы в чашах в эту ночь не смолкали, перекликались между собой. Ночная сова, тункукук, ворчала, гулко ухала на них, а им хоть бы что... Но еще больше вызывали подспудную тревогу зверя далекие, голосистые звуки человеческие. Откуда они? Знал бы Жаабарс, что это объявилась в окрестностях скитающаяся по горам Вечная невеста, та самая. «Где ты? Где ты? Отзовись! Это я — Вечная невеста, это я зову тебя, я бегу к тебе, где ты, где ты?» И плакала Вечная невеста в этот раз, стонала, вопила: «Ой, ой, что будет теперь? Что будет? Что будет? Ой, ой, что теперь будет? Что будет?» Чего она так испугалась? Будто что знала.

Не выдержал Жаабарс тоски и страха Вечной невесты, встал и ушел по тропе в другую сторону... Ему-то какое дело? Одному Богу ведомо...

Оказывается, ведомо было не только Богу, но и еще кое-кому, пусть не напрямую, окольным путем. Были люди, которые, находясь далеко-далеко, замыслили нечто в местах обитания Вечной невесты, а именно — охоту на снежных барсов в туюк-джарских горах.

В тот утренний час Арсен Саманчин уже был на ногах. Побрился, умыл лицо, руки, шею под гремящим наливным рукомойником столетней давности. И в тот момент, когда он, весьма довольный, обтирался чистым полотенцем и собирался выйти во двор позагорать — погода была прекрасная, и давеча, глянув в окно, он изумился, как грандиозны в строгом своем великолепии горные хребты, будто бы нарисованные рукой художника, — так вот в этот момент раздался звонок его мобильного телефона. Он решил, что звонок от шефа Бектура: должно быть, в продолжение вечернего разговора, но в трубке совершенно неожиданно раздался голос, говоривший на чистейшем английском языке. Это изумило Арсена: здесь, в глубине гор, такого практически не могло быть.

Голос звучал живо, бодро и располагал к разговору:

— Доброе утро! Ведь у вас сейчас утро? Извините, вы мистер Арсен Саманчин?

— Да, да, он самый! С кем имею честь?

— Я в некотором роде ваш коллега — я пресс-секретарь службы международных связей господина Хасана, мое имя Роберт, или проще — Боб Лукас. Будем знакомы. Поскольку вы владеете английским, и, как я вижу, превосходно, будьте нашим посредником в общении с местным населением, ведь мы готовимся к вылету в ваши края на охоту. Вы меня слышите?

— Отлично слышу. Да, конечно, я постараюсь быть посредником между вами. Откуда вы сейчас звоните, уважаемый Боб?

— Как откуда, дорогой Арсен! Отсюда, из Эмиратов, вы же знаете — гости придут с большой группой сопровождающих, вплоть до врачей и поваров. Вот и готовимся.

— Это хорошо. Мы тоже готовимся. Но то, что вы звоните к нам в горы по телефону, для нас сюрприз. А отсюда тоже сможете звонить? Как вам это удастся, извините, Боб?

— А очень просто, уважаемый Арсен! Спутниковая связь. Мы можем звонить в любую точку мира из любого места благодаря собственному спутнику связи на космической орбите. В любое время куда угодно и откуда угодно. Вот я сейчас с вами говорю, вы в далеких азиатских горах отвечаете, а ваши снежные барсы и не подозревают, что спутниковая связь служит и им, диким зверям, чтобы свидеться нам в процессе охоты. Ну это я так — шутка. Извините.

— Да ничего, уважаемый Боб, посмеяться не вредно. Только вот встреча с барсами по-всякому может обернуться.

— Разумеется! Главное на охоте — побольше добычи. А барсы, как и тигры, — штучный товар. Чем больше штук, тем больше прибыли. Для арабских гостей охота — спорт, а все мы и все вы, понятное дело, очень

даже заинтересованы в удаче. Побольше барсовых шкур! И нам хорошо, и вашей охотничьей фирме «Мерген». Престиж у нее сразу вырастет.

— Да, Боб, конечно.

А самому подумалось при этом: смотри-ка, информационные технологии теперь даже до диких зверей добрались, выслеживают их логова из космоса. Знали бы дикие звери в горах, что спутниковая связь им служит, только вот не во благо.

Очень словоохотливым оказался пресс-секретарь Роберт Лукас, симпатичный даже на расстоянии. Но и деловой разговор тоже имел место. Обсудили разные вопросы обслуживания и прибытия охотников со снаряжением. Самолет гостей соответствовал их высокому положению — «Боинг-737», и экипаж первоклассный.

Некоторые сведения, почерпнутые из этого разговора, Арсен Саманчин записал в блокнот для передачи шефу Бектуру. Их встреча планировалась в тот же день по возвращении шефа со стоянки Дасторкан. Он обещал дать знать, как только приедет.

А пока можно было повидаться с ташафганской пятеркой загонщиков, обещавших показать ему ездового коня и устроить небольшой междусобойчик. Для Арсена Саманчина эта встреча важна была не только потому, что все они были однокашниками: трое — он сам, Ташафган и лохмач Саксагай — учились в одном классе, остальные были моложе на два-три года. Но главное — все они свои, сидели когда-то за партами под одной школьной крышей. Кстати, школьная крыша шиферная порядком пожухла и осела, на что обратил он внимание, проезжая накануне мимо, как бы то ни было, родная школа — всегда родная. Но это уже другое дело...

Так размышлял он в то утро, когда Ташафган и Саксан-лохмач пришли за ним, как оказалось, не только из чувства школьного братства, но и с другим замыслом, о коем Арсен Саманчин, разумеется, знать не знал. По дороге Ташафган вроде бы полусхвату сказал:

— Арсен, дружок, учти, мы все, твои однокашники, сейчас холостяки.

Арсен искренне подивился:

— То есть как, что значит — холостяки? Что случилось?

— Не останавливайся, идем. Ничего страшного, сейчас расскажу.

А Саксагай-лохмач понимающе ухмыльнулся при этом и покачал головой:

— О том, что мы сейчас холостяки, весь аил знает, не то мы бы тебя домой в гости позвали, а не в школу.

— Да бросьте вы шутить!

— Что ты, Арсен. Ты большой человек для нас, какие могут быть шуточки? — продолжал Ташафган. — В школе сейчас никого, все на каникулах, сторожа мы попросили не мешать нам сегодня, дали ему на водку. Он и пошел к себе домой. А мы воспользовались этим и решили, что лучше будет нам собраться в школе. Кони наши уже там, во дворе. А то, что мы холостяки, так дело в том, что семьи наши — жены, дети — сейчас в горах, откочевали мы высоко на летовку. Может, помнишь такие места по берегам реки Аксай, вот там и летуем. В прежние времена ведь на все лето народ откочевывал туда жить и скот пасти на джайлоо. А теперь мы по старинке решили полетовать и с семьями, с юртами расположились там.

— А почему бы и нет? — подхватил Саксагай-лохмач. — Свобода! Куда хочу — туда иду. Не в колхозе же мы.

— И очень жаль. Ну ладно, об этом потом, — сказал Ташафган. — А сюда нас вызвал шеф Бектур-ага, для охоты, стало быть. Загонщиками будем, собаки есть у нас. Сам понимаешь, Арсен, барсов надо загонять в такие места, чтобы отстреливать из укрытий, без этого их не достать — в ущельях залягут, а если что, так и наброситься на человека могут, чтобы знал, куда сунулся. А в загонщиках, если повезет, и мы что-то заработаем. Вот мы и прискакали.

— И объявили себя временно холостяками! — посмеялся Арсен Саманчин, поняв, в чем дело.

— Вот перестанем снова быть холостяками, — буркнул Саксагай-лохмач, — вернемся на летовку скот пасти, а толку никакого. Потому как никакого спроса нигде на скотину нет. Только еще беднее становишься, а то бы...

Арсен не успел ничего сказать, как Ташафган перебил:

— Ну ладно, Саксан, об этом потом поговорим. И по-настоящему. А сейчас думай о другом... — и замолчал на полуслове. Молчал и Саксан-лохмач.

И тогда Арсен стал им рассказывать, как сегодня утром позвонил ему из Эмиратов пресс-секретарь господина Хасана — Роберт Лукас, как и о чем они разговаривали. Не ожидал он, что так заинтересует товарищей эта тема, до школы оставалось шагов десять, а они, остановившись, начали подробно спрашивать про спутниковую связь. Для них это было открытием.

— Вот здорово! — говорил Ташафган. — Выходит, они могут звонить через свой спутник куда угодно и когда угодно? Находясь в наших горах, там, в ущельях или пещерах, под снежными лавинами, где никто никого не услышит, они могут звонить и в Эмираты, и в Европу, и в Америку? Вот это да!

И еще почему-то очень занимало их то, что самолет арабских гостей останется дежурить в аэропорту на все время, пока гости будут охотиться в горах, будто это имело к ним какое-то отношение. Завидовали, скорее всего.

— Ты смотри! — говорил Саксан-лохмач, действительно обросший черными клубящимися волосами до плеч. — Ты смотри! Целый «Боинг» со всеми летчиками будет спокойно ждать своих хозяев. Когда я был челночником, нельзя было опоздать ни на минуту, рейсовый самолет улетал и плевал с неба на опоздавших. А тут такое удобство. Когда хочу — тогда улечу. Вот она, сила богатства!

Ташафган уточнил:

— А то, что самолет на приколе, значит, что гости могут улететь в любое время? У меня только конь — вон он во дворе: хочу — привяжу, хочу — отпущу, хочу — поскачу.

— Стало быть, — пытался объяснить Арсен Саманчин, — у них так заведено. Когда сочтут нужным, тогда и взойдут на борт. Самолет готов. Экипаж на месте.

Беседуя таким образом, они подошли к школе, где когда-то учились, а теперь вот волею судеб явились, повязанные одним предстоящим событием — охотой на снежных барсов. И прибывающие из далеких стран гости тоже вовлекались невольно в общий круг здешних событий. Хотя вряд ли они что-либо такое предполагали.

Давным-давно не бывал Арсен Саманчин в своей школе. Школа находилась на окраине, чуть в стороне от аила, мимо проезжал, поглядывал мельком, но чтобы прийти, так сказать, с экскурсией в свое прошлое, такого не бывало.

Теплое чувство накатило на душу — вот она, школа, все та же, пусть приосевшая от времени, с пожухлой

шиферной крышей, как и все крыши вокруг, с покосившимися дверьми и разохшимися рамами оконными, но школа все та же. Вот двор, где когда-то бегали наперегонки, вот коридор, вот классы... Если поначалу и неловко немного почувствовал себя Арсен, когда Ташафган предложил собраться в школе с разрешения директора, куда-то убывшего, — обычно ведь как-никак чай пьют дома, — то потом убедил его Ташафган: семьи их на летовках, а школа пустая. Арсен Саманчин успокоился, даже доволен был. И день выдался ясный, и горный пейзаж вокруг все тот же, со снежными хребтами вдаль, где обитают снежные барсы, из-за которых и возникли дела такие. И птицы всякие порхали вокруг, много их было, никто им здесь не мешал, вот и носились в свое удовольствие...

Трое загонщиков из пятерки Ташафгана, те, что помоложе, встретили Арсена Саманчина приветливо. Чувствовалось, что у них дисциплина: Ташафган командовал почти как в армии — иди туда, иди сюда, стой здесь, принеси, унеси, закрой, открой, и все это они охотно выполняли. Это тоже понравилось Арсену, ведь обычно, собираясь вот так, айльные парни прилично выпивают, а эти были абсолютно трезвы. Все это создавало атмосферу уверенности и дружелюбия, и на коне своем проехался Арсен Саманчин вокруг школы с удовольствием. Конь был крепкий, сивой масти и оседлан прочно. Ташафган сам почтительно подвел коня:

— Дорогой Арсен, вот мы тебе, как ты вчера сказал, презентуем твоего коня ездового, хорошо, что ты не забыл надеть сапоги. Держи поводья, садись, будешь на нем с арабами скакать, а мы выгоним на вас барсов, сколько потребуется.

Все засмеялись.

— Спасибо, — поблагодарил Арсен земляков. — Раз такое дело, я тоже буду стараться, чтобы арабы были довольны. Это нужно для нас самих.

— А теперь пойдем посмотрим наш класс. Какие времена были, какие учителя! А теперь? Учителя разбрелись. А мы Бога молим, чтобы барсы попали под прицел... Иные вон на самолетах катаются на охоту, а мы рады стараться.

Все покивали головами. Арсен оглянулся вокруг — во дворе тишина, школа была пуста, оседланные лошади стояли на привязи, птицы сновали над головами, а в душах людских, судя по всему, не было покоя. И немудрено: о том, о чем походя говорил вчера Ташафган, многие люди высказываются еще более критично и с еще большим недовольством, и ведь они правы — так оно и есть на самом деле... Куда ни ступи — куча проблем.

Когда проходили по коридору, заглядывая в классы, которые оказались открытыми, Арсен обратил внимание, что ремонта давно не было, подзапустили помещения, единственное, что обновилось, — это парты: вместо старых неуклюжих парт из досок с откидными крышками теперь стояли столики и стулья со спинками. Классные доски тоже были новыми — так показались...

Ташафган глянул на часы:

— Ну что, братья, одиннадцать часов уже. Время идет. Арсен, давай присядем в бывшем нашем классе, поговорим.

— Зачем? Пойдем лучше к моей сестре, там посидим спокойно, места хватит.

— Нет-нет, Арсен, давай сейчас зайдем вот сюда, в наш бывший класс, и я кое-что объясню.

— Ну как скажешь, я — ваш гость.

— Заходи. Так, сядем за двумя столиками напротив друг друга.

Они расселись у открытого окна с видом на горы, помолчали. Арсен Саманчин пока не мог понять, чего, собственно, хотят его односельчане, таким странным образом пригласив его в пустующую школу. И тогда, окинув всех сосредоточенным, пристальным взглядом, вздохнув глубоко и откашлявшись, Ташафган начал, должно быть, заранее обдуманную речь:

— Арсен, вот что мы хотели тебе сказать. Слушай.

— Да я слушаю. А что так строго? Мы же свои люди, соплеменники. Что-нибудь случилось? Кто-то умер из близких? Вроде все на месте, насколько я знаю. И потом, мы же все учились в этой школе...

— Да нет, Арсен! Если бы это касалось только того, где учились, где жили... Нет, совсем не так. Ты наш брат, ты наш гость, но сегодня ты в наших руках, и мы тебе скажем то, зачем привели тебя сюда. Скажем, что будет дальше...

— Постой-постой, что значит «я в ваших руках»? Коня ездового привели — спасибо. Так я уеду в город, а лошадь останется. Я-то уеду на своей машине.

— Кто его знает, уедешь ты или не уедешь.

— Как так? Говори открыто...

— Затем мы и здесь. Разговор будет острый — как ножом по горлу.

— Еще чего! Да пошли вы все, вы меня за дурака принимаете или ты сам, Ташафган, свихнулся?

— Не горячись, я виноват, что разговор так пошел. — С багровеющим лицом Ташафган привстал с места, и его товарищи тоже зашевелились, зашептались. И в этот момент за окном вдруг залаяла собака, обитавшая в школьном дворе: дворняжка, обычно никак ни на что не реагирующая, сейчас почему-то завелась.

— А ну пойди посмотри! — приказал Ташафган сидящему с краю загонщику. — Никого не подпускай, чтобы близко не было ни души. И отгони собаку подальше. Слышишь? Чтобы никого близко не было.

Совершенно сбитый с толку Арсен Саманчин хотел встать и уйти, однако Ташафган упредил: положил руку на плечо и что-то хотел сказать. Арсен дернулся, попытался решительно сбросить его руку и все-таки уйти, но именно в этот момент со двора под неумолкающий собачий лай в открытое окно стремительно влетели две ласточки, защебетали тревожно, закружились под потолком, точно так же, как несколько дней тому назад в квартире Арсена, — словно бы хотели сообщить что-то или предупредить. Арсен был потрясен. И когда осенила вдруг молниеносная догадка — неужто это некое предупреждение судьбы, неужто это те самые ласточки-вестницы вновь пытаются что-то сказать своим появлением? — ему стало не по себе.

Несмолкаемый щебет птиц, их стремительное кружение над головами не давали людям нормально поговорить. Разумеется, поначалу их просто выгнали, но ласточки, как и тогда, вернулись. Их снова прогнали, затем закрыли окно, но ласточки, всем на удивление, продолжали биться в стекла, возбужденно вереща, и в дополнение ко всему собака почему-то продолжала громко лаять, неизменно возвращаясь во двор, как ее ни отгоняли. И тогда Саксан-лохмач предложил:

— Давайте перейдем на ту сторону, там класс поменьше, зато будет потише. А то эти одуревшие ласточки все равно покоя не дадут. Они гнездятся где-то тут, на этой стороне, вот и взбудоражились. Пошли.

Так и поступили. Но Арсен Саманчин был уже другим человеком. Напряженно-спокойным, замкнувшимся в себе. Он не собирался противоречить загонщикам

и самому Ташафгану. Если по правде — не до них уже было. Душу захлестнуло предчувствие: что-то должно произойти в его жизни, что-то отнюдь не обыденное, а судьбоносное, быть может, даже катастрофическое. Но что? Разве дано кому бы то ни было разгадать такое предощущение?

Когда они переместились в другой класс и избавились от шумных ласточек, Ташафган, видимо, решил побеседовать с Арсеном наедине. Он сказал своим загонщикам приказным тоном:

— Слушайте, давайте так: мы с Арсеном продолжим тут наш разговор, а вы — как договаривались: всем быть на своих местах и чтобы никто не мешал нам, никого ни с какой стороны не подпускать сюда. А ты, Култай, тем временем своди по очереди коней на водопой, тут недалеко арык, сам знаешь, у Большого камня.

Его указания немедленно были приняты к исполнению, как в армии. Афганский комплекс явно давал о себе знать.

— А теперь, Арсен, — нас здесь никто не слышит, потому мы тебя сюда и привели, — я расскажу тебе, почему и зачем мы пошли на такое дело. — Он помолчал, ожидая, что Арсен что-нибудь спросит, но тот лишь молча кивнул головой. И тогда Ташафган продолжил: — Не мне объяснять тебе, что такое глобализация и как плясать под эту дудочку каждому из нас, чтобы выжить.

— Не слишком ли ты широко берешь? — заметил Арсен Саманчин. — Глобализация — общемировой процесс. Давай поближе к делу.

— Я как умею, так и понимаю. То, что в мире есть богатеи — их теперь, как ты без меня знаешь, олигархами называют, — не секрет. Как с неба свалились. Ну

бог с ними, только как понимать, если Бог стал богом бизнеса, а вокруг многие миллионы, вместе взятые, не имеют и крохи того, чем владеет один? Как с этим смириться? Кровь вскипает.

— Предполагается, что выход в конкуренции, — ответил Арсен Саманчин.

— Конкуренция бывает разная. Если кто-то сильней и несравнимо богаче, так что нам — сидеть сложа руки? Почему эти арабские охотники, которые к нам прибывают, могут, если захотят, купить всех нас на корню за мелкую монету, а мы рады стараться подгонять им снежных барсов?

— Ты не туда идешь, Таштанбек, конкуренция с производства начинается. Тут важны и технология, и рабочая сила. Смогут ли они обеспечить развитие, чтобы не отставать...

Но Ташафган перебил его:

— Что значит — не туда идешь? Я туда иду, и ты пойдешь с нами. Все! С этого дня ты будешь с нами, если хочешь жить, а мы решили бесповоротно — берем арабов в заложники. Что уставился? Думаешь, просто так? Ничего подобного! Заплатят они за свои шкуры столько, сколько...

— Постой-постой, ты в своем уме?! Какую ахинею...

— А ты думаешь, что только ты умный? Умы тоже разные бывают. Мы все продумали, просчитали точно. И ты, Арсен, заруби себе на носу — на всю жизнь, сколько ее отмерено, ты останешься с нами, другого выхода у тебя уже нет. Будешь ведущим, как на телевидении, посредником между нами и заложниками, будешь направлять наши действия.

— Чего-чего? Нет, ты точно сбрендил. Ты зачем мне эту лапшу на уши вешаешь? Для этого, что ли, затащил меня сюда?

— Не беспокойся, нас никто не слышит. Повторяю — будешь ведущим, посредником. А мы будем гордиться тобой всю жизнь.

— Ну ты даешь! Послать бы тебя к эдакой матери. Что ты мне бред какой-то втюхиваешь? Если в Афганистане научился так языком чесать — то только не со мной. Заткнись, пока не поздно, и забудьте про эту ахинею. И как только такое в голову пришло? Международный скандал хотите учинить? Мало вам того, что в городах наших уличные демонстрации пошли в защиту свободы и демократии? К тому же о других подумайте — вы что, хотите фирму «Мерген» в пропасть столкнуть? Да и не в наших традициях заложников хватать. Соображать же надо!

— Правильно, надо соображать — международный скандал учинить нельзя, фирму «Мерген» завалить нельзя, приставить нож к горлу мировых миллиардеров нельзя, а в нищету нас втаптывать можно? Без образования оставлять наших детей можно? Без лечения бросать нас можно? Вот так и получается в жизни: у богатых богатство в океан не вмещается, а у бедных бедность в океан не влезает. А насчет традиций — это ты ошибаешься, Арсен. Забыл, выходит, что в преданиях рассказывается, как барымту вымогали за заложников. Пригоняли табуны лошадей, стада овец и коз — и так разрешали конфликт, так разделяли богатства.

— Рассуждать таким образом можно еще долго, Ташафган. Вчера твои мысли мне показались резонными, но соучастником в задуманном тобой я не буду.

— Твое дело, можешь думать так или по-другому, Арсен, ты этим меня не удивишь. Но с первой минуты захвата заложников дело с ними иметь будешь ты, будешь передавать им мои распоряжения, потому как из нас пятерых никто не знает ни единого слова по-анг-

лийски. И это не наша вина. Мы будем стоять вокруг с оружием в руках, остальное сделаешь ты, Арсен. Мы загоним в пещеру этих любителей охоты, прибывающих, на наше счастье, а ты объявишь им, что барымта — десять миллионов долларов с носа, то есть общая сумма — двадцать миллионов. Поскольку нас пятеро, с тобой — шестеро, то доля каждого — три миллиона триста тысяч долларов. Нам этого хватит на три жизни. А тебе уж не знаю. Может, женишься, наконец, и будешь жить, как все мужчины, со своей бабой? И дай тебе Бог потомства.

— Хватит небылицы плести. Уймись, Ташафган, похорошему и подумай. Ты так говоришь, будто я дал уже согласие и готов выполнять твои приказы. Никогда, ни за какие деньги я не пойду на такое дело. Я не террорист.

— Мы тоже не террористы. Как только двадцать миллионов окажутся у нас в руках — а для них это что для меня две копейки, — арабы свободны. И ты свободен. Только куда тебе деться будет? Но об этом потом...

— Я и сейчас свободен. И не буду шестым у тебя в банде. Все, разговор окончен. Нечего попусту языками молоть...

— Ошибаешься, ты уже не свободен. С этой минуты ты у нас шестой.

— А если я не желаю?

— Если не желаешь — отсюда не выйдешь. Могила твоя будет здесь, во дворе, за углом, сразу за общей уборной. Ломы и лопаты припасены. За пять минут зароем. И оружие у нас наготове. Недаром в Афгане мою жизнь калечили, и я немало чужих покалечил. Есть у нас даже пистолет с глушителем. Все мои подельники обучены владению разными видами оружия, даже гранатометом. Ну а я в этом деле — мастер, скажу без лож-

ной скромности. В общем, ты отсюда не уйдешь таким, каким пришел. Не потому, что мы тебя ненавидим: сам понимаешь, другого выхода у нас нет. Ты уже повязан с нами. Мы не террористы, мы просто берем свою долю мирового капитала, и не более того.

— Хватит, надоело, я уйду.

— Стоять! Не вынуждай меня быть палачом своего же одноклассника.

— Да, вот и я сейчас о том же подумал. Когда мы сидели здесь на уроках, когда бегали наперегонки на переменах, разве могло прийти в голову, что через многие годы произойдет такое? — Арсен Саманчин встал, подошел к окну и распахнул створки.

— Что, душно, что ли? — спросил Ташафган.

— Да, воздуха не хватает, — ответил Арсен. Однако открыл он окно не затем, чтобы впустить свежего воздуха, а в надежде, что ласточки снова залетят, словно они могли его выручить. Но время шло, а они больше не появлялись. Стало быть, судьба пошла иным путем...

А Ташафган, еще больше набычившись в своем упорстве, что видно было по его становящемуся все более жестким взгляду, пошел напролом:

— Ты не думай, слушай, не такие мы дураки безмозглые, мы знали, что ты не согласишься, ни за что не пойдешь на такое дело. Для тебя ведь это преступление.

— Так оно и есть! — резко вставил Арсен Саманчин. — Преступление уже в самом замысле!

— Пусть так. Думай как хочешь. Но мы все равно это сделаем. И ты пойдешь с нами — или в одном строю, или штрафником на привязи — выбирай сам!

Стукнув кулаком по столу, Арсен Саманчин чуть не выкрикнул обычную школьную присказку: «Чтоб штаны тебе на голову напялили!», но сдержался.

— А если я не хочу никак?

— Не стучи по столу. Какой бы ты умный ни был, нас не переубедишь. Даже если сам Бог сейчас явится сюда, мы не отступим. И нечего тут рассуждать! Чтоб упустить свою с неба свалившуюся долю, надо быть последним идиотом. Двадцать миллионов на дороге не валяются!

— На дороге не валяются. Но откуда ты, Таштанбек — такое у тебя имя было, когда ты был нормальным парнем, — откуда ты взял, что это твоя доля? Да это же прямой грабеж и бандитизм! Ты куда гребешь, подумай!

— А туда, куда и вы все, грамотеи двадцать первого века, и первым в табуне — ты сам. В глобализацию такую-растакую, где каждому полагается доля от мирового богатства.

— Да ты спятил, при чем тут глобализация? Это совсем другое. Не буду объяснять, не время. Но твоя «глобализация» — что-то дикое!

— У нас свое понятие, не беспокойся.

— Ну и какое же? Любого банкира схватить за шиворот и тряхнуть — почему, мол, у меня башмаки дырявые?

— Ох ты, ух ты! Банкиров под защиту берешь?

— Да я бы вас обоих в одну лодку посадил и спустил по штормовым волнам глобализации, которую вы так чтите.

— Да ты что! Не сядет он со мной в одну лодку. Зачем ему — у него собственный пароход на две тысячи пассажиров имеется. У богатых своя глобализация — заграбастать себе на корню все богатства, у нас — своя: поделить и свою долю вырвать, где подвернется. И то, что мы, захватив в горах арабов, выдавим из них свою барымту, — наше право.

— Послушай, Таштанбек-афган, я же знаю, ты не дурак, ну как ты можешь говорить такое? Право! Какое право? Право на грабеж? Ничего не понимаю.

— И не надо! — бросил Ташафган в спину Арсену Саманчину, по-прежнему смотревшему в окно. А тот буркнул через плечо:

— Хватит с меня твоих комментариев. Слышать больше не могу.

— Можешь не можешь, однако постой и подумай, без этого, Арсен, тебе уже не обойтись. Ты уже в капкане. Но ты не один, мы все в капкане. Теперь обратной дороги нет. Грабители мы, говоришь? Вспомни: наши предки, если соседи не платили им за пастбища, за воду в реках, добивались выкупа — барымты, захватывая у них заложников, и получали табуны лошадей, стада рогатого скота, отары овец и коз. А теперь масштабы иные. Называй нас как угодно — бандитами, грабителями, ворами, — нам это, как говорите вы, горожане, до лампочки. Мы с тобой можем уважать или не уважать друг друга, терпеть или не терпеть — это нам тоже до лампочки. Только одно требуется от тебя — буквально с первой минуты, как появятся здесь эти охотники-миллионщики, не знающие, куда девать свои баблишки, ты шагу не ступишь без моего приказа. Не думай, что я буду на побегушках у шефа Бектура. У нас теперь своя охота — рыскать по зарослям и рвам, выгонять барсов под стрельбу, а пока суд да дело, пока охотники-ханзады будут прицеливаться, ловить по-снайперски хищников на мушку, мы захватим их самих, загоним в пещеру и потребуем выкуп. Кому что, как говорится... Слышишь, Арсен? Я все это не попусту болтаю, а чтобы ты знал, что к чему. Такая удача и во сне не приснится, тут сам Бог велит урвать... Пойми, посочувствуй. И службу свою переводческую подлажи-

вай так, чтобы доверие к тебе гостей было полным. Тогда, помогая им, послужишь и нам, когда мы заманим их в пещеру — вся надежда будет на тебя. Ты слышишь, Арсен, доходит то, о чем я толкую?

Арсен не отвечал, он стоял у окна опустив голову.

— Да ты не замыкайся, слушай. Нашей пятерке здорово повезло, что ты наш, айльский. Ты нас понимаешь, мы — тебя. И еще удача в том, что у гостей такие спутниковые телефоны. Когда из пещеры они будут звонить к себе домой — а это почти возле Африки, — то мы все будем знать об их переговорах через тебя и координировать свои действия. А без тебя мы ничего не сможем сделать... Дошло, наконец? Что молчишь, Арсен?

— Мне нечего сказать, — ответил тот. И оба замолчали.

«Дуйне ордундабы?» — «На месте ли мир»? Эта фраза, еще с детства не раз слышанная из уст односельчан по поводу самых разных жизненных ситуаций, теперь невольно всплыла в памяти. Да, внешне мир был на месте, включая школу, где он оказался столь невероятным образом. Да, окружающая среда могла оставаться такой, какая она есть, веками. Но мир внутри, в душе человеческой, в то же время, как он убедился на собственном опыте, может быть полностью сокрушен. И потому снова и снова кто-нибудь вопрошает: «„Дуйне ордундабы?“ — „На месте ли мир?“»

И — неожиданно в такой грозной ситуации — приходили на ум странные мысли, думалось: а где сейчас Вечная невеста, знает ли она, что «мир не на месте»? А знает ли об этом, обеспокоилась ли Айдана Самарова? Вряд ли: ей, конечно, не до этого. А знают ли горные твари, что предстоит на днях им, не подозревающим, что «мир уже не на месте»? Бродят, наверное,

барсы этим солнечным днем среди сугробов и лесных лощин, куда нога человеческая не ступает, по местам своим заповедным, выглядывая очередную добычу, а самки с детенышами возлежат, должно быть, на солнцепеке, тоже не подозревая, что «мир уже не на месте»...

А над ними летают парами горные соколы, строго и бесшумно, без лишних выкриков. Что они высматривают в вышине над горами, чего ждут, что предвещают?

А то, что «мир уже не на месте» и что нагрянет такое бедствие, какого они еще не видели, и принесут его люди...

И еще одна мысль бередила его: вот в двух шагах справа стоит бывший одноклассник его, Таштанбек-Ташафган. Это он виноват, что мир стал «не на месте», и, казалось бы, его следует возненавидеть самым жестоким образом, но почему-то Арсен Саманчин скорее жалел, что тот с такой убежденностью в собственной правоте нацелился на столь преступное дело. Ему бы чем другим заняться, но поздно, судя по всему, поезд уже ушел. Магия двадцати миллионов долларов куда сильней экстатических камланий тысячной толпы шаманов.

Будто угадывая его мысли, Таштанафган прервал паузу:

— Слушай, Арсен, размышлять можно до белой бороды. Но сколько ни думай — твое положение уже бесповоротное. Ты переступил порог и теперь сохрани себя.

— Почему ты решаешь, кому жить, кому не жить? Кто дал тебе такое право?

— А потому, что ты уже в таком положении, когда есть только два выхода: или ты с нами, и мы все, в том числе и ты, получим свою долю — или ты уходишь и предаешь нас. Тогда тебе, скажу прямо, — смертная месть.

Мы очень хотим, чтобы ты остался жить, но решать тебе самому.

— Да что ты все про долю! Никакая это не доля, повторяю. Это грабеж и преступление.

— Все, хватит! На войне только тот побеждает, кто действует. Я побывал в Афгане и кое-чему там научился. Слушай внимательно наш план действий. Прилет, встреча и всякие там любезности по адресу знаменитых гостей-охотников нас, нашей пятерки, не касаются. Мы как те кизячные слуги: огонь развели — и пошли вон. Однако мы конные, а на конях мы хозяева самим себе. Ты, Арсен, будешь с гостями круглые сутки. Работай добросовестно, не думай о нас, мы сами напомним о себе так, что у всех крышу снесет. Ничего не поделаешь. По-другому не получается. Но когда раздается сигнал к атаке, а сигнальщиком буду я, ты должен быть готов, мы в одном строю. После прибытия высокие гости отдохнут малость у твоего дядьки Бектура, а на другой день переместятся на стоянку Коломто, это уже высоко в горах. До половины пути — на бектуровском джипе и на других машинах. А выше — верхом на лошадях. Все продумано, все подготовлено, лошади будут оседланы, и держать их будут наготове. Ты пойми, Арсен, рассказываю все это тебе, чтобы одинаково понимать положение. Без твоих переводов мы никто, но и без нас дело тоже не сладится. Как, где и когда мы совершим захват? И каким способом потребуем выкуп? Ты ведь хочешь это знать? Так ведь? Что молчишь?

— Не знаю. Потом скажу.

— Ну так вот, прежде я расскажу тебе, что у нас есть. Оружие — самое первоклассное, стрелковое — это ясно. На тигра никто не пойдет с голыми руками, а снежный барс в горах пострашнее всяких тигров и львов. Вот

смотри, в любых цирках тигры, львы, волки и другие звери прыгают, танцуют под дудочку, а дрессированных барсов снежных ни в одном цирке нет. Зато шкура ценится барсовая, сам знаешь, потому и бизнес закрутили, как пишут в бумагах, «высокогорный элитный». Спасибо барсам, что они есть! Ну, что молчишь? Ладно, помалкивай, думаешь, конечно, что я много болтаю. Может быть. Но надо знать свое дело так, чтобы ни на чем не споткнуться. Бывает, спотыкаются на муравье, а слон убегает. Не смешно тебе, Арсен?

— Пока нет.

— Теперь еще кое-что о том, как, где и когда предстоит совершить захват. Есть в этом деле одна деталь — имей в виду, для охоты в горах из Кувейта прислали партию громкоговорителей, чтобы перекликаться на расстоянии, телефоны здесь не достанут, вот и нашли выход: будем перекликаться с горы на гору — как во время демонстраций на площадях, по телевизору показывают. Какое-то еще название есть у этих громкоговорителей. Не подскажешь?

— Рупор?

— Нет, как-то еще по-другому.

— Мегафон.

— Правильно. У тебя будет свой рупор-мегафон. У нас у каждого уже есть, скачем на коне и кричим в рупор. Все разговоры и команды во время охоты будешь переводить тотчас на английский и с английского. Барсам некуда будет деваться. Оглохнут, пожалуй. Но к чему веду разговор — все будет зависеть от тебя. Как заявишь это самое, ну, как его, слово такое есть — придушу, мол, гад, если не сделаешь то-то и то-то... — Таштанафган нахмурил лоб. Арсен Саманчин понимал, что тот говорит об ультиматуме, но не хотелось подсказывать. Однако пришлось:

— Ультиматум, что ли?

— Ну конечно. Вот на кончике языка вертелось, а вспомнить не мог. Сейчас не до шуток, но тут один наш акын молодой пел так: «Мой конь Ультиматум, на нем я скачу, пусть встречные падают ниц предо мной». Ерунда, но «мой конь Ультиматум» мне понравился. Но это так, к слову. Так вот, главное — ультиматум, чтобы заложников сразу в нокаут. Мы их загоним в пещеру, разоружим и разуем — попробуй голыми ступнями по скалам бежать... Опять же, Арсен, хочу, чтобы ты понял: или мы выбиваем наши двадцать миллионов — или я в пещере взрываю противопехотную мину, она уже заложена там.

— Ты заложил мину в пещере?! — воскликнул пораженный Арсен Саманчин.

— Да, я этим делом занимался в Афгане. И это мой ультиматум! Присылаешь двадцать миллионов — выходишь, нет — взрыв и всему конец! Ты что так смотришь? Я нормальный человек, сам знаешь, но такой шанс лишь однажды в наших горах может представиться, больше никогда не будет. Барсы сбегут за перевал. Ладно, ближе к делу. Почему я говорю, что все будет зависеть от тебя? Потому что все команды и указания по громкоговорителю придется тебе передавать и на английском языке, и на нашем, и, конечно, на русском, который все знают — и стар и мал. Собственно охотиться будут только два человека — гости, ты — все время рядом с ними, наша конная пятерка — по сторонам, а вся прочая обслуга — позади. И твой дядя будет молить Бога, чтобы послал удачу. Пусть молится, а мы тем временем вместе с тобой, Арсен, по моей команде загоним гостей в пещеру, разоружим и — самое главное — поставим вопрос, чтобы выкуп за пленных, наша барымта, лег нам, как говорится, на стол

в наличных купюрах в течение двадцати четырех часов. Сутки даются на выполнение ультиматума. И сразу оговорим, что продления не будет. Или деньги наличными — или головы «наличными». Вот ты, Арсен, помалкиваешь, тебе все это не по душе, понимаю, но объясню то, что наверняка хочешь узнать. — Ташафган действительно многое угадывал. — Ты хочешь знать, как практически это можно сделать? А вот как. В их ближневосточных банках зимой и летом, днем и ночью хранятся в сейфах миллиарды наличными. Двадцать миллионов долларов для них — раз плюнуть. Деньги укладываются за пять минут пачками по пять миллионов в четыре коробки размером шестьдесят на восемьдесят пять. Весом каждая коробка будет ровно по двадцать килограммов, всего восемьдесят килограммов. Как перевезти? Самолетом девять часов лету. Они дают распоряжение — и все тут же исполняется. Каким способом, находясь в пещере в горах, передать такую информацию? Сам знаешь — по спутниковым телефонам, которые при них всегда и по которым можно звонить куда угодно — вплоть до космоса. Контролировать звонки будешь сам, оставайся всегда рядом, не отлучайся ни на минуту. Ты все молчишь, Арсен, не хочешь вмешиваться в это не то что скандальное, а просто-таки неслыханно преступное дело? Но я все просчитал, продумал, как видишь, и добьюсь своего. Думай как хочешь, но выполнять мои приказы тебе придется беспрекословно. За это получишь в итоге свою долю. А сочтешь, что для тебя это отвратительно, — можешь отдать нам, мы не откажемся. Это твое личное дело. Все молчишь? Ну, чтобы у тебя не было уж вовсе никаких сомнений, что цель достижима, еще скажу, что тот момент, когда мы загоним гостей в пещеру, также продуман. В первой зоне, возле Коломто, они должны расположиться в уще-

лье близ пещеры таким образом, чтобы видеть местность вокруг. Наша пятерка к тому времени — думаю, удастся — подгонит поближе одного снежного барса, мы уже давно его там заприметили и прозвали «башкастый-хвостатый». Огромный, голова — как полная луна, хвост опрокидывается назад до загривка... Все лето бродит зверюга под перевалом Узенгилешским, как будто чего-то ожидает. Вот его и подгоним в первую очередь, а получится, так и подраним малость, чтобы не так скоро бегал. И будем наготове, чтобы этих самых крупных на Ближнем Востоке богачей загнать в пещеру, где, бывает, чабаны ночуют по пути на пастбища. Пусть посидят там немного. И вот тут, Арсен, хочешь не хочешь, но придется тебе выполнить самую ответственную задачу. Это ты объявишь наш ультиматум гостям. А мы окружим пещеру с автоматами в руках и будем охранять. Ребят я подготовил, обучил, а ты скажешь ханзадам, что они обречены каждый на десять миллионов выкупа в течение двадцати четырех часов — и только в этом случае останутся живы. Потом сразу выйдешь из пещеры и прокричишь в мегафон во всю мощь сначала на английском языке, затем на нашем, что арабские гости взяты в заложники, что им предъявлены условия выкупа — цифру вслух называть не будешь — и что объявляется чрезвычайное положение. Никому — ни местным, ни приезжим — с места не двигаться, при малейшей попытке приблизиться к пещере будет открываться огонь на поражение, пощады никому не будет. А если в течение двадцати четырех часов условие не будет выполнено...

Невероятных усилий стоило Арсену Саманчину сдерживаться, выслушивая речь бывшего одноклассника о его роковых намерениях. Но остановить фатально запущенный механизм уже было невозможно. Осуждая Ташаф-

гана, он — странное дело — не переставал в то же время удивляться, насколько тщательно была продумана им совсем не простая операция по захвату заложников. Сожалел, наблюдая за бурными жестами и сверкающими решимостью глазами бывшего друга своего, что такая энергия и убежденность направлены не на благое дело. Одновременно пронеслись в голове Арсена другие, страшные и причудливые мысли. Очень хотелось, чтобы и этот проклятый Эрташ Курчал оказался в той пещере с заложниками, и не просто оказался, а чтобы Арсен сам загнал его туда пинками под зад. Стыдно, унизительно и несерьезно было так думать, а вот думалось. И пусть бы возопил в страхе этот надменный, презренный шоу-бизнесмен, положивший бревно поперек пути Вечной невесты и Айданы Самаровой, и никакого выкупа с него, ни копейки — пусть дожидается пули в лоб... И еще нелепо подумалось мимоходом, что, значит, ласточки так неистово щебетали не зря — пытались предупредить. Вот и сбылось... Смешно и грустно... Где вы теперь, ласточки?..

Время приближалось к полудню, а Таштанафган никак не мог остановиться — возможно, то было подспудным стремлением самоутвердиться и лишний раз убедить самого себя, — теперь он затронул тему результатов захвата заложников.

— Вот ты, наверное, думаешь, Арсен, что мы только и жаждем получить добычу, а что потом, как быть, куда деваться с четырьмя коробками долларов, не знаем. Ведь когда заложники освободятся, на нас накинута все стоящие наготове спецназовцы, это понятно. Не беспокойся, Арсен, это тоже продумано. У нас в запасе будет семь часов нейтрального времени. Хочешь знать, что такое нейтральное время и что оно дает?

— Попробуй объяснить. Хотя разговор этот для меня — как камень в печенку. Я бы хотел разговаривать

с тобой совсем о других вещах. А ты в окоп свой залез и оттуда палишь, ничего вокруг не видя.

— Если я в окопе, как ты выразился, то и ты теперь с нами в том же окопе. Будем вместе держать оборону. А про нейтральное время я тебе вот что скажу. Когда мы добьемся своей цели, когда нам доставят в ущелье Коломто, поближе к самой пещере, выкуп за арабских гостей и мы убедимся, что все в порядке, вот тогда ты выйдешь на пригорок со своим громкоговорителем-мегафоном и во всеуслышание прокричишь на английском и нашем языках, что мы объявляем нейтральное время продолжительностью в семь часов. Заложники остаются в пещере живые и здоровые, с водой и пищей, а мы уходим своим путем. Ты сообщишь, что, начиная с этого момента, в течение семи часов вход и выход из пещеры запрещены, она остается заминированной особыми чеченскими минами с часовыми механизмами, которые перестанут быть опасными только через семь часов. И повторишь это три раза. Это будет наше последнее слово. Пусть ждут, а мы тем временем удалимся, нагрузив по две коробки в брезентовых сумках (они у нас тоже готовы) на двух лошадей. И кони готовы — у шефа Бектура отличные кони. Это те, которых мы заберем у арабов. И все мы, с вьючными конями на поводьях, быстро двинемся в сторону Узенгилешского перевала. Пути все хорошо изучены. Опасности нет. Перед самым перевалом нас будет ждать к тому часу караван наших семей, прибывших с летовок. Это тоже все оговорено. Так что не беспокойся.

Арсен Саманчин молчал. Чем больше он вникал в этот зловеший, но отлично продуманный диверсионный план, тем больше убеждался в своей обреченности. Отмежеваться от таштанафгановской пятерки простым несогласием, личным нежеланием участвовать в их ак-

ции уже не удастся, ибо, посвятив его в свои замыслы, они самим этим фактом связали его по рукам и ногам перед совместным вхождением в ад.

— Да ты не переживай так, — заметил Таштанафган. — Риск есть, но дело того стоит. Я ведь зову тебя в это дело честно, без обмана, с полной откровенностью. Так бывает, когда в горах срывается лавина, — все уходит в пропасть вместе с ней, и только несколько птиц успевают спастись, взлетев. Может, мы и будем такими птицами?

Арсен Саманчин пожал плечами:

— Я ни о чем не допытываюсь. Как скажешь. Но думаю я по-своему.

И в это время неожиданно зазвонил его мобильник. Оба встрепенулись... И то, что Арсен начал отвечать по-английски, еще больше насторожило Таштанафгана, он придвинулся поближе, точно мог что-то понять, и внимательно вглядывался в лицо Арсена, который вдруг оживился, вновь стал самим собой, и голосом, и выражением лица. Беседа длилась минут пять. Отключив телефон, он объяснил Таштанафгану, уловившему в разговоре только имя, которое называл Арсен: «Да, Боб! Хорошо, Боб!», что звонил пресс-секретарь Хасана Роберт Лукас и сообщил — это будет подтверждено факсом в офис фирмы «Мерген», — что на 15 июля намечен прилет подготовительной группы в составе трех человек, они привезут альпинистские спальные мешки новой модели для высокогорной снежной зоны и другое снаряжение охотников. И еще этим же бортом придут два кинооператора, чтобы снимать пейзажи и саму охоту для будущего фильма. Лукас просил встретить их всех.

— Ну вот видишь, дело пошло, — деловым тоном сказал Арсен. — Придется послезавтра выезжать в Аулиеату, в аэропорт, ну, об этом еще с шефом переговорим. —

Чтобы как-то завершить разговор с Таштанафганом, он прошелся по классной комнате и, оглянувшись на окно, добавил раздумчиво: — Пора, Таштан, надо мне с шефом пораньше повидаться.

— Так он же на Дасторкан уезжал, не приехал, наверное.

— Должен уже скоро прибыть, — неопределенно промолвил Арсен Саманчин. — И вообще, мне кажется, мы с тобой достаточно потолковали. Надо делом заниматься.

— Надо, надо, конечно. Но среди разных дел бывают самые важные. Чтобы у тебя не осталось никаких сомнений, скажу тебе напоследок, Арсен: все должно пойти по нашему плану, только так и никак иначе. Что у тебя на уме — дело твое, но быть готовым к исполнению моих приказов ты обязан — это как последняя минута перед смертью. И не смей думать, что я болтаю! Или что я сумасшедший! Я в здравом уме и в силе. Ты теперь с нами повязан. Я не унижаю тебя, наоборот, как человек ты больше, значительнее меня, но момент такой — мои приказы подлежат немедленному исполнению. Выражать несогласие поздно. Мы тебя не звали сюда, в аил, ты сам явился. И запомни: мы не бандиты, хотя для всех мы завтра станем таковыми, мы просто отбираем свою долю. Другого выхода нет.

— Хорошо, — прервал его Арсен Саманчин, — ты видишь, что я внимательно выслушал тебя. Ты принуждаешь меня, я же должен решать сам.

— Понимаю, на твоём месте я бы то же самое сказал. Но, повторяю, мы не отступим. Каждый из нас получит свою долю, и ты тоже, не раньше чем через неделю после нашего ухода, когда мы уже будем на афганской стороне Памира. Путь туда через горы караваном — моя забота, я эти края знаю. Сейчас лето. Пройдем, не сомневаюсь. Потому мы и берем с собой семьи. Оставить их нельзя.

Будут их наказывать за нас. Тебе легче — ты холостяк, но все еще у тебя впереди. Накануне захвата заложников, как я уже сказал, наши семьи перейдут под Узенгилешский перевал, чтобы оказаться на нашем пути. Но никто, ни одна душа из наших пяти семей не знает того, что предстоит в ущелье Коломто. Их это не касается. Мы уйдем за границу и там, среди афганских кыргызов, живущих яководством, найдем первое пристанище. А детям со временем дадим высшее образование в Китае, Индии или Пакистане — деньги теперь будут.

Снова зазвонил телефон. Это был сам шеф Бектур.

— Ты где, слушай? У тебя какие новости?

— Я сейчас в школе. Сюда мы с Таштанафганом решили заглянуть. Вспомнить школьные годы. И коня мне подвели. Хороший конь, я доволен, байке. Новости на этот час такие — звонил пресс-секретарь Роберт Лукас. Послезавтра прибывает подготовительная группа — три человека и два кинооператора. Сами гости — через сутки после них. Да, я скоро подойду в офис, и все решим. Не беспокойся, все будет в порядке. Все идет по графику.

То, что, разговаривая с шефом — своим дядей Бектуром, Арсен не подал виду, что с ним тут происходит, кажется, успокоило Таштанафгана. А Арсен Саманчин непринужденно сказал:

— Ну вот, шеф велит явиться, там куча дел, сам знаешь. Давай, Таштан, закругляться. Я пойду.

— Хорошо. Значит, учти: будет один знак — в тот день я надену свою сержантскую фуражку, советскую, с козырьком и красным околышем. Если я буду в фуражке, значит, действовать во всем по моему приказу. Ясно? И еще — слушай внимательно! — не пытайся сорвать нашу операцию. А то все кончится плохо. Мы ни перед чем не остановимся. Или мы получаем выкуп — или гости будут убиты, на охоте или в пещере.

Отсюда делай выводы. А если ты хоть словом обмолвишься дяде своему, еще хуже будет — перестреляем всех, никого не оставим. Если попытаешься сбежать и умыть руки, по дороге догоним, а нет, так в городе достанем... Очень прошу тебя, пойми, не от хорошей жизни угрожаю тебе — другого выхода нет. Все! Больше ни слова! А сейчас постой, пусть зайдут сюда мои напарники. — Он выглянул в окно и крикнул: — Эй, Култай, давай зови всех. Заходите сюда.

— А зачем? — удивился Арсен.

— Сейчас узнаешь.

Парни, так терпеливо сторожившие все это время школу и пустынный двор, тут же явились все вчетвером. Когда они вошли в класс и встали в шеренгу, Таштанафган сказал им командирским тоном, указывая на Арсена Саманчина:

— Докладываю: мы все обсудили, все вопросы решили. А теперь каждый из вас пусть подойдет и скажет что требуется.

Первым шагнул к Арсену Саксан-лохмач.

— Только так, и никак иначе! — сказал он и отошел в сторону. За ним последовали остальные:

— Только так, и никак иначе!

— Только так, и никак иначе!

— Только так, и никак иначе!

В заключение Таштанафган спросил:

— Ну, Арсен? Все ясно?

— Так точно! Как в армии: приказ превыше Бога.

— А у нас в Афганистане говорили: без приказа не живи, даже к девке не ходи. Теперь нас шестеро. За работу! У Арсена свои дела. Саксан будет со мной на связи. А вы втроем — Култай, Жылкыш, Жандос — на разведку с ночевкой, завтра чтобы к обеду вернулись. Присмотрите, в каких местах будет легче находить зверье. А того, башкас-

того-хвостатого, который ошивается у перевала, если заметите, пока не беспокойте. Но продумайте, как, по каким тропам удобней будет подогнать его поближе к ущелью Коломто. Оружие берите в полном комплекте — для охраны коней. Главное — придумать, на каких местах будем стоять с биноклями, когда начнется охота. А теперь — по коням. Да, не забудьте ключи отдать сторожу, где он там пьянствует, найдите.

На том они и разошлись уже в школьном дворе. Коня арсеновского увели, а сам он пошел по улице к бывшей колхозной конторе, где располагался теперь офис фирмы «Мерген» и где ожидал его шеф — Бектур-ага. Не успел Арсен Саманчин сделать и сотни шагов, как Таштанафган подскочил на коне, слез с седла и пошел рядом, держа коня в поводу. Толковал все о том же. Предупреждал: если что не так — всем каюк, из автоматов в упор. А если выкуп прибудет, ни у кого и волосок с головы не упадет.

Так шли они вдвоем в тот час полуденный по наклонной главной улице предгорного Туюк-Джарского айла, шли после тяжелого разговора, так и не найдя согласия, два бывших одноклассника, даже ростом одинаковые и шириной плеч, шли в сторону бывшей колхозной конторы, взаимоприговоренные к одному и тому же исходу задуманного действия, — Арсен Саманчин, так и не поддавшийся вербовке, и Таштанафган, полагавший, что ему удалось принудить Арсена войти в их разговор.

Они бы еще продолжили тот роковой разговор, если бы не появился навстречу всадник рысью. Оказалось, послал его шеф Бектур за Таштанафганом, чтобы тот прибыл в офис для получения задания. Всадник — его звали Орозкулом — спешился: неудобно было сидеть верхом на коне, когда такой человек, как Арсен Саманчин, к тому же племянник самого Бектургана Саманчина, шел пешком по улице. Теперь они шагали втроем, Арсен — между двумя ездовыми конями на поводу. И это было, как он потом убедился, точно повеление судьбы — идти ему в тот час по Туюк-Джарскому айлу пешком.

Шли спокойно, переговариваясь о том о сем, здороваясь с пешими и едущими на осликах земляками, многие айльчане выглядывали из дворов, окликали и здо-

ровались с ними. Все-таки Арсен Саманчин был для них популярной личностью, многие гордились, что он туюк-джарский. Возле одного двора старушка, сидевшая у ворот, привстала, чтобы поздороваться. Они тоже приостановились, и в это время, как по заказу, появилась откуда-то ловкая молодая женщина с небольшим фотоаппаратом в руках. Она была стройная и обликом очень приятная — смугловатая, живо улыбающаяся, с сияющими глазами и, пожалуй, приезжая, если судить по прическе, по джинсам и приоткрытой спортивной кофточке.

— Здравствуйте. Ой, как хорошо, как красиво вы идете втроем! Наш Арсен-ага посередине, а по бокам вы с конями! Отличная тройка! Разрешите, я сфотографирую вас, получится классная фотография! Это я обещаю! Нет, вы не стойте, продолжайте шагать, я успею, забегу спереди! А вы знаете, у меня цифровой фотоаппарат!

— Цифровой? — подивился Арсен Саманчин. — Укмуш! (Здорово!)

— Так я же челночница, а зовут меня Элес, я из соседнего Тюмен-аила, а здесь у меня сестра, приболела она. Так, так! Держитесь поплотней, а поводья держите покороче. Вот так, прекрасно! Я тоже иду в «Мерген».

И пока она живо передвигалась, жестикулируя на ходу, ловя их в объектив, Арсен Саманчин почувствовал вдруг неожиданное облегчение, будто бы могла она прикоснуться рукой на расстоянии и исцелять душу, освобождая ее от безысходного тяжелого груза переживаний, угнетавших его после разговора с Таштанафганом. Тогда-то и дошло до него вмиг, как важно для уверенного самочувствия, чтобы «мир был на месте». И потому ему хотелось, чтобы она фотографировала еще и еще, и потому запомнил ее имя с первого раза — Элес,

связанное с понятием воспоминаний и впечатлений. Само это имя приносило разрядку своей яркостью и краткостью.

А Элес тем временем попросила их задержаться и стала показывать на экране фотоаппарата готовые изображения. «Смотрите, великолепно — тройка джигитов!» Все были довольны. Таштанафган заметил: «Вот вам современная техника!» А Арсен Саманчин назвал ее по имени:

— Спасибо, Элес! Давай сфотографируемся все вместе, только кто будет нашим фотографом?

— Ой как здорово! Я очень хочу сняться с вами на память, — воскликнула она и, заметив проходящего мимо молодого парня, попросила: — Слушай, Балабаш, сфотографируй нас. Нажмешь вот на эту кнопку.

Тот охотно согласился. И тогда они встали перед объективом все вместе — Арсен и Элес в середине, а те двое по бокам с конями на поводу. Стоя бок о бок, Арсен сразу уловил гибкость и ласковость ее тела и успел теснее прижаться к Элес, а она не отклонилась, тоже прильнула на секунду. Когда паренек щелкнул фотоаппаратом, Арсен поспешно сказал:

— Спасибо, Балабаш, но давай еще разок, повтори. — И опять они слились в мгновении магнетизма...

Потом они разглядывали, что получилось. Элес очень довольна была:

— Ой, как хорошо вышло, Арсен-ага, как по заказу, никогда и не мечталось о таком!

Разглядывая изображение на экранчике, Арсен спросил:

— Как насчет фотографии, Элес, можно будет получить? Где?

— Конечно, Арсен-ага, постараюсь сделать на днях. Вы еще не уезжаете?

— Пока нет, мы тут мерген-бизнесом занимаемся.

— Я тоже буду эти дни здесь. В «Мергене» попросили фотографии сделать для фирмы и для гостей. И еще сам шеф дал задание, чтобы для гостей, когда они вернутся с гор после большой охоты, устроить айльные песнопения. Девушки будут петь. Из Тюмен-аила прибудет акын Баялы. И я хочу спеть одну песню под аккомпанемент комуза.

— Вот как? Значит, концерт будет? Получится — так послушаем и мы.

И они пошли дальше вместе. Арсен спросил между прочим:

— Элес, а ты что, профессиональный фотограф?

— Ой, нет, не совсем. Я бывшая библиотекарьша. Училась когда-то в пединституте. У нас был свой автобус, на котором мы развозили по области нужные книги, автобус мы называли библиобус. Ну а потом все прекратилось. Библиобус приватизировали. Зарплата — сами понимаете. На пятнадцать долларов в месяц не проживешь, вот и пришлось другими делами заняться.

— Понятно, — пробормотал Арсен, а Таштанафган глянул на него очень многозначительно, безусловно желая сказать: видишь, мол, как обстоят дела. Пятнадцать долларов люди получают, а тут двадцать миллионов грядет, а ты артачишься!

Орозкул уже уехал. Арсен Саманчин удивлялся, что Таштанафган не садится на коня, чтобы побыстрее приехать к шефу Бектуру. Но тот не спешил. Ну и пусть, думалось Арсену. Не хотелось вспоминать то, что произошло между ними совсем недавно, слов не находил тому. Если в колодец упадут двое, как они выберутся оттуда, если один вниз тянет, а другой — вверх?

Неужели Элес интуитивно почувствовала нечто и появилась вдруг, чтобы облегчить, сама того не ведая,

страдания его — одинокого, отверженного, обреченного, оказавшегося в этой ситуации не по своей воле? Как было избавиться ему от назойливого преследования судьбы? «Прочь, подальше отсюда, и не думать», — в отчаянии убеждал он себя, пытаясь отрешиться от терзающих душу переживаний, и еще больше прониклся прибывающей верой в то, что Элес, случайно оказавшаяся рядом и ничего не подозревающая, появилась, чтобы спасти его... По дороге она охотно рассказывала ему, что занимается оптовой челночной торговлей. Ездит на поезде от Аулиеаты до Саратова, потом самолетом — до Москвы, покупает там оптом разные ходовые товары за одну цену, привозит и продает торговцам за другую. Имеет десять—пятнадцать процентов выгоды, так и перебивается. Здоровье пока позволяет. И все, что она рассказывала ему, почему-то действовало на него успокаивающе. Почему и как, что с ним вдруг произошло, объяснить себе Арсен Саманчин не мог. Почему так влекло его к ней, к этой обаятельной, неожиданно встретившейся только что женщине? Он еще ее не знал, но увидел в ней обещание любви и защиту — защиту, дарованную в момент, когда ему было остро необходимо остаться самим собой, не потерять себя из-за страха и слабости. Сейчас ему хотелось, чтобы сели они в его «Ниву» и укатили в город — как раз к полуночи, глядь, и прибыли бы. А там огни, музыка...

Но пока они шли по деревенской улице, и все встречало их добром — собаки выбегали, дымились летние трубы, хозяева выглядывали из дворов, приветливо здоровались... Единственное, что успел сказать ей Арсен, пока шли они к бывшей колхозной конторе, — это чтобы она обращалась к нему на «ты»: разница в возрасте не такая уж большая, потому удобней, когда оба гово-

рят друг другу «ты». И еще успел спросить уже перед входом в офис, долго ли она пробудет здесь. Элес ответила:

— Я буду тебя ждать, Арсен, столько, сколько надо.

А он:

— Хорошо, что ты есть...

Народу в офисе, и во дворе, и на улице было полным-полно. Весь аил жил предстоящим событием — ожиданием зарубежных охотников. Ажиотаж царил необыкновенный. Детвора носилась перед конторой взад-вперед. И рассказывали, что приверженец тенгрианской религии уговаривал близких ему людей совершить молебен, обращенный к горам Узенгилешским, с тем чтобы горные ветры способствовали охоте — чтобы выгоняли из логова снежных барсов. Аильный мулла не преминул укорить тенгрианца: обращаться следует к Всевышнему, к Аллаху, а не к ветрам. Но все это, как говорится, вокруг да около. В фирме же «Мерген» во главе с шефом Бектуром проводили совещание не только по подготовке к самой охоте, но и по размещению и обслуживанию свиты важных гостей. Старики с удовольствием отмечали, что после колхозных собраний, в которых участвовали обычно все мужчины и женщины, но, к сожалению, канувших уже в историческое прошлое вместе с достопамятным социализмом, это первое в аиле подобное мероприятие. И шутили, что устроен такой сбор «по указанию» великих снежных барсов.

Кто-то занимался делом, а кто-то из любопытства околачивался вблизи — вдруг и он согдится на что-нибудь. Арсену Саманчину нравилась такая атмосфера. Со многими односельчанами он давно не виделся и вот теперь встретился. Одно лишь смущало и внутренне угнетало — то, что отношение односельчан к Таштан-

афгану было очень радушным, он пользовался у них популярностью и авторитетом. И вел он себя соответственно: словно бы и не таил в себе ничего такого, что скоро повергнет в шок всех здесь присутствующих. И совсем не смешно было Арсену, когда ему пропели частушку, которую сочинили про Таштанафгана айльские женщины:

Эй, Афган, эй, Афган,
Подари мне караван.
С караваном я пойду,
Деток тебе нарожу,
Ни копейки не возьму,
Только дай мне на еду.
Эх, караван, эх, караван,
Эй, Афган, эй, Афган...

Да, подумалось Арсену Саманчину, хорошо бы, чтобы эти безобидные шуточки айльские не обратились для вас другими, трагическими фольклорными жанрами...

И в этой пока еще благополучной, но подспудно уже таившей в себе неслыханную для здешних мест угрозу атмосфере «чудесное» (так он определил для себя) появление Элеса и то, как влюбился он в нее, сколь ни банально это звучит, с первого взгляда, с первой минуты, воспринималось Арсенем Саманчиным как особый знак судьбы, явленный именно в тот момент, когда затянувшееся одиночество выжгло его душу, превратив ее в безжизненную пустыню. Так расценил он эту встречу, ставшую для него действительно спасительной в событиях того дня. А для его односельчан в этом эпизоде не было ничего приметного, бросающегося в глаза, они не обратили на него даже мимолетного внимания, не придали ему ни малейшего значения. Элес постоянно бы-

вала здесь у сестры, была для них своя, из ближайшего соседнего селения — Тюмен-аила, то есть Нижнего аила (не отсюда ли, подумалось ему, происходит и название Тюменского края в Сибири).

Обсуждая охотничьи дела с дядюшкой своим — бородатым шефом Бектуром, Арсен умудрялся нет-нет да и подумать всерьез, не выйти ли сейчас на улицу, не окликнуть ли Элес, не взять ли за руку, добежать до сестринского двора, сесть в «Ниву» и укатить вместе с ней через горы и долины в город, в свой мир, в свою стихию, не чуждые, судя по всему, и для нее. И что еще мельком отметил он про себя с удивлением — и Айдана, и ее зловещий шеф Курчал почему-то вмиг забылись, угасли в сознании, не до них стало... Должно быть, и кумиры меркнут, и враги уходят в тень...

Вот если бы и впрямь укатили они вместе с Элес в город, как в океане на маленькой лодке, качались бы на волнах музыки и огней, вот было бы счастье! Стоп! А как же обещание, данное дяде, родственник долг, ради которого он прибыл сюда? Нет-нет, никуда ни шагу. А тут еще Таштанафган и иностранные заложники, которым он уготовил пещеру. Пока это лишь угроза, но чем она обернется завтра? Как тут быть? И никому нет дела... Знали бы...

* * *

Было, однако, кому переживать и мучиться, исходя стонами, томясь одиночеством и страхом. То был Жаабарс под Узенгилешским перевалом. В последние дни все чаще стали появляться здесь какие-то верховые, высматривающие что-то в поднесенные к глазам бинокли и умеющие выкрикивать в трубы так, что содрогались горы вокруг. Вот и теперь прискакали трое на конях. Опять высматривают что-то, перекликаются...

А он нет бы скрыться куда-нибудь — не уходит, поводя огромной головой и вскидывая на спину до задривка хвост... Знал бы Жаабарс, что конники заприметили его, называют между собой «башкастый-хвостатый». Вон он, мол, все там же бродит...

И тогда зарычал Жаабарс глухим стоном: «Зачем, зачем вы здесь? Что вам тут надо? Не мешайте, скоро горы рухнут, и вам тоже будет худо...»

* * *

Ближе к вечеру Арсен Саманчин все же не устоял, очень хотелось ему удалиться-уединиться с Элес. Выяснялось в разговоре с шефом, что вечер будет относительно свободным, что постоянное присутствие и переводческая работа начнутся на другой день. С утра предстояло им выезжать вместе в Аулиеатинский аэропорт для встречи подготовительной группы и кинооператоров. А еще через день — уже самих охотников. Договорились по деталям, которые Арсен занес к себе в блокнот и пошел было на выход, когда его догнал Таштанафган:

— Слушай, Арсен, ты, если уходишь, запомни — завтра приведут тебе коня твоего, чтобы во дворе у сестры твоей находился. В любое время под седлом...

— Хорошо, пусть приводят. Я уже поездил на нем верхом.

— А когда тебе оружие привезти? Винтовка полагается, и еще о пистолете ты спрашивал, тоже будет, автомат тоже выдадим. И еще тот самый громкоговоритель, репродуктор, о котором мы уже говорили.

— Пусть лучше не сегодня, а завтра привезут. К вечеру, часам примерно к шести, когда мы вернемся с шефом из Аулиеаты. И чтобы оружие лично мне в руки передали.

— Ну конечно, лично в руки. По распоряжению шефа, под расписку. А ты как думал? Да, Арсен, и еще вот самое главное. Давай-ка отойдем в сторону.

Они зашли за угол и стали медленно прохаживаться там взад и вперед.

— Так вот, самое главное, — начал Таштанафган, — сейчас мы разойдемся и увидимся, пожалуй, уже в горах, на Молоташе. Ты туда с гостями прибудешь, а мы уже там обоснуемся. Надо побродить, полазить по скалам, где на конях, где пешком. Но как только я надену свою военную фуражку с красным околышем — она у меня еще с Афганистана осталась, я уже говорил тебе о ней, — тогда выполняй все, как будет приказано. Не забудь: фуражка на голове — это приказ.

У Арсена Саманчина в ушах зазвенело, кровь прилила к голове:

— Слушай, ты подумай: что ты устроишь! Остановись, пока не поздно.

— Ты что! Тебе жалко двадцати миллионов этих мировых паразитов для наших пастухов?

— Распределение должно не так происходить.

— Ну да, через революции, через реформы, и тоже — кто сколько нахапает. Буду я ждать!

— А то, что ты хочешь устроить, — это теракт! Пойми, наконец!

— Ну и пусть! Мы берем свою долю.

— Не будем сейчас дискутировать. То, что ты задумал, — полная катастрофа для всех нас. У них свои охранники, кровопролития не избежать.

— Не беспокойся, в любом случае тебя мы не тронем, если ты переведешь на английский то, что мы скажем.

— Я не о себе. Скажу не скажу. Послушай! Ну не на дуэль же мне тебя вызывать.

— На дуэль так на дуэль! Ты готов лишиться нас нашей доли от этого глобализма?

— Опять! Оставь ты глобализм в покое, даже если ты прав по-своему.

— Ну что ж, если так, Арсен, подумай о своем, а я подумаю о своем. Время еще есть. Целых три дня. Фуражка моя приготовлена. Пока, до встречи. — И, уже уходя, Таштанафган добавил еще, обернувшись и теребя волосы на затылке: — Я знаю, как ты чувствуешь себя, вот если бы мы сейчас обматерили друг друга, чтобы на всю округу слышать, может, полегче бы стало. Но подумай и обо мне, что со мной происходит. Утопиться хочется, а жить надо. А уж если жить, то жить безбедно, хватит, черт возьми, этим дьяволам измываться над нами! Детям в школу не в чем ходить, нищета, мы пастухами бродим, как те, кого вы в городе бомжами называете. Так пусть знают гады, которым вы в газетах зады лижете, пусть зарубят себе на носу: мы теперь будем их, богачей, за глотку хватать!

— И ты полагаешь, что в фуражке придешь — и айда, все схватишь-заладишь? Да проблем от этого только прибавится... Не тем глазом смотришь на мир.

— Ну и хрен с ними, с глазом, с проблемами... А фуражка будет на моей голове!

— Подумай, прежде чем надеть.

— Сам подумай. Ну пока.

С тем и разошлись, еще больше озабоченные и раздраженные, так и не найдя взаимопонимания и согласия между собой. Однако интуитивно осознавали они взаимную обреченность свою, предчувствовали, каким будет исход того, чему предстояло произойти там, в глубине Тянь-Шаньских гор, где обитали в ущельях, балках и лощинах те самые снежные барсы, которые тоже могли невольно оказаться сопричастными акции

захвата. Но откуда было знать об этом снежным барсам, даже если бы дано было им думать и судить?..

Впрочем, не думалось ни о чем подобном в тот момент и Арсену Саманчину. Возможно, поддавшись мимолетной иллюзии, оставшись один, он облегченно вздохнул, глубоко и отрадно, точно бы вырвался в то мгновение на поверхность с опасной глубины, и ощутил упоение новых страстей. Но разве любовь может возникнуть так внезапно, без предыстории, нахлынуть в одночасье? Или это скорая помощь судьбы для души его, над которой нависла дикая угроза соучастия в теракте?

А Элес как знала, что с ним творится, ждала его, сама окликнула в окошко:

— Я здесь, Арсен!

Оказалось, только это ему и требовалось. С полуслова поняв друг друга, они сразу решили, что она сейчас пойдет в сестринский дом, а Арсен сядет в «Ниву» и подъедет ко двору, и отправятся они вместе куда-нибудь далеко, куда глаза глядят, погулять, побыть вместе. Что самое радостное — она разделяла его настрой. Когда Арсен подъехал ко двору, Элес была уже готова, вышла улыбающаяся, с рюкзачком за спиной, а в руках держала гитару и еще плюшевое одеяло на плече.

И они поехали, сидя рядом, и всякий раз, взглядывая друг на друга, испытывали прилив счастья. Верная «Нива» несла их на счастливых колесах по счастливой дороге, и весь мир, оставаясь прежним, стал иным, недоступным для обыденного восприятия. А они любовались и восхищались им. В нем, в этом изменившемся мире, все представало в другом освещении, как если бы живописную картину подсветили с разных точек.

Опьяненные нахлынувшим счастьем, они с восторгом смотрели вокруг, точно были детьми, а не взрослыми людьми — ей за двадцать пять, ему хорошо за

тридцать, — уже повидавшими много и добра, и зла, прошедшими через свадьбы, скандалы и разводы, а теперь освободившимися от прошлого и возродившимися к новой жизни. Как наивные юнцы, они не ведали сейчас ничего, кроме охватившей их любовной страсти. Это была не иллюзия, не самообман, а то, что однажды дается судьбой как озарение духа и плоти. И потому все видимое, поблизости и в отдалении, хребты и просторы, солнце и река и счастливо стелившаяся под колесами дорога были в тот час и велики, и уютны для них лишь потому, что катили они вместе куда глаза глядят. И оттого, что Элес сидела рядом, излучая нежность, Арсен Саманчин приходил к выводу, что если любовь обоюдна, то высшая справедливость жизни, бдящая за судьбами людскими, состоит именно в ней. Считается, что романтизм без трагедии наивен и потому обманчив. Ничего подобного, у романтизма иной тип восприятия: иное солнце, иное небо. Но прозреть этот иной мир дано лишь тем, кому даровано любить. Не зря сказано, что любовь — это озарение души.

Словно тяжкий груз упал с плеч Арсена, и сам он удивлялся тому, как это могло случиться. Так страдать, так бичевать себя, так исходить ненавистью к этому дьяволу Эрташу Курчалу из-за Айданы... Оказаться обреченным заложником дерзкого и зловещего замысла Ташафгана... И вдруг забыть все, что было в жизни до того, с Элес, которая в одночасье стала неотъемлемой частью его самого. Видать, послана она была ему во спасение, чтобы отвести от края пропасти.

Безоговорочно разделяя его поэтический настрой, захмелев от счастья и несколько этим не смущаясь, Элес сказала:

— Смотри, Арсен, эти горы ждали любви моей, и потому я так часто приезжала сюда. И тоже ждала, хо-

тя не могла поверить, что так будет... Ведь здесь у нас, в аилах, существует поверье, что в горах этих та самая Вечная невеста бродит.

— Не говори, Элес, а то расплачусь!

— Ой, руль держи крепче! — рассмеялась она. — Как хорошо мы едем!

Если влюбленные счастливы, то совершенно неважно, что было в их жизни до того. Все аннулируется и сдается в архив закрытых дел, ибо жизнь начинается заново, с новой точки отсчета, — так думал Арсен. Только бы не сглазить!

Однако как ни упивался он подобным идеализмом, нет-нет да и закрадывалась мысль, что за счастьем неустанно наблюдает недремлющее око трагедии. И выходит, что безмятежного счастья не бывает. Вот и теперь то и дело возвращалось к нему нешуточное беспокойство: что будет с арабскими гостями? А если на самом деле возьмет их в заложники Таштанафган? Попробую еще отговорить, а нет — что делать? Встать на защиту с автоматом (шеф Бектур обещал давеча вручить и ему автомат)? Перестрелять похитителей и самому быть пристреленным? Во все времена бедные, а их в миллионы раз больше, не приемлют богатых, ненавидят их. Но вот парадокс — сами хотят при этом быть миллиардерами. Впрочем, думать можно что угодно, но что делать, как быть? Мы все повязаны одним арканом. Людям Ташафгана терять нечего, настроились они по-бандитски. На все пойдут ради денег сумасшедших. Озверели. Но у зверей добыча от природы. А у таких, как они, — от преступлений. Как говорит Таштанафган, не жди, хватай, пока не поздно! Эх, черт возьми, бывший дружок-одноклассник озверел от Афгана, а теперь ненавидит глобализацию, готов кого угодно угробить. Тьфу ты! Забудь, наплевать на все!.. Другая

жизнь внезапно вошла в оборот, став для него в тот день новой реальностью.

Поначалу они побывали на единственной местной бензоколонке, располагавшейся на окраине аила, где жила ее другая сестра и куда Элес часто наведывалась в периоды челночных передвижений. Подзаправили «Ниву» и дальше покатали. Выезжая на дорогу, Арсен Саманчин вдруг повернул машину так, как если бы собирались они ехать между гор в направлении городской трассы. Притормозил, остановился на минуту и призадумался молча.

— Что случилось, Арсен? — поинтересовалась Элес. — Мы едем в ту сторону?

Он промолчал, потом помотал головой, улыбнулся и, глядя ей прямо в глаза, произнес то ли в шутку, то ли всерьез:

— Если ты не против, Элес, я хочу увезти тебя в город!

— Вот как?

— Да, похитить тебя хочу, как в старые времена. Что думаешь?

— А зачем?

— Хочу, чтобы мы были вместе.

— Журналист-похититель! Выходит, я уже похищена вместе со своей гитарой? — засмеялась радостно Элес. — Здорово! Мечта! Тогда рули давай! А то машина не знает, куда ей путь держать!

— Значит, договорились? Но пока что побудем здесь, в горах, как хотели. — И с этими словами Арсен Саманчин лихо развернул «Ниву» в сторону ближайшего ущелья, к роще у реки.

А дальше все напоминало мелькание кинокадров. Так быстро прибыли они на благословенное место. Так быстро расположились, не забыв гитару захватить из ма-

шины. Солнце тем временем начинало клониться к предвечерью, сиреневые тона зарождались между горами, обещая первую прохладу. Лето вступило в пору уверенной в себе зрелости. Горная река стремительно бежала по обкатанным веками валунам... Они быстро разожгли небольшой костерок из сухих веток кустарниковых. Элес была очень ловкая. Все у нее спорилось. Почти у самого берега под зелеными зарослями расстелили прихваченное ею одеяло и, вмиг скинув одежды, утонули друг в друге, вместе, обнявшись, взмыли в чистое небо, которое льнуло к ним и любовалось ими. А они были уже не здесь, а в самом космосе, головокружительном и бесконечном, потом разом вновь возвращались на землю, где все, что их окружало в природе, каждая травинка и каждый лист, находились в движении вместе с ними: ветки над головами то склонялись к ним, то поднимались, цветы вокруг то опрокидывались навзничь порывистым ветром, то замирали, усмиряясь в тихой гармонии... Природа была соучастницей их любви. Особенно созвучной ей казалась симфония горной реки, бурно сбегавшей по сверкающим камням крутого русла. Река шумела, бурлила, ухала, стонала, замирала вдруг всем течением на мгновение и снова в эротическом экстазе смыкалась с берегами. А солнце все еще сияло в вышине, озаряя пламенеющим светом горные хребты. Птицы застывали в полете, умолкая, и даже пробегавшие мимо суслики останавливались, крутили головками и, наострив ушки, восхищенно смотрели посверкивающими глазками. А влюбленные, наслаждаясь отпущенным им миготом в раю, время от времени отрывались друг от друга, взявшись за руки, подбегали к речке, окунались в ее бурное течение, обрызгивали друг друга живой водой, и так прекрасны были они телами, так веселы лицами! Потом

снова опускались на свое райское ложе под сенью деревьев, и солнце тоже словно бы присаживалось на краю гор...

А Вечная невеста, сердцем учуяв их счастье, бежала к ним, перелетая с горы на гору, и, услышав, как Элес запела под свою гитару, приостановилась на вершине, заслушалась и заплакала, приговаривая шепотом: «Я тоже мечтала об этом... Где ты, где ты, мой охотник? Когда же я найду тебя?»

Утомившись, они присели и о многом поговорили всерьез, не касаясь при этом ничего из прошлой своей жизни. Для них отныне время отсчитывалось с этого дня, с этого часа. Начали с шутки.

— А знаешь, — сказал Арсен, — я хочу, чтобы это ущелье теперь называлось Ущельем Элес! Как ты на это смотришь? Я сделаю такое предложение географическому ведомству.

— Попробуй, Арсен, посмотрим, чья возьмет, потому как я тоже собираюсь сделать предложение назвать это ущелье Ущельем Арсена! Мы с тобой сегодня как дети. А давай я буду звать тебя Арсенбек, а ты меня — Элесгуль, так меня звали прежде, в детстве.

О многом успели они потолковать, даже о политике, какой бы неуместной ни казалась эта тема в столь интимной обстановке. Но вездесущая политика сегодня никого не обходит стороной, и сам собой возник разговор о том, что нет нынче спроса на продукцию полеводства и животноводства, а потому в сельской местности бедность, безработица, а раз безработица — всякие дурные дела: и воровство, и пьянство, и наркотиками стали баловаться. От такой безысходности и ухватились люди за бизнес охотничьей фирмы «Мерген» — здесь работа, здесь оплата. Многим на руку. Радуются земляки, что богатые охотники-иностранцы прибывают. Возражать —

значит огорчать своих, говорила Элес. Скажут — сама шмотничает, челночничает, что-то зарабатывает, а нам что, немного заработать нельзя? Дядя твой большой, деловой человек, скольким людям добро делает. Только вот что будет завтра?

— Я хоть и сама прискакала сюда, как только позвали, но душа болит, Арсен, — продолжала она. — На, поддержи гитару, так бы и пела тебе всю жизнь, — говорила она перед тем, как они собрались возвращаться в Туюк-Джар. — Мы ведь так любим говорить об экологии, а сами...

— Да, ты права, Элес, понимаю тебя, сам переживаю, — согласился с ней Арсен. — Столько об этом талдычим — эпос можно сложить, а как только деньгами запахнет, готовы на все, какая уж тут экология. Ты-то напрасно себя коришь, ты тут ни при чем, ты же не в охоте самой, а в увеселениях только поучаствуешь с гитарой. А мне напрямую придется включиться в это охотничье дело, слово дал нашему шефу Бектуру, потому как родственный долг — отступить некуда.

— Понимаю тебя, Арсен, милый. Обними меня, мне так хорошо! — Они снова стали целоваться. — Но ведь даже если бы ты отказался, не приехал сюда в горы, все равно... Казан варился бы и без тебя.

— Постой-постой! Бог с ним, с мергеновским бизнесом, но я-то, выходит, догадывался, знал, что встречу тебя! Получается, я прибыл ради тебя, Элес.

— Ох как я ждала, что ты это скажешь! Я тоже оказалась здесь ради тебя, Арсен! Так получается.

— Да, и тут как раз поговорка «Нет худа без добра» справедлива. А благодарить надо, если уж на то пошло, наших снежных барсов, это они собрали нас здесь, — рассмеялся он.

— И впрямь — барсам спасибо! — Они снова обнялись и начали целоваться. — Слушай, Арсен, а знаешь, ты ведь барс, а я — барсиха!

— А что? Так оно и есть!

И тут его внезапно пронзила страшная мысль, от которой он замер на миг в ужасе: «Так что же с нами будет, если и мы — барсы?»

Шуточная фраза Элес послужила толчком к весьма важному разговору. В последние дни Элес была очень озабочена в душе, хотя ни с кем не разговаривала о том, что охотничий бизнес стал в горном аиле чуть ли не главным способом существования. Производство сельхозпродукции уже не имело для жителей такого значения, как охота на диких животных. Если так пойдет и дальше, за несколько лет охотничьего бизнеса вся живность исчезнет в горах, до последней куропатки. На кого же будут охотиться тогда люди, уничтожив всех, в том числе и в первую очередь снежных барсов, и не наладив в новых рыночных условиях местного товарного производства?

— Я очень переживаю, Арсен, но сказать об этом никому не смею. Даже, знаешь, хотела выйти к приезду арабских охотников с плакатами: «Руки прочь от наших снежных барсов! Оставьте барсов в покое! Барсы живут сами по себе, не трогайте наших зверей!» Но и думать об этом нельзя — свои же всем аилом забросают камнями, не позволят срывать такой бизнес! Ведь, кроме организации охоты для иностранцев, у них ничего не осталось! Нет, не поймут они и не пощадят. Правда, Арсен?

— Да, сейчас это так, согласен. Но в следующий раз отважиться на такое дело стоит. Должен же быть противовес этой бизнес-охоте. Даже в Афганистане ищут теперь альтернативные агрокультуры, чтобы вытеснить наркоплантации. Об этом сейчас много пишут.

— Арсен, ты прости, что я завела такой разговор, неуместный, наверное, когда ты открыл для меня дверь в счастье и мы так сошлись душами. Но, понимаешь, я ведь по делам своим челночным бываю в разных местах и вижу, что все как-то приспособливаются к рыночной экономике, но не так варварски, как мы здесь у себя в горах. Ну пожнем мы сегодня свой урожай за счет иностранцев, а дальше что? Будем только охотиться, перестанем трудиться — окажемся скоро в пустоте, среди мертвой природы. Извини... Заговорила. Я тебя люблю... Ты веришь?

— Верю! И не за что тебе извиняться, Элес. Разговор стоящий, и я еще многое мог бы добавить, но отложим пока... Поехали, уже вечерет. О деле еще поговорим. А то, что мы любим друг друга, теперь это вновь зазвучавшая музыка моей жизни.

— А давай, Арсен, я сяду сзади с гитарой, чтобы не мешать тебе рулить, и буду наигрывать негромко разные мелодии, старинные и новые. Идет?

— Еще как! Пусть это будет концерт для меня одного. Буду слушать, думать и... благодарить судьбу.

— За что?

— За тебя, Элес!..

Ах, если бы она знала, что тут — не подмости, если бы ведала, чего стоило ему, Арсену Саманчину, сдержаться, не рассказать ей о том, какой страшный замысел созрел у барсовых загонщиков, о том, что фанатичный антиглобалист Таштанафган уже изготовился надеть свою военную фуражку и тем самым дать сигнал-приказ о захвате заложников, о том, чем все это может обернуться на деле и чем кончиться... И о том, в какой ловушке оказался он сам. Вряд ли капкан разомкнется... Проклятый охотничий бизнес! Повязал всех — и людей, и зверей — в один узел не на жизнь, а на смерть.

Но даже в пылу любовных откровений не посмел он поведать об этом...

А день клонился к исходу. И если правда, что природа благоволит влюбленным, то они ощутили это на себе. На обратном пути в награду за любовь им сопутствовала вся благодать окружающего мира.

Предвечерние горы встречали завершение дня в безмятежном покое и величии, неуловимо обволакиваясь ранними сумерками, постепенно смягчаясь в очертаниях, умеряя резкость и строгость скалистых выступов. А над хребтами в чистом небе клубились в завораживающей неге белые-белые облака. Не было в тот день ни ветра, ни дождя, ни чрезмерной жары. Поистине чудесный, неповторимый день выдался им на счастье.

Спустившись в низину, «Нива» катилась без спешности, торопиться не следовало — очарованной паре хотелось продлить прогулку, оказавшуюся для нее не просто вольным времяпрепровождением, а ниспосланным небесами свиданием, настолько желанным для обоих и настолько значимым, что все бывшее враз выпало из контекста их жизни, — нынешний день знаменовал начало новой. К добру ли это было? И что предстояло им впереди, буквально с завтрашнего дня? Но об этом они пока не думали — в любовной своей эйфории перед близким расставанием они вообще не могли думать ни о чем, кроме внезапно обретенного счастья.

Элес негромко наигрывала на гитаре, сидя на заднем сиденье, а Арсен, слушая знакомые мелодии, вел свою «Ниву» по дороге, множество раз езженной, но казавшейся сейчас незнакомой, потому как ехал он по ней новым человеком, впервые вместе с возлюбленной, и, возможно, поэтому не хотелось ему отвлекаться и вдаваться в серьезные размышления. Время от времени

они перебрасывались шутками, прекрасно понимая друг друга с полуслова.

— А что если я поверну машину и мы уедем в город? Ты как? — спросил Арсен, на секунду обернувшись.

Элес придвинулась ближе и негромко ответила, почти прошептала:

— На любом километре!

В этом благостном настроении Арсен Саманчин удивился одному странному обстоятельству: неотступно преследовавшие его злонамеренные мысли о мщении постепенно отступили, ему захотелось — от греха подальше — забыть о них навсегда. «Пошел он, этот Курчал! Могу, могу я прожить и без нее, без Айданы зазвездившейся. Каким же ничтожным сумасбродом я был. Все! Точка! Есть у жизни другие радости», — подумалось ему. И еще: «А вот Вечная невеста все равно не забудется. Но теперь, пожалуй, я смогу с новыми силами взяться за дело...»

Серьезно и основательно задумывался Арсен Саманчин и о том, чтобы жениться на Элес. Судя по всему, они подходили друг другу характерами и взглядами на жизнь. Она женщина достаточно начитанная, тактичная и собой хороша; надо полагать, очень энергичная, если промышляет челночеством. Тут не рассядешься, как купчиха за самоваром. И кстати, избавился бы от упреков и недовольства родственников. Особенно порадовались бы шеф Бектур-ага — «дядюшка Черчилль», как иногда называли его в аиле, — братец Ардак и другие двоюродные и троюродные родичи. Но самое, разумеется, главное — насколько она сама, Элес, готова к такому повороту судьбы. Ведь у нее могут быть свои проблемы. Первое слово за ним, как за мужчиной. Он должен просить руки...

Конечно, можно было бы обмолвиться об этом — не в шутку, как давеча, а всерьез — уже сейчас, пока они остаются здесь по делам фирмы «Мерген», размышлял он, прислушиваясь к наигрышам Элеса. Однако жизнь, всегда требующая мзды за счастье, выставила свой шлагбаум на пути его намерений. Как ни старался Арсен Саманчин запретить себе думать о том, что готовилось Таштанафганом и его поделщиками, напрочь отрешиться от этих мыслей не удавалось, хотя и пытался он убедить себя, что Таштанафган опомнится, не посмеет решиться на такую неслыханную авантюру, несмотря на маячащую впереди многомиллионную добычу, сумеет превозмочь желание воспользоваться шансом, пусть выпадающим лишь раз в жизни, и осознает не только то, какие беды навлечет на родное селение, но и то, как пострадает репутация его страны.

Звучит банально, но каждый раз, когда приходится решать сложные личные проблемы, убеждаешься: как все-таки странно устроен наш мир. От сотворения спеленатый противоречиями, он путается в них вечно.

Таштанафган представляет себя антиглобалистом. Но антиглобализм для него — способ террора. Нашел себе, видишь ли, оправдание. Марксисты его поддержали бы. Не зря он как-то сказал, что в горах должен появиться свой Че Гевара. Но куда ему до Че Гевары! И попробуй переубеди, когда долларовый сель готов снести на своем пути любые идеи и принципы. Запутались бедолаги. Понятно, кому хочется весь век прозябать в нищете!

Ну все, хватит! Плюнуть на все и исчезнуть! А куда? Свою шкуру спасешь, а как быть другим? И приходили в голову самые невероятные идеи. Чтобы по-

веселить Элес, он, притормозив машину, с притворной серьезностью произнес:

— А что бы ты сказала, если бы по каким-то причинам я остался жить в горах, отшельником в пещере?

Элес не растерялась и, прижавшись сзади к его плечу, ответила:

— Если вместе — я готова!

— Это очень серьезно, Элес. Переходи сюда, ко мне, поговорим, пока осталось еще километров десять.

Он остановил «Ниву», Элес быстро выскочила, пересела на переднее сиденье, и сразу стало еще теплей у него на душе.

— А что, ты вправду мечтаешь пожить в пещере?

— Кто его знает! Лучше скажи, как ты сразу отважилась поселиться там вместе со мной? Первобытного житья не боишься?

— А ты разве не замечаешь, Арсен, что я очень-очень хочу тебе понравиться?

— А я — тебе.

— Ну а раз так, будем жить в горах, любить друг друга... Но ты мне все же скажи, в пещере когда проживем, чем ты будешь заниматься?

— Медитацией. Лекции тебе стану читать. Есть такое учение — тенгрианство. Его приверженцы поклоняются небу.

— Вот узнают об этом муллы здешние — придут и завалят тебе выход из пещеры. И что тогда? Но один ты там не останешься, я буду рядом.

— Ну тогда беспокоиться не о чем. А у мулл своих дел по горло. Какое им дело до какого-то отшельника, у них заботы вселенские.

— А моя забота будет только о тебе. Выходит, ты — моя Вселенная!

— И в чем же будет выражаться твоя забота?

— Я очень хочу, чтобы у нас был ребенок. Мальчик, которого я буду водить за ручку. На лекции твои пещерные, чтобы с детства слышал.

— Готов. И буду просить небо, чтобы так было. Ты прости меня, Элес, может, не к месту, но я хотел бы знать — у тебя были до этого дети?

Элес нисколько не смутилась — коротко ответила:

— Нет. Удавалось избегать.

— Больше не избегай.

— Не буду. Наоборот, тоже буду молить небо, чтобы послало нам славненького мальчугана.

— А если будет девочка, я обрадуюсь не меньше!

— Я тоже! Девочки с детства умнее бывают.

— Ну ясное дело! Итак, все вопросы согласованы, и, как говорят в таких случаях, осталось только подписать протокол о намерениях, — пошутил он.

— О замечательных намерениях! — подхватила она.

— Будем готовить протокол.

Вдали завиднелись окраины села. Уже стемнело, и повсюду светились огоньки. И тут вдруг раздался телефонный звонок.

— Ой, это мне! — встрепенулась Элес и, перегнувшись на заднее сиденье, где лежала ее куртка, достала из кармана мобильник.

— Да? Это ты, Зейнеп? А, понимаешь, я была в горах, в таком месте, куда сигнал не проходит, а сейчас уже в Туюк-Джаре. Да, слушаю. Да-да, я ждала ответа на свой факс, и что там? На девятнадцатое число? Так срочно? Хорошо, я подумаю и перезвоню. Да-да, обязательно, часа через два. Пока, Зейнеп.

Положив мобильник обратно в карман, Элес объяснила, что звонила из Чулгана, пригорода Аулиеаты, ее подруга по челночному бизнесу. Их четверо, Элес у них старшая, вроде бы как когда-то пионервожатая. В Са-

ратове есть центр мелкооптовой торговли, куда им предстоит ехать. У них там контракт на закупку разных товаров, которые они развозят потом по здешним лавкам и мелким базарам.

— И что, надо ехать? — спросил он ее озабоченно. — Хочешь, я отвезу тебя?

— Да нет, не беспокойся. Мы поедem на поезде из Аулиеаты. Вот только я думала, что нас позовут в Саратов через неделю, а получается, уже завтра надо выезжать.

Они замолчали. Арсен приостановил машину. В их краткую райскую жизнь-сказку внезапно вторглась повседневность. Казалось бы, что тут особенного, у каждого свои дела, свои заботы. Но они почувствовали себя так, будто рухнули с неба на землю. Впрочем, длилось это не больше минуты. Элес проявила деловитость:

— Я позвоню, Арсен, и уговорю своих партнерш, чтобы в этот раз они поехали в Саратов без меня.

Но Арсен не хотел создавать ей лишние сложности.

— Я не знаю всех деталей, Элес, но, мне думается, не стоит срывать договоренности.

— Арсен, — сказала она, коснувшись его плеча, — ради нас я могу на все пойти.

Они уже понимали друг друга, как пара чаек над морем — по голосам, по малейшим движениям крыльев. И все-таки Арсен ощутил необходимость, прежде чем высадить ее у сестриногo дома, сказать, вернее, намекнуть, что дальнейшую жизнь свою он уже без нее не мыслит. Но как только он выключил мотор, снова раздался телефонный звонок. На сей раз звонил мобильник Арсена. Оказалось — сам шеф. Поинтересовался, где он находится, и сообщил, что в Туяк-Джар прибыл сам аким Джанышбаев: по протоколу полага-

ется, чтобы знатных гостей встречал и приветствовал глава района. И потому шеф требовал, чтобы Арсен Саманчин прибыл без промедления в офис. Предстояло обговорить с самим акимом детали утренней поездки в Аулиеатинский аэропорт.

Так повседневность еще раз по-хозяйски вторглась в их очарованный мир. Пришлось поторапливаться. Договорились, что будут постоянно на телефонной связи. Арсен для проверки тут же набрал ее номер, и мобильник Элес зазвонил.

— Уважаемая Элес Батыровна, — произнес он подчеркнуто уважительно, — извините за беспокойство. Это некто Арсен Саманчин. Он будет вам постоянно названивать, поскольку без этого нет ему жизни. Что скажете, Элес Батыровна?

Элес Батыровна тихо рассмеялась в ответ:

— Да, уважаемый Арсен Саманчин, я сама буду вам названивать, буду жить от звонка к звонку. Спасибо, Мухабат Мухабатович — Любимый Любимович.

Отключив телефоны, они посмотрели друг другу в глаза, как если бы расставались навеки.

— Я буду ждать! — сказал на прощание Арсен Саманчин.

— И я буду ждать! — ответила Элес.

Он успел обежать машину и открыть ей дверцу, они оказались опять лицом к лицу в полутьме на краю двора. И в этот миг он окончательно убедился, что жить без нее уже не сможет. А она сказала:

— Мне так не хочется уезжать. Попробую уговорить подруг.

— Смотри, Элес. Если получится. А нет — я потерплю три-четыре дня. И без тебя отсюда не уеду.

— А может, мне прямо из Саратова в Бишкек приехать?

— Буду ждать на вокзале. Ты только звони. Если охота быстро завершится, это одно, если затянется — другое.

— Да, понимаю.

И они обнялись на прощание. Крепко и нежно.

И пока «Нива» Арсена Саманчина не скрылась из виду, Элес махала ей вслед рукой. А он не отрывал взгляда от бокового зеркала, в котором ее фигурка все уменьшалась, превращаясь в тень.

И лишь отъехав подальше, он вспомнил разом — и как в пропасть рухнул: а что же станется, если заложники будут-таки захвачены?! И ведь не скажешь никому, даже ей... Скажешь — сокрушающая лавина сметет все на своем пути, от фирмы «Мерген» не останется и пылинки. Не скажешь — еще хуже... Как быть?

Когда Арсен Саманчин приехал в офис и направился в кабинет шефа, то в приемной среди помощников увидел и Таштанафгана. Тот поздоровался первым:

— Привет, Арсен, прибыл? Пошли, а то шеф заждался. — И как ни в чем не бывало взял его под руку. Перед дверью спросил: — Как звать акима, знаешь? Имя, отчество?

— Нет, я с ним мало знаком.

— Корчубек Алтаевич. Джанышбаев Корчубек Алтаевич. Запомнил? И еще, слушай, оказывается, аким приготовил двух беркутов — в подарок гостям от акимата.

— Понятно. А ты как здесь оказался?

— Ну как же, я ведь не просто загонщик, шеф всегда приглашает меня, когда такие важные дела.

— Ясно.

— Ну, как покатался с Элес?

— А твое какое дело?

— Да брось ты! Она девка хорошая, как раз для тебя.

С тем и вошли в кабинет. Как полагается, вначале Арсен Саманчин поздоровался с акимом — представительным полноватым мужчиной в костюме и при галстуке, с виду лет сорока с небольшим. Припомнилось, что прежде раза два где-то виделись они на каких-то конференциях. Потом поприветствовал дядюшку Бектура. Разговор начал сам аким:

— А мы тут поджидаем тебя, Арсен. Кое о чем потолковать надо.

— Я готов, Корчубек Алтаевич. Мое дело — главным образом переводческое. Синхронистом буду.

— Знаю-знаю. Без переводчика тут никак не обойтись. Однако ты для нас не только переводчик, Арсен. У тебя такой родственник — Бектурган-ага, «Черчилль-ага»! Гордись! Наш беке в прошлом и колхоз держал крепко, и теперь вся охота в его руках: от архаров до барсов. А от прессы ты и сам из ханов!

Все посмеялись шутке, потом пошел серьезный разговор. Высказывался главным образом аким.

Поначалу он решил посоветоваться — как лучше устроить церемонию дарения беркутов (арабские богатеи обожают орлов и соколов горных и с удовольствием увозят узенгилешских ловчих птиц в свои края). Дарение совершается в торжественной обстановке: орел с кожаным капюшоном на голове подносится на протянутой руке к руке гостя, одетой в кожаную рукавицу, чтобы, не дай бог, когтями не поцарапала птица почетного гостя. Вопрос состоял в том, как лучше: преподнести беркутов гостям при их прибытии в Туяк-Джар или при их отъезде после охоты.

Таштанафган поспешил высказать мысль, что лучше не отвлекать гостей от главного, от охоты, а вручить подарок в конце, перед их отъездом, соблюдая все церемонии. Его поддержали и сам шеф Бектур, и все остальные.

Аким Джанышбаев тоже согласился с этим доводом. Воодушевившись, Таштанафган разговорился — мол, дарение надо проводить по старинному обычаю, чтобы в момент передачи присутствовал шаман, который исполнит охотничьи заклинания.

— Есть у нас такие шаманы — камлать будут и про беркутов исполнят заклинания. Гостям наверняка захочется узнать, про что в них говорится, вот ты, Арсен, и переведешь на английский. Может, тебе заранее послушать какого-нибудь шамана, чтобы не запутаться в шаманской дребедени?

— Ладно, подумаю, — не без раздражения ответил Арсен Саманчин, не понимая, что происходит с Таштанафганом. «Неужто передумал? Вот была бы радость! А что если за нос водит?»

А Таштанафган словно чувствовал его смятение, еще больше сбивал с толку, стал рассказывать байку про одного несусветного шамана по прозвищу Шамалбаш — Ветреная голова.

— У нас в Туюк-Джаре, Корчубек Алтаевич, есть один шаман — другого такого нигде не сыскать. Бектур-ага, вы-то знаете про Шамалбаша. — Тот улыбаясь кивнул. — Да и ты, Арсен, слышал, наверно? В аиле все его знают, от мала до велика. Уж если он разойдется — спасу нет! Как начнет камлать! Пляшет, прыгает, хрипит, вопит:

Разве вы не видите,
 Как падают горы?
 Разве вы не видите,
 Как валятся деревья?
 Разве вы не видите,
 Как вспять течет река?
 Это я все делаю, я вершу,
 И всех вас стадом погоню

И, как овец, в сараи загоню!
Мне в ноги падайте, валитесь,
А если нет, то не сердитесь.
Я — Шамалбаш, я все могу!
Я — Шамалбаш, я все могу!

Все засмеялись. Райаким Джанышбаев весело спросил:

— Так ты думаешь, что этого Шамалбаша гостям представить можно?

Но шеф Бектурган отреагировал решительно:

— И думать нечего! Близо допускать нельзя! Шамалбаш будет дергаться, кричать, пугать, его бредни переводить придется. Как ты думаешь, Арсен, нужно такой сумбур устраивать?

— Перевести — не проблема. Но вручение беркутов — торжественная церемония, отвлекаться не стоит. Беркуты серьезные птицы, не попугаи же...

Все опять расхохотались. Ну а потом перешли непосредственно к делам. За окном уже спустилась ночь. Шеф Бектур, попыхивая по-черчилльски сигарой, изложил к тому времени райакиму весь план, названный им почему-то «План Жаабарс». Все записали себе в блокноты — «План Жаабарс», отмечая пункт за пунктом: встреча гостей в аэропорту; сопровождение их в Туюк-Джар; ночевка в гостевых комнатах — охране предоставлялся на ночь кабинет, где они сейчас заседали; утренний подъем и подготовка к выезду в горы. А в горах готов уже небольшой лагерь — для гостей установлены особые палатки, предусмотрено все, что требуется для их удобства. Для продвижения до ущелья приготовлены автомашины, включая американский «Хаммер», который будет доставлен из Катара на борту грузового самолета. Дальше, там, где дорога в горах для автомашин непроходима, все поедут верхом, кони

уже готовы и соответствующим образом подкованы. Ну а на последнем этапе предстояло передвигаться пешком, лазать по скалам и укрытиям, но это было уже делом самих охотников-любителей. Всех присутствовавших на встрече с райакимом очень порадовала информация, что предусмотрена оплата по всем статьям «Плана Жаабарс», учтены все виды расходов, включая стоимость горючего, аренды лошадей, седел, сбруи, даже дров для костра. Это был настоящий бизнес-план, который произвел сильное впечатление на туюкджарцев. Теперь и они поняли, что значит рынок. Ни шагу без оплаты.

Настроение у всех сделалось приподнятое. А райаким Джанышбаев поинтересовался из любопытства у шефа Бектура:

— Беке аксакал, план получился очень продуманный, а откуда такое название — «Жаабарс»?

Попыхивая сигарой, шеф Бектур улыбнулся:

— Да песня такая есть насчет жаабарса, у нас тут все ее знают. Ты, Арсен, по-моему, даже в какой-то статье писал о ней?

— Да, беке, было дело, о фольклоре речь шла.

— Ну так вот, дорогой Корчубек Алтаевич, припомнились такие слова из нее, сейчас попробую воспроизвести:

Летит Жаабарс в прыжке на гору,
Хватает Жаабарс добычу свою,
Добычей доволен всегда Жаабарс,
Природа дала ему силы запас.
Такую же мощь пожелаю для вас,
Пусть будет средь наших людей —
Свой Жаабарс, баатыр Жаабарс...

Райаким похлопал в ладоши:

— Вон, значит, откуда пошло! Очень занимательно! Так, выходит, аксакал беке, вы сами и есть батыр Жаабарс?

Шеф Бектурган пожал плечами:

— Ну это как сказать. Если по бизнесу, то, может, в наших краях что-то и удастся мне. Но настоящие Жаабарс-батыры — это молодежь. Вот наш Таштанафган — если снежных барсов отыщет и подгонит, то он и будет Жаабарс-батыром!

— Спасибо, спасибо! — бормотал довольный Таштанафган.

— А еще один наш Жаабарс-батыр — это вот, грамотей по всем языкам, Арсен! Мой племянник!

— Какой я Жаабарс! Я ассистент-переводчик на несколько дней, а переводчики батырами не бывают, — пытался отшутиться Арсен Саманчин.

Посмеялись. Атмосфера радушия и дружеской искренности свидетельствовала, что охота на снежных барсов уже в преддверии своем складывалась благоприятно. Оставался только выход на сцену главных действующих лиц. А дальше видно будет, улыбнется ли им удача, ведь это тоже — как судьба распорядится, причем не только судьба охотников, но и судьба тех, на кого пойдет охота. Пока что все складывалось дельно.

Райаким Джанышбаев уезжал в благодушном настроении. Он решил, что приедет на встречу высоких гостей прямо в аэропорт, поприветствует их там от имени местного акимата, а торжественную церемонию вручения беркутов будет согласовывать по ходу, как он выразился, — неизвестно ведь, сколько дней займет охота.

— Что же касается ответной благодарности арабов, то это их дело, как сочтут нужным, гости есть гости, — учтиво пояснил шеф Бектур.

Все присутствовавшие вышли провожать акима. А тот сказал на прощание:

— Спасибо. Чай попили, поговорили, мне пора, уже девятый час. — Он глянул на часы. — Быстро пролетело время, потому что очень интересно и полезно было посоветоваться с вами. А ваш «План Жаабарс» — это, можно сказать, целая стратегия. Ну пока, Бектур-аксакал, до встречи в аэропорту. Успехов вам!

Прощались, обнимаясь и пожимая друг другу руки. Дивился радушию своих земляков Арсен Саманчин, думалось, что бизнес и здесь играет свою роль. Ведь, помимо прочего, надеялись на щедрость гостей — нефтяных магнатов — и потому инстинктивно старались обозначить свою сопричастность делу все, включая и главу местной администрации.

Но это, в конце концов, нормальная житейская ситуация. А вот поведение Таштанафгана удивляло. Он был настолько заинтересован, активен и почтителен, что никому бы и в голову не пришло, какую авантюру он задумал — тоже рыночную в некотором роде. Уж не заговорила ли в нем совесть? «Дай бог, чтобы все обернулось к добру», — с надеждой подумал Арсен Саманчин. Однако тревога не покидала его, хотелось получить подтверждение, задать вопрос напрямую, но пока не получалось. К тому же беспокоился за Элес, собирался позвонить ей, но прежде надо было все же поговорить с Таштанафганом. Попрощавшись с райакимом и шефом Бектуром, Таштанафган направился к коновязи, где стоял и его конь. Арсен Саманчин подошел к нему в тот момент, когда он, отвязав лошадь, намеревался сесть в седло.

— Слушай, — остановил он его, — так что там насчет твоей военной фуражки? Будешь напяливать?

— Не беспокойся. Все будет как надо.

— А что значит — как надо?

— Я же тебе сказал: не беспокойся! Все! Я тороплюсь.

И Таштанафган отъехал, оставив своего одноклассника в недоумении. Как же следовало все это понимать? Ведь только что казалось, что он раскаялся, пал на колени, как говорится, перед небом, — настолько был любезен и учтив; и вот — не захотел даже поговорить. Отчасти, пожалуй, можно понять: нелегко ему дался отказ от взлелеянного плана, больших усилий воли это потребовало, так что сорвался малость. Ну бог с ним! Только бы одумался, пусть лучше станет Жаабарс-батыром на охоте.

Трудно было и самому Арсену Саманчину, неуютно чувствовал он себя, примиряясь с реальностью. Ведь никто даже не намекнул на вред, какой наносит подобный охотничий бизнес экологии. Плевать было всем. И сам он скромно помалкивал, будучи повязан близким родством с владельцем уникального и столь успешного бизнеса. Рыночная экономика ловит в свои сети не только самих людей, но и души их. Вот давеча шеф Бектурган рассказал им такую историю. Среди многих односельчан, приходивших днем поинтересоваться делами, побывал один местный чужак с парадоксальной идеей. Дескать, охота на снежных барсов — это мелочи. Давайте подумаем о другом, ведь можно и снег продавать в горах. Шеф Бектур подивился, что за галиматъя такая, а тот доказывает: все в нынешнем мире продается и покупается. Наш снег в горах — это вода в реках. Вся Центральная Азия зависит от наших вечных снегов. А ведь горы — наши, и снега, ледники — наши. Все поливы на равнинах, все урожаи, водопой не с неба же свалились! Все от нас! А раз так, давайте требовать плату за воду. Почему нефть, газ,

разная там энергия продаются по таким бешеным ценам и никому нет никаких поблажек, а мы за просто так отдаем свою воду, без которой не будет жизни в долинах, и никто даже спасибо не скажет? Они там, внизу, нас, горцев, за людей не считают. Так зачем за барсами гоняться? Пусть фирма «Мерген» не только охотничьими услугами, но и водой торгует, и нам всем будет от того прибыль. Вот такую, тоже ведь рыночную, идею излагал горячо и страстно этот человек. Пришлось успокаивать его и убеждать, что вода — Божья благодать, всем предназначенная...

Случай этот был бы анекдотичен, если бы не имел в основе своей рыночные стандарты современности...

Размышляя так, Арсен Саманчин сел за руль и, не включая мотора, стал набирать номер Элес. Ее телефон был занят, значит, все еще переговаривалась с подругами по делам их челночным. Хотелось услышать ее голос. Думая о «Плане Жаабарс», он отметил, что Элес была единственной из тех, с кем он общался в тот день, кому пришла в голову мысль выступить против варварской охоты на барсов. Правда, сама же она понимала, что односельчане не поддержат ее, поскольку она посягала на их возможные заработки. И все же тот факт, что нашелся хоть один небезразличный человек, приносил облегчение. Арсену хотелось услышать ее и быть ею услышанным, он звонил, но не мог дозвониться.

Пора было возвращаться в сестрин дом, там его ждут. А завтра с утра — выезд с шефом Бектурганом в аэропорт, потом подготовка к прибытию главных персон, затем выдвижение в горы, сначала на колесах, дальше на конях, еще дальше пешее восхождение по кручам, щелям, сугробам к барсовым местам и, наконец, — сама охота, выслеживание зверей с оружием в руках. Шеф Бектур отлично понимал все это и потому очень одоб-

рительно относился к участию в деле Арсена. «Не каждый переводчик пригоден карабкаться по горам, а ты как раз в самой силе. В роду нашем джигиты всегда были крепкие. Дай бог...» Пожалуй, он прав. Арсен был ровесником арабских гостей. Они, правда, натренированные альпинисты, ну ничего, посмотрим...

Стремительно начавшись, этот процесс находил свое продолжение в тревогах и переживаниях Элес. Уговорить подруг по челночному бизнесу ехать без нее Элес не удалось. Отложить поездку в Саратов — тоже. Страдала Элес, не отлучаясь от телефона, без конца ставила его на подзарядку, боялась, что он отключится и лишит ее связи с любимым, ведь на завтра предстояло-таки отправляться в Саратов.

Сколько же пришлось ей помотаться по свету! Сколько перетаскала она на себе битком набитых дешевым барахлом тяжелых баулов! Какие тяготы вынуждена была переносить, чтобы выжить в пути. Менты и таможенники буквально вырывали в поездах и на блокпостах последние копейки от выручки! И тем не менее никогда еще душа ее так не противилась очередному отъезду. Приходило в голову даже совершенно невысказанное желание — к барсам в горы уйти, встретить там среди охотников своего возлюбленного и сказать ему, выступив навстречу, что ждала его и готова идти с ним хоть на край света. Однако в реальности она должна была исполнять свой долг перед подругами-напарницами. Они повсюду ездили вчетвером — Зейнеп и еще две женщины из соседних селений, только такой компанией они могли уберечься от бандитов: поодиночке немало челночниц пропало. К тому же только у нее, у Элес, имелся официальный документ — пропуск через контрольные пункты: подруги значились ее помощницами. Так что не поехать она никак не могла.

Элес тихо плакала той ночью и молила Бога не лишать ее дарованного ей счастья..

И лишь когда раздался долгожданный звонок, когда снова окунулись они в стихию чувств, когда он рассказал ей о своих делах, а она ему — о своих и когда пообещали они друг другу скорую встречу, легче стало на душе...

* * *

Той ночью над горами светила полная луна. Именно к ней, к огромной луне, окруженной мириадами мелких звездочек в чистом небе, обращался громким рыком изгой Жаабарс. Жаловался луне на тоску свою, но луна молчала в ответ. Ему бы уйти куда-нибудь, поближе к другим барсам прибиться, так нет же, все торчал он под Узенгилеш-Стремянным перевалом как зачарованный. И даже то, что уже второй день появлялись в окрестностях все те же три всадника, не смущало хмурого Жаабарса. Пусть себе топчутся, ему какое дело. А напрасно, потому что именно его, «башкастого-хвостатого», высматривали они в свои бинокли...

Бектуровский «План Жаабарс» обеспечивал по существу бесперебойный ход работы по графику. Следовало отдать должное организаторам, план действительно был хорошо продуман и просчитан, и потому никаких неувязок не возникало. Можно сказать, весь Туюк-Джарский аил был вовлечен в мероприятия по подготовке и проведению охоты. В эти дни сельчане от мала до велика жили ожиданием триумфального завершения охоты на снежных барсов и сказочных барышей. Ажиотаж царил в аиле. И все желали важным гостям большой удачи. И только сами барсы не подозревали, что ожидало их вскоре.

Зато для фирмы «Мерген» все складывалось удачно, и все переговоры с гостями осуществлялись почти круглые сутки через посредничество Арсена Саманчина. Сам шеф Бектур убедился, что без Арсена такого плодотворного взаимопонимания не было бы, и потому не упускал случая поблагодарить племянника: «Еще раз скажу, Арсен наш дорогой, когда ты с приезжими говоришь, они оживают, как цветы после дождя. Хотя я не понимаю ни слова, но вижу это по их глазам».

И на самом деле, кажется, так и было. С первых приветствий и дальше, по пути из аэропорта, в беседах на всякие житейские и прочие, более серьезные

темы арабские гости и их помощники высказывались охотно, с благонамеренным любопытством. В свою очередь, и Арсену Саманчину, несмотря на тяжелую нагрузку — ведь ему едва ли не круглосуточно приходилось переводить на английский, русский и киргизский языки, — было по-своему интересно. Первый этап — прибытие подготовительной группы, а следом и самих гостей — был осуществлен во многом благодаря ему организованно и цивилизованно, без излишней экзотики.

Оба гостя оказались общительными молодыми людьми, скорее всего ровесниками, современно мыслящими, спортивными, с умными лицами; один окончил Кембридж, другой — Оксфорд. Хасан носил черные плотные усики. Мисир был чисто выбрит. Судя по всему, охота на хищных зверей была для них не столько средством героизации, сколько экстремальным видом спорта.

Для начала этих сведений и наблюдений было вполне достаточно. В свою очередь, Арсен рассказал гостям о стране, об этом горном крае, о климате высокогорья, о местном населении, о традициях и обычаях народных.

Прибывали в Туюк-Джар кортежем — впереди шеф Бектурган на своем джипе, за ним на «Хаммере» гости и с ними Арсен Саманчин в качестве переводчика и постоянного сопровождающего-консультанта, следом — машины с охраной, обслуживающей телерепортерами.

Все туюкджарцы вывалили на улицы, дружелюбно приветствуя гостей. Мальчишки, ошеломленные видом «Хаммера», бежали рядом по обочинам дороги, сопровождаемые собачьей сворой. Подобную машину они видели впервые, и не верилось им, что такое чудо дви-

жется по их айлу. Не только мальчишки, но и кое-кто из взрослых тоже был удивлен: они ожидали увидеть миллионеров, а увидели обычных парней в спортивных костюмах.

День уже клонился к предвечерью. Гостей по прибытии разместили в специально приготовленных комнатах. После небольшого отдыха устроили ужин, предлагали водку, но гости отказались, шутливо объяснив свое воздержание тем, что могут позволить себе такое удовольствие только по окончании охоты, когда шкуры снежных барсов, столь высоко ценимые на Востоке, станут их трофеями.

К слову пришлось, и в ходе беседы Арсен Саманчин рассказал арабским охотникам легенду о Вечной невесте. Думал лишь упомянуть, но сам не заметил, как разволновался и гостей разволновал. Очень пострадали они трагедии невесты и жениха, произошедшей по причине извечных в роду людском зависти и ненависти. И очень близко к сердцу приняли тот факт, что жених был выдающимся охотником, что, как самый ценный дар, преподнес он родителям невесты шкуры снежных барсов, а ведь в те времена и огнестрельного оружия еще не было. Расспрашивали, существует ли поныне обычай дарить шкуры снежных барсов. Стало быть, барсовый мех — природная ценность высшего класса, так же как мех леопардов и тигров? Арсен Саманчин находил в их общительности не только проявление любопытства, но и располагающую искренность. Попутно гости заинтересовались, бывал ли он в арабских странах, и, узнав, что, кроме Египта, он пока еще нигде не был, пригласили посетить их государства, вручили свои визитные карточки, заверив, что ему будет оказан почетный прием и — по дружбе — даже организовано посещение бедуинских селений. Естественно, Арсен поблагода-

рил от души и, учитывая их экзотические увлечения — да и шеф загодя просил о том, — не стал затрагивать в разговоре злободневных социальных и политических вопросов, хотя ему, как журналисту, очень хотелось послушать их высказывания на актуальные темы. Вполне могло быть, что у столь избранных особ есть своя концепция миропонимания. Однако существуют общемировые проблемы, не зависящие от общественных и политических умозрений. Например, экологические. Подчас они кажутся сугубо локальными — где-то что-то, мол, происходит, но нас это не касается, между тем как по сути любой экологический сдвиг в конечном счете сказывается на природе всей Земли. О многом хотелось бы Арсену поговорить с гостями, однако, как утверждал дядюшка Бектур, «в нашем бизнесе прежде всего важно гостеприимство, — а это этикет и корректность». Правила этикета преступать не следует. Пусть гости будет приятно, спокойно и комфортно.

Ладно бы так, но сидела в душе Арсена Саманчина заноза, то и дело дававшая о себе знать, — одержимый Таштанафган. Вроде бы раскаялся, вроде бы утихомирился... По тому, как он вел себя, было это видно, но...

Перед тем как отправиться спать, гости вышли во двор подышать. Всмотривались в ночную панораму — полная луна, мерцающие звезды, чистое небо, а под ним — гигантские горящиеся затаившиеся снежные хребты.

Указывая на них рукой, Хасан спросил:

— Господин Арсен, наверное, вон в тех горах и охотился жених-охотник?

— Да, там он жил и там охотился, — ответил Арсен Саманчин.

А Мисир спросил в свою очередь:

— А Вечная невеста тоже там бродила и плакала?

— Да, она и по сей день ищет и кличет своего жениха-охотника.

— Бедная! — грустно вздохнул Хасан. А Мисир высказал интересную мысль:

— А может, она нужна миру именно такая, как есть? Если бы удалось заснять с высоты на телекамеру бегущую по горам девушку, актрису, она могла бы стать символической фигурой.

— Красивая идея! — поддержал его Хасан. — Объявить бы Вечную невесту хранильницей любви и верности. И каждому она будет близка. Ведь трагедия любви всегда рядом. А вы что думаете по этому поводу, господин Арсен?

— Я давно мечтаю об опере «Вечная невеста». Если бы удалось... Ваши мысли меня еще больше вдохновляют. Очень тронут совпадением.

Вот так неожиданно снова возникла идея «Вечной невесты». Решили потолковать об этом после охоты, спокойно и обстоятельно.

Потом попрощались:

— Доброй ночи!

— До утра!

Вернувшись к сестриному дому, он еще походил по двору. Рассуждения гостей произвели на Арсена Саманчина большое впечатление. Не ожидал. Сказывалось европейское образование. И в то же время удивлялся: как могут они совмещать в себе высокие материи и охотничьи страсти?

Однако пора было спать.

* * *

И все живые твари в горах засыпали в тот час, погружаясь в покой ночного мира. Только Жаабарс под Узенгилеш-Стремянным перевалом не находил себе ме-

ста, рычал на луну, покусывал лапу и предчувствовал что-то тревожное, сам того не понимая... И все тот же голос доносился издали. И ей не спалось, Вечной невесте...

* * *

А кому-то думалось в ту ночь о земной возлюбленной. Как там Элес? Пospела ли с подругами на поезд в Саратов? Если нет, придется ждать сутки. Поезда нынче ходят редко. Все переключились на самолеты. Элес звонила утром, больше поговорить не удалось. Ни минуты не было. И вспоминалось вновь то незабываемое, что было между ними в ущелье у реки, где им было так хорошо вдвоем, и хотелось, чтобы повторялся еще и еще тот благословенный миг счастья...

Ночь минула. Погода к утру принахмурилась. Невесть откуда тучи набежали над горами. Ветерок задувал то с той, то с другой стороны. А ведь такая благодать, такое летнее спокойствие царили в последние дни, что казалось, так будет всегда. Впрочем, и сейчас не было повода для беспокойства. Легкая пасмурность могла исчезнуть так же неожиданно, как и появилась. Не следовало воспринимать это как предвестие дождя или — того хуже — грозы.

С раннего утра дела завертелись — только поспевай, надо было организовать выезд на «оперативное охотничье мероприятие», как было сказано в официальных документах фирмы «Мерген».

Перед выездом на бронированном «Хаммере» гостей Арсен Саманчин еще раз проверил, не забыто ли случайно что: оружие снайперское, оружие автоматическое, бинокли, мегафоны-громкоговорители, дыхательные маски на случай, если у кого-то возникнет одышка на большой высоте, и прочее...

До конной стоянки добрались нормально, проехав на колесах километров тридцать со скоростью не более сорок—пятьдесят километров в час. Конники ждали наготове. Все лошади были подкованы и оседланы.

Тут пришлось вещи навьючивать на лошадей. Сам шеф Бектурган контролировал ход работы.

Арабы оказались неплохими наездниками. Ездить верхом в горах — не то что на беговых дорожках ипподромов. Горный всадник должен все время балансировать в седле и следить за поступью коня, когда со склонов то справа, то слева оползает грунт и осыпаются камни.

Двигались гуськом. Впереди ехал проводником местный чабан, за ним шеф Бектур, дальше — гости, следом Арсен Саманчин. Пока что можно было переговариваться напрямую, но у каждого имелся мегафон, чтобы не терять связь и на больших расстояниях друг от друга. Охранники и помощники следовали в некотором отдалении.

Горы сходились все тесней, скалы высились отвесными уступами, склоны были покрыты сыпучими мелкими камнями, которые осложняли проход, но кони пока шли.

Между тем животный мир высокогорья уже начал являть себя — несколько раз мелькали по сторонам небольшие стада пугливо скачущих горных коз — теке и рогатых баранов — архаров. Парнокопытные, вечные кормильцы хищников, передвигались куда-то по своим нуждам. Наблюдая за ними в бинокль, восхищаясь их грациозными ловкими прыжками, Хасан приостановил коня и с едва заметной одышкой произнес:

— Мне сейчас подумалось, друзья, что, если бы эти прекрасные животные собрались и дружно ушли в дру-

гие края, барсы перегрызли бы с голоду друг друга, не так ли?

— Ума не хватает! — насмешливо подхватил Мисир. — А то бы сбежали.

— А может быть, наоборот, так умно устроена природа? — вставил Арсен Саманчин.

Оба охотника заулыбались.

— Верно! Следует преклоняться перед мудростью природы!

— Удачи барсам — значит, удачи и нам! Не так ли?

Этот шуточный обмен репликами невольно создавал атмосферу взаимной симпатии, и это было весьма кстати. Арсену Саманчину того и хотелось, чтобы гости были максимально благорасположены, поскольку прибыли они сюда не только ради охоты. Человеческие отношения в таких случаях не менее важны.

— Ну вот, уважаемые гости, — говорил он, — глава нашей фирмы шеф Бектурган просил сообщить вам, что за вон тем утесом будет отдых, там палаточная стоянка. И там мы оставим лошадей, дальше — только пешком.

— Мы готовы.

— Охота есть охота...

Был уже полдень. Спасибо шефу Бектуру — устроил небольшую передышку, посидели в палатках, попили горного кумыса. Высокогорье давало о себе знать — дышалось с трудом. Стали примерять рюкзаки, навешивали на себя оружие, мегафоны, иное снаряжение.

Когда гости после трудного пути расположились в палатках отдохнуть, для Арсена настал удобный момент уединиться. Шеф Бектур, поддерживаемый под руки двумя помощниками, слез с коня и, тяжело отдышавшись, хватаясь за бороду, счел нужным предупредить гостей и их сопровождающих, что придется подо-

ждать, возможно, и не скоро удастся выйти за добычей, ибо от загонщиков пока нет никаких вестей. Гости отнесли к известию с пониманием.

На таких горных высотах, как утверждают альпинисты и геологи, как правило, происходит «вахтенная смена души», что-то вроде перезарядки, обновление настроения и восприятия окружающего мира. В горах лучше думается, свидетельством тому — горное местоположение храмов и монастырей, принадлежащих разным конфессиям, использующим медитативные практики. Говорят, что мыслится в горах раскованней и эмоциональней, чем на низинных равнинах. Высокогорье обладает феноменальной аурой. Вот почти осязаемое небо прямо над головой, рукой дотянуться до облаков, вот неизбежно впаялись твердью в земную кору на веки вечные скалы, вот снега и льды в своей непреходящей кристальной чистоте — тоже рукой подать, прозрачная вода плещет в реке сверкающей голубизной, и воздух, ненасытный для дыхания, входит в грудь и выходит настолько ощутимо, как если бы ты только что выжал тяжелую штангу.

Возможно, это в природе вещей, возможно, в высокогорной стихии действительно возникает некое особое состояние человеческого духа, когда и мысли, и чувства, и воображение становятся под стать снежным вершинам и пронзительным ветрам упругой горной сферы. Именно такое состояние испытывал в тот момент Арсен Саманчин. Уйдя в себя, отрешившись от всех насущных забот, он словно бы пребывал в каком-то ином мире. Мысленно он находился в то мгновение не здесь, на стоянке, а где-то в далекой степи. Ему слышался, как наяву, долгий оглушительный паровозный гудок, ритмичный грохот пассажирского состава, а сам он бежал рядом с поездом и, на бегу заглядывая в окно,

кричал: «Элес! Эй, эй, Элес, это я, я люблю тебя! Эй, красавица моя! Ты едешь в Саратов, а я в горах, но я с тобой. Я не могу без тебя!» Всю свою студенческую жизнь он ездил по этой дороге в Саратов и дальше в Москву, он любил Саратов на Волге! Сары-тау по-казахски! Теперь туда направлялась Элес, а он мысленно просил у нее прощения за то, что так привязался к ней и не давал спокойно уехать. Но он действительно больше не мог без нее. Потому и сходил с ума, снова и снова прокручивал мысленно свою эпопею, погружался в воображаемые события так глубоко, что иллюзии, мечтания становились равнозначны реальности.

Никто в ближайшем окружении Арсена не предполагал, что с ним происходило, что творилось в его душе. И только Элес слышала и видела его, она стояла в тамбуре, высунувшись в открытую дверь вагона, и, держась одной рукой за поручень, другую протягивала навстречу Арсену Саманчину:

— Арсен! Арсен! Я тебя слышу, я тебя вижу, я тебя люблю! Догоняй, прыгай, я тебя подхватчу!

Чего только не пригрезится на вольных ветрах мечтаний! И он приложил все силы, чтобы догнать уходящий поезд. И догнал, потому что страстно желали того влюбленные, а любовная страсть обладает мощью вселенской стихии, ей подвластны вечность и бессмертие, ибо она — зов к продолжению рода.

Так повелела судьба, и он добежал до вагона, Элес протянула ему руку, он успел прыгнуть на подножку, и они обнялись...

— Пойдем посидим, поговорим, — сказал Арсен Саманчин, отдышавшись наконец. — У меня серьезный разговор.

— Куда ты торопишься? Ты же устал, отдохни...

— Времени нет. Мы готовим охоту в горах, мне торопиться надо. Вот, в этой папке моя рукопись...

— Рукопись? Да ты что, Арсен? Это из-за рукописи ты бежал за поездом?

— Я хочу рассказать тебе. Пойдем.

Они сидели в купе у окна, напротив друг друга, и вот о чем говорил Арсен Саманчин.

— Кстати, Элес, в этой рукописи мой саратовский рассказ, почитай по пути — история из времен Второй мировой войны, когда нас с тобой еще не было на свете, а наши будущие родители бегали босоногими подростками. И вот через столько лет — век успел смениться — эта история дала о себе знать ностальгией по минувшим годам, напоминая то, чего никогда не следует забывать: все войны — это прежде всего нескончаемые взаимные убийства и каждый убитый, кем бы он ни был — генералом или рядовым, — наверняка раскаивается, переходя в мир вечного безмолвия. Я написал о том времени грустный рассказ под названием «Убить — не убить». В нынешние времена убить — все равно что окурок отшвырнуть. Стреляют налево и направо, я и сам чуть было не оказался у того порога. Но этот рассказ не пустая интрига, не виньетка для криминального сюжета. У меня такое ощущение, будто я вынырнул с этим рассказом со дна океана и пошел на кладбище, где похоронены миллионы убитых и убивавших, чтобы в тиши прочесть его себе и им. Ты извини, Элес, что я вдаюсь в свои рощи и чащи, но ведь ты профессиональная библиотечка, ты-то знаешь и понимаешь, что к чему, и я очень доволен, что ты как надо прочитываешь мои сумбурные мысли. Спасибо, Элес, ты киваешь головой. Так вот, минувшей зимой я поехал поездом в Байконур, на космодром, мне позвонил прямо из космоса, с орбиты, космонавт-«долгосрочник» Салиджан, мы с ним друзья. Я собирался написать эссе о человеке, в помыслах которого найти — по-

ка что это фантастика, но так будет когда-нибудь — каждому человеку место существования в космосе. Опять потянуло меня в утопию. Извини. Ну вот, минувшей зимой для меня наступила пора ностальгии — давно уже не ездил я по железной дороге и по пути вспоминал, как это бывало в мои студенческие годы. Из Байконура я поехал дальше на поезде через Саратов в Москву, и вдруг, когда стоял у окна и всматривался в окружающие пейзажи, — а я очень люблю ехать и любоваться видами из окна, такой уж я сентиментальный, что поделаешь, — прошлое накатило прибоем морским на берег моего сердца. Оказывается, все это время жило во мне и ждало своего часа то, что нахлынуло теперь на душу. Что было и что происходит на этой железной дороге, в тех же поездах, идущих по тем же местам, по степям через Казахстан, через Саратов в Москву? — думалось мне с тоской. Дорога все та же, поезда встречные и попутные все те же, направление движения все то же: Запад—Восток. А что случилось здесь с людьми, какие метаморфозы претерпели человеческие судьбы? И привиделись мне события минувших лет, будто фильм смотрел, снятый из космоса: Аральское море погубили, душа стонет, зато обустроили Байконурский космодром... А между ними столько всего! Вот тогда я дал себе слово написать то, что довелось мне услышать в далекие теперь годы в пути от инвалида, прошедшего штрафбат, таких теперь называют инвалидами ВОВ — Великой Отечественной войны, от Сергея Николаевича. В рассказе он юноша Сергей, а я был тогда его попутчиком-студентом, по обычаю нашим с почтительностью относившимся к старшим, он мне годился в деды. Опять я разговорился, а времени в обрез. От Саратова, где Сергей Николаевич сел в наш вагон, до Москвы двое суток пути, рассказ получился длинным. Потом,

в Москве, я помог ему добраться до клиники. Но написать «Убить — не убить» я задумал только через десять лет, Сергея Николаевича, то есть Сергия, уже в живых нет, узнал, справки навел. Жаль очень. А когда сочинил, вернее, пересказал то, о чем попытался поведать мне Сергей Николаевич, понял, что эту вещь надо читать на фронтовых кладбищах. Знаешь, Элес, ведь ты тоже имеешь некоторое отношение к этой истории. Удивлена? А суть в том, что и я, и ты, и эта история — все это происходит на одной дороге, связующей Запад и Восток, на пути через Саратов в Москву. Сергий уезжал по этой дороге на фронт, я постоянно ездил на учебу в великие российские города Москву и Ленинград, а ты теперь челночница, мотающаяся по этой дороге, на этом же поезде, и нас всех что-то связывает... Ой, останови, останови меня, Элес. Время! Но главное, что я хочу тебе объяснить, ради чего бросился догонять тебя — мог бы, казалось, повременить и в следующий раз спокойно поведать, но не могу ждать, — связано с тобой, Элес, с нашей встречей. Сразу скажу: ты меня спасла. Не зная, что со мной творится, ты спасла мою душу. Весной этого года собирался я опубликовать рассказ «Убить — не убить», мне хотелось сказать свое слово о вечной природе войны и вечной природе человека. Любая война — дело рук человеческих, и любая война — трагедия для каждого, кто в ней познает эту простую первоистину... Об этом и пытался я поведать в своем рассказе, но тут произошло в моей жизни такое, что я сам, уже в теперешние наши дни, собирался совершить жестокое и неотвратимое убийство. И это было бы не просто еще одно в череде бесчисленных убийств, а неслыханное кощунство со стороны автора такого рассказа, богохульство: в писаниях своих утверждать одно, а делать совершенно другое... И потому я от-

ложил, спрятал «Убить — не убить», чтобы не мучила меня совесть. Теперь мне стыдно. Убийством своим я опроверг бы собственную идею. Но вот — судьба милвала! — ты, Элес, избавила меня от намерения совершить убийство, потому что наша любовь стала для меня откровением. Я вновь свободен и честен перед собой, и это освобождение принесла мне ты. Никогда не пойду я теперь на то, что вчера еще с одержимостью считал справедливым и неотвратимым мщением.

Вот об этом мне и хотелось тебе рассказать, насколько успею. И еще: переворот во мне совершился после нашей встречи. И вот подумалось: как же не хватает нам подчас духовного общения, интимного выражения того, что накопилось в душе, что пытался, например, я высказать в «Убить — не убить». Эту исповедь юного Сергия надо читать в тиши и покое, вне суеты повседневности, чтобы души умерших слышали и убеждались в том, что не всегда дается познать при жизни. Более того. У каждого человека должна быть своя сокровенная молитва. Моя молитва — в тексте этого рассказа. Если окажется она тебе близка — присоединяйся, разделим общее переживание. А это главное в любви... Я уже записал в свою записную книжку — мне хотелось бы, чтобы первые чтения состоялись на знаменитом Волоколамском кладбище Подмосковья и под Брестской крепостью, а потом и во многих других местах, в том числе в Европе.

Извини, Элес, я многословен, но коротко бывает мгновение счастья, а любовь — это исключительное открытие для двоих перед зовом вечности. Вот я сейчас в горах, но при всем при этом я разговариваю с тобой так, будто мы сидим вместе, в одном купе. Иллюзия, конечно, и вот тому подтверждение — к нашей стоянке едет всадник, должно быть, от загонщиков таштанаф-

гановских... Ну что ж, пора за дело. До встречи, Элес, до встречи...

Всадником оказался Лохмач из группы загонщиков. Он покивал гостям косматой головой в знак приветствия и обратился к шефу Бектуру: Таштанафган послал его и просил передать, что снежные барсы выслежены, две семейные стаи, их можно увидеть в бинокли, а один крупный барс, «башкастый-хвостатый», мол, даже находится под контролем, его можно заставить идти в нужном направлении. Но главная просьба Таштанафгана заключалась в том, чтобы переводчик Арсен вначале подъехал к нему, он хочет объяснить ему, как действовать безопасно, чтобы с нужного места пристрелить большого барса, находящегося в зарослях. На словах это трудно объяснить, пусть подъедет и увидит на месте, а потом сориентирует гостей-охотников. Шеф Бектур согласился.

— Слушай, Арсен, объясни гостям, что ты сейчас встретишься с загонщиками перед началом охоты. Зверь коварный, одинокий, может наброситься и сбежать по кустам. Пусть на месте покажут, откуда и как заходить.

Они охотно согласились подождать.

Лохмач поехал впереди, Арсен Саманчин, тоже верхом, — за ним. Дорога среди кустарников между скальными глыбами оказалась очень сложной, с трудом въехали в расщелину. Наверху кружили стаями какие-то птицы. Вокруг полная тишина. Лохмач взял в руки мегафон и прокричал:

— Таштанафган! Мы на месте! Слышишь? Мы уже здесь!

Тот ответил, тоже по мегафону:

— Я тоже здесь! Сейчас!

Арсен хотел было спешиться, чтобы передохнуть. Но Лохмач остановил его:

— Сиди, зачем? Вон он, Таштанафган, уже здесь.

Из-за кустов сбоку появился на коне Таштанафган с громкоговорителем, болтающимся на шее, с автоматом на плече и — о ужас! — в плотно напяленной на голову военной фуражке! Арсен онемел. А Таштанафган, поправив фуражку, сказал:

— Не пялся! Мы все наготове! Все впятером, все с автоматами! Или передают нам в руки выкуп, двадцать миллионов, — или всем конец! Всем, кто здесь есть! Никому не жить. Никого не пощадим. Ну, что молчишь?

— А что мне говорить? — с трудом произнес Арсен Саманчин. — Ведь ты же обещал: не беспокойся, все будет в порядке.

— А это и есть наш порядок. Так что давай выполнять. Повернись туда, глянь — вон она, та самая пещера Молоташ, о которой я говорил. Она заминирована. Сюда загоним богатеев. Ты им переведешь на английский все, что я скажу, каждое слово. Глобализация для всех одина, пусть не думают — не только им причитается. Мы возьмем свое. Вот тут, смотри, вход в пещеру, слазь с седла, заходи. Места много, заложники отсидят ровно сутки, не будет выкупа — ни малейшей пощады. Что молчишь? Обалдел? Так ведь я тебя предупреждал. 'А ты хотел, чтобы я растаял, как конфета? Не жди! Ну, что молчишь? Я спрашиваю, будешь или не будешь выполнять немедленно мой приказ?!

Арсен Саманчин, уже было спешившийся, снова поставил ногу в стремя. Таштанафган одернул его:

— Стой! Вначале выслушай — ты приведешь их сюда, мы разоружим их и загоним в пещеру. Разговор будет крутой. С автоматом вплитык к затылку. По моему приказу ты им велишь звонить по их спутникам в их банки дубайские, эмиратские или какие там еще,

чтобы немедленно направили сюда самолетом наш выкуп. Каждое слово ультиматума чтобы впечаталось им в головы! И все, что они будут говорить, каждое слово, мне передашь. Ясно?! Если нет, ты — наш пленник. Тебе и им конец!

— Не торопись, — наконец проговорил Арсен Саманчин, понимая, что переубеждать озверевшего человека бессмысленно. — Если ты так решил, знай: прольется хоть капля крови — я ни перед чем не остановлюсь!

— Не угрожай! Я сам не хочу крови. Двадцать миллионов — и уйдут живыми! Мое слово! Выполняй! Даю максимум двадцать минут! Ни секунды больше! Веди их сюда как бы на встречу с загонщиками. Чуть что — стреляем на поражение. Нам терять нечего! И запомни: с тобой — только они, двое гостей, якобы для отстрела барса. Скажи — он тут, в загоне, есть и еще выслеженные, но они — потом. Все остальные пусть ждут там. Ясно? Выполняй!

— Сейчас, — невнятно пробормотал Арсен Саманчин, глянул мельком на фуражку Таштанафгана, будто бы, не будь ее на голове бывшего одноклассника, все обернулось бы иначе, тяжело вздохнул, молча сел на коня и двинулся в обратную сторону, туда, откуда только что прибыл.

Наступила мертвящая пауза. Не оборачиваясь, молча отъезжал согбенный, поникший в седле Арсен Саманчин, чтобы привести к пещере гостей-охотников, сдать их и самому сдать. Слышалось только журчание сбегающих вниз ручьев. Какие-то птицы беззвучно пронеслись над головой. Конь осторожно ступал по завалам, направляясь к палаточной стоянке. Оставалось совсем недалеко, когда Арсен резко остановил коня в кустах за скалой, привстал в стременах и огляделся

вокруг. Сдернул мегафон, что висел на правом плече, положил на луку седла автомат-«калаш» и, судя по всему, к чему-то приготовился. Несколько секунд спустя над горами разнесся усиленный мегафоном отчаянный голос Арсена Саманчина. Он кричал яростно и грозно попеременно на английском, русском и киргизском:

— Слушайте, слушайте мой приказ, пришлые зарубежные охотники! Будьте вы прокляты! — Громкоговоритель раскатывал его слова по горам многократным эхом. — Руки прочь от наших снежных барсов! Немедленно убирайтесь вон отсюда! Я не дам вам уничтожить наших зверей! Мотайте в свои дубаи и кувейты, прочь с наших священных гор! Чтоб ноги вашей больше здесь не было! Убирайтесь немедленно, иначе вам конец! Всех перестреляю! — Он подкрепил свои слова очередью в воздух из автомата. В горах загремело. С какого-то склона посыпались камни. И тотчас в ответ поднялась стрельба с разных сторон. Беспорядочная пальба всполошила коня под Арсеном. Конь рванулся и тут же грохнулся, смертельно раненный. Арсен Саманчин едва успел выкарабкаться из-под лошадиного крупа, выворачивая себе ноги. Стрельба усиливалась — стреляли все как сумасшедшие: и таштанафгановцы, и охранники гостей, и люди Бектура. Арсен так и не узнал, что в этой суматохе иностранцы, вскочив в седла, уже неслись прочь.

Лежа рядом с убитым конем, Арсен осознал, что получил сразу несколько ранений. Плечо, грудь, поясницу свело чудовищной болью. Из последних сил он старался не скатиться вниз по склону, отодвинуться подальше от края, когда вдруг метнулся перед ним огромный барс, весь в крови. То был Жаабарс. Зверь рыкнул и, пригибаясь к земле, волоча ногу, устремился

дальше. Солнце раскачивалось над головой Арсена, горы колыхались, и ветер удушающе стискивал горло. Он отшвырнул мегафон, автомат и попытался отползти в ту же сторону, куда ушел раненый зверь. Он не видел и не знал, что творилось вокруг, — как орал и материл его взбесившийся Таштанафган: «Сволочь! Предатель! Чтоб ты сдох, чтоб подавился своей завистью!», как старик Бектурган, упав на землю, рвал бороду, истошно вопя: «Позор! Позор на наши головы! Чтоб тебя прокляли боги и предки!» Что кричали по-арабски убегающие восвояси гости-охотники, в здешних горах не понял никто.

Постепенно шальная стрельба утихла, смолкли вскре и крики.

Знал бы Арсен Саманчин, что сотворил он в одно мгновение с людьми и со зверями... Но теперь ему было не до того. Ранения оказались серьезными, он это чувствовал. Особенно давило в груди, вся одежда пропиталась кровью. Он понимал, что долго не протянет, и хотел где-нибудь укрыться. Брел шатаясь, падал, вставал, задыхался. Хорошо, что запомнил, в какой стороне находилась та самая пещера Молоташ. Туда-то и добрался наконец Арсен Саманчин и заполз на коленях внутрь. И тут увидел он медленно гаснущие глаза огромного снежного барса. То был Жаабарс. Зверь не шевельнулся. Не попытался даже поднять голову с протянутых вперед лап. Как лежал, опустив на них голову, так и остался лежать, тяжело и хрипло дыша.

— И ты здесь? — сказал почему-то Арсен зверю, точно бы они были знакомы.

Жаабарс истекал кровью.

Та же участь постигала и человека.

Волею судеб очутились они — человек и зверь — в свой последний час в одном схроне поднебесном,

в пещере, рядом, бок о бок... И словно в недоумении стал погрохатывать над горами гром, раскатывался эхом, будто спрашивая: что же это такое? И так же удивленно вспыхивали в облаках молнии...

Когда, пересев с коней в машины и срочно прикатив в аил, гости-охотники тут же, ни с кем не попрощавшись, отбыли на своем «Хаммере» в сопровождении кортежа в Аулиеатинский аэропорт, где стоял под парами их самолет, все стало ясно.

Так в одночасье рухнул в пропасть международный охотничий бизнес фирмы «Мерген», и никому не верилось, что учинил этот провал бизнес-проекта племянник самого Бектура-аги.

Туюкджарцы, сбегаясь со дворов, собрались гудящей толпой, из которой слышались выкрики:

— Позор, проклятие на наши головы!

— Арсена повесить мало! Спалить его, сжечь!

— Угробил такое дело! Не дал нам заработать хотя бы малость!

— Ему звери дороже, чем люди, — так пусть растерзают его сами барсы!

Стихийная истерика разгоралась все больше, и тогда двинулась разъяренная толпа к дому сестры Арсена Саманчина, в злобе и ярости стала крушить во дворе все, что попадало под руки и под ноги, расколотила стекла и фары арсеновской «Нивы», разорвала в клочья его рубашки и куртку, сушившиеся на веревке... Сестра, старавшаяся уберечь ноутбук брата, была избита, муж-кузнец, прибежавший с работы и кинувшийся ее защищать, тоже оказался избитым...

И лишь внезапно хлынувший дождь и разразившаяся гроза остановили хаос и заставили толпу разбежаться.

А гром сотрясал окрестности, молнии одна за другой пронзали небо, и все прибывающий дождь захлестывал горные расщелины и пещеры.

Как чувствовала, Элес позвонила ближе к вечеру с вокзала сестре в Туюк-Джар. Она оставила ей свой мобильный телефон — пусть, мол, будет у тебя, а я буду звонить с подружкиных. Никогда прежде так не делала, а в этот раз почему-то захотела обеспечить себе связь. И вот за полчаса до отъезда решила узнать, как они там поживают, а заодно — есть ли какие вести с гор. Но не успела она и слова сказать, как сестра в истерике закричала:

— Весь аил на ногах, вот что твой Арсен учинил, кричал там, в горах, через громкоговоритель: «Руки прочь от наших барсов! Убирайтесь к чертовой матери!», гнал приезжих в шею, мало того, открыл по ним стрельбу. И все вокруг принялись стрелять в ответ. А Бектур-ага бился головой о камни. И весь аил громит теперь двор Арсеновой сестры. А сам Арсен исчез куда-то, говорят, то ли его пристрелили, то ли сам застрелился. Ты слышишь меня, Элес? Ты что молчишь? Что с тобой? Да отвечай же!

И тут сестра подняла вой:

— Несчастье-то какое! Что же теперь будет? Так полюбила она этого Арсена — и что же теперь?

— Да прекрати ты! — стал успокаивать ее муж. — Подумай, что толку так орать? Когда Элес приедет, я повезу ее в горы, на Молоташ. А хочешь — поедем вместе. Пусть она своими глазами увидит и поймет, что к чему. Только не травми себя.

— Ой, что же мне делать! Что с ней будет?.. А дети как, коли поедем в Молоташ?

— Ничего. Подростки уже. Пару дней обойдутся. Скот обиходят. Соседи за ними присмотрят...

Нагарницы Элес были ошарашены, когда она схватила рывком свой рюкзак и, вскинув его на плечи, сказала, чеканя каждое слово:

— Езжайте сами. Вот вам мои документы для Саратова. Я срочно возвращаюсь в аил.

— Что, умер кто-то?

— Валким (Возможно).

— А когда мы вернемся, увидимся?

— Валким (Возможно).

— А что нам сказать? Ты приедешь за своим товаром?

— Валким (Возможно).

— Да что с тобой? Сказать тебе больше нечего?

— Отстаньте! Я свое сказала! Езжайте без меня. Все!

И с этими словами Элес кинулась бежать, расталкивая встречных. Люди шарахались от нее. Знали бы они...

* * *

Знали бы... Кому было знать, кто мог бы представить себе, что горе ее, перехлестывая через пространства, изливалось в те мгновения вместе с грозовым ливнем на горы Узенгилеш-Стремянные, где исчез ее возлюбленный, что бежала она теперь по горам вместе с Вечной невестой... «Помоги мне, родная, скажи, если ты видела его!»

А в тех глубинных горах до самого вечера не унималась гроза, раскатываясь вокруг громаханием эха, ослепительно озаряя молниями ущелья и долины. Утяжеляясь под дождем, постепенно сгущались сумерки. Давно не бывало тем летом такого затяжного дождя. И в пещере Молоташ становилось от него все темней и холодней.

Но это уже ничего не значило для тех, кто волею случая ли, судьбы ли оказался в той пещере. Их было

двое в этом их последнем пристанище — умирающий человек и зверь дикий, умирающий рядом. Оба одинаково заканчивали свой земной путь, израненные то ли шальными, то ли прицельными пулями, — кому было теперь разбираться, кто в кого стрелял и почему? Все это сейчас, за считанные минуты до их ухода в бесследную вечность, не имело уже никакого значения.

Жаабарс задыхался, истекая кровью, сочившейся из ран медленно и необратимо. Он лежал все в той же обессиленной позе, опустив огромную голову на обмякшие лапы, его знаменитый хвост валялся на земле, как ненужная, выкинутая вещь...

Арсен Саманчин лежал рядом, привалившись боком к туловищу подышающего барса, так было удобней. «Вот и встретились напоследок...»

У Арсена Саманчина все больше намокало под боком, кровь впитывалась в каменистую почву. Сам он был пока еще в сознании и пытался удержать, сколько мог, последнее достояние жизни — мысль. И думалось ему о том, насколько был повинен он сам во всем случившемся, но прежде всего он прощался с ней, с Элес. Сколько было отпущено им счастья и любви, столько и уходило.

— Прощай, Элес. Прости за несбывшиеся мечты... Кланяюсь... Прощай, прощай... Не успел... Плачú... Повинен я...

Угрызения совести терзали его, когда он мысленно обращался к оскорбленным им арабским гостям:

— Повинен я, поносите меня последними словами и проклинайте, но не было другого выхода, только так мог я уберечь вас от опасности. Простите, если сможете...

С еще большим страданием и покаянием истовым обращался он к брату отцовскому:

— Бектур-ага, байке, прокляни меня! Прокляни беспощадно! Опозорил я наш род, погубил твое дело, как мне объяснить теперь, что другого выхода не было? Понимаю, какой позор обрушил я на твою голову, сколько горя причинил. Но прости, не из злых побуждений так поступил, не из глупости и зависти... Живи долго, дядюшка, а брату твоему, отцу моему покойному, я все объясню на том свете...

Припоминал он и родственников, сестру Кадичу и ее мужа-кузнеца:

— Какое бедствие учинил я вам. Повинен, простите... Не поминайте лихом...

Вспомнил напоследок и брата Ардака:

— Ардак, я умираю. Не страдай за меня, хватит у тебя и других забот. Расти детей, а я ухожу бездетным. И это тоже наказание Божье...

Винился Арсен Саманчин и перед Айданой:

— Прости, Айдана, что осуждал и презирал тебя за пошлую звездность твою. Это твое дело. Как хотелось мне, чтобы на оперной сцене ты явилась Вечной невестой. Теперь судьба избавляет тебя от моей назойливости, а этому Эрташу Курчалу не говори ни слова, я ему сам все скажу напоследок. Эрташ, повинен я был до последних дней, замышлял тебя убить, настолько ненавидел и презирал, и были на то причины. Но раскаялся. Не думай обо мне дурного, прости, если можешь.

Однако тяжелей и мучительней всего было умирающему Арсену Саманчину обращаться к однокласснику своему Таштанафгану. Что тут было сказать? Обвинить, проклясть?

— Пусть буду я жертвой, тобой принесенной, и никто не узнает о том, на что ты готов был в преступном озверении своем. Я сам повинен — перед собой, не пе-

ред тобой. Так пусть стану я твоей жертвой и твоим искуплением, бог с тобой!

Простите меня и вы, земляки, лишил я вас заработка, пусть и мелкой деньги. Так случилось... Не топчите мою память, не от добра я пошел на такое дело, но об этом никто не узнает... Прощайте.

Снежный барс был уже мертв. Человек испустил последнее дыхание следом...

Но, умирая, в последние мгновения жизни, услышал он далекий голос Вечной невесты: «Где ты, где ты, охотник мой?» И прошептал запинаясь: «Прощай, теперь мы с тобой никогда не увидимся...»

Луна путалась в облаках ночных, ветер рвался и томился в скалах, и не слышно было ничего иного...

* * *

А наутро, ближе к полудню, на том месте близ пещеры Молоташ, где накануне произошла чудовищная трагедия, появились три всадника — мужчина, ехал он впереди, и две женщины. То были Элес и ее сестра с мужем. Они привезли ее сюда, чтобы увидела она собственными глазами и убедилась: ее горе необратимо и примириться с утратой придется неизбежно.

Сестрин муж Джоро хорошо знал эти места. В бытность свою заведующим колхозной овцеводческой фермой не раз заглядывал сюда по пути на пастбища, знал и пещеру Молоташ, поэтому быстро провел Элес и сестру ее к пещере. Вначале увидели они на тропе пристреленного сивого коня, пролежавшего здесь почти сутки под дождем и оттого разбухшего так, что копыта разметались по четырем сторонам, а подпруги седла лопнули от напряжения и седло свалилось на сторону. Тут же валялись Арсеновы мегафон и автомат. Джоро прыгнул с седла и молча поднял с земли то и другое.

Брошенное оружие, убитый конь свидетельствовали о том, что Арсена в живых быть не может.

В пещеру входили с мрачным предчувствием. Элес дрожала и плакала, сестра держала ее под руку. То, что предстало их взорам, поразило их немотой: в застывшей луже крови лежали бездыханный человек и дикий зверь, огромный снежный барс. Голова Арсена Саманчина покоилась на груди Жаабарса.

Элес упала на колени и рыдала, поглаживая омертвевшую руку Арсена.

Женщины долго плакали. Сестра накинула на голову Элес черный траурный платок. Джоро то выходил из пещеры, то заходил снова, ждал, когда женщины успокоятся.

Элес, всхлипывая, говорила рядом сидящей сестре:

— Кумар, ты мне как мать, не буду скрывать от тебя, я ведь по глупости наговорила Арсену, что хотела выйти с плакатами «Руки прочь от наших барсов!», хотя сама же понимала, что в нашем аиле такое невозможно. Арсен ничего не сказал тогда, но, конечно, душой воспринял мои слова, и вот случилось... Зачем я это сделала?!

— Успокойся, Элес, между собой близкие люди о чем только не говорят. Так судьба распорядилась. Ты лучше подумай, как похоронить несчастного. Ведь родственники и слышать не хотят о его погребении после всего, что случилось. Не оставлять же покойника здесь навечно вместе с убитым зверем.

— Ты права. Но как я буду жить без Арсена? Мы точно бы весь свой век прожили вместе. Говорят, есть в России монастыри женские, слышала в челночных поездках. Разузнаю, уйду и буду там Богу молиться за него днем и ночью, хотя никогда в Бога не верила. Только в одном случае не решусь — если пошлет мне судьба счастье, если родится дитя...

— Дай-то бог! А ты уверена?

— Почему-то жду. Снилось мне... А если нет, то схожусь в монастыре навсегда.

В это время над горами послышался громкий нарастающий гул. Они вышли из пещеры и стояли втроем, наблюдая за вертолетом. Он летел вдоль ущелья между высокими вершинами. Лошади на привязи стали волноваться. Джоро пришлось взять их за поводья, чтобы успокоить. Вертолет покружил-покружил и удалился. Когда шум стих, Джоро задумчиво сказал:

— Думаю, вертолет не случайно прилетал сюда. В горах-то летать небезопасно. Наверное, и до райцентра дошла весть о том, что здесь случилось.

А жена его добавила:

— Это их дело. А у нас свои заботы. Мы тут думали с Элес, как похоронить Арсена. Ты, Джоро, что скажешь?

— Что скажу? Тут и думать нечего, хоронить требуется, и как можно скорей. Но вот пока никто из родственников и соседей даже слова не промолвил о похоронах. Ругают, кричат, проклинают — это да. Но сколько можно? Доставить по горным тропам тело покойного на большое айльное кладбище — непростая задача. Потребуется местами нести труп на носилках, для этого несколько человек должно быть.

Джоро приходил к выводу, что надо так или иначе решать вопрос с близкими родственниками. Да, все страшно возмущены случившимся по вине Арсена Саманчина, но ведь хоронят даже отпетых преступников.

— Надо думать, — продолжал размышлять Джоро, — а пока пройдем внутрь, я хочу прочесть молитву за упокой души Арсена. Я не мулла, но — как сумею.

И снова вошли они втроем в пещеру, сели возле усопшего, замолчали. Раскрыв ладони, Джоро стал про-

износить молитву, что-то невнятно бормотал по-арабски, хотя, как и все местные, ни слова не знал на этом ритуальном языке. Но обычай есть обычай...

Во время этой самодеятельной молитвы Элес думала: хорошо, что сестра ее с мужем проявили такое понимание и сочувствие, не то не оказалось бы рядом ни души, умерший лежал бы тут в полном одиночестве и забвении. И как бы в ответ на ее горькие раздумья снаружи слышались топот копыт и людские голоса.

В пещеру вошли пять человек. То были Таштанафган и его напарники. Они не сели, как полагалось, а молча стояли, мрачно ожидая завершения молитвы. Как только молитва окончилась, Таштанафган жестко промолвил:

— Мы должны сказать вам, что пещера Молоташ заминирована. Вам следует покинуть ее сейчас же, потому что она будет взорвана. Поторапливайтесь.

Джоро, однако, возразил:

— Зачем взрывать? Тут же находится убиенный Арсен Саманчин, его полагается похоронить.

— Это не наше дело. Мы должны взорвать пещеру, и труп останется под завалом — значит, будет похоронен.

— Это не похороны! — возмущенно воскликнула Кумар. — Я как женщина вам говорю: «Подумайте о похоронах, а потом о взрывах. Все мы смертны, и всем людям, вам в том числе, полагается в свой срок быть погребенными по обычаям людским».

— Не учи! Пещера Молоташ будет взорвана по заданию. Для этого мы и прибыли. Даем вам полчаса.

И тут, отведя от лица черный платок, подала голос сама Элес:

— Не смейте так поступать! Не смейте издеваться над человеческой смертью. Такое кощунство не прой-

дет вам даром. Я не позволю! Вы не имеете права уничтожить тело убиенного человека, лишить его права упокоиться в земле.

— А кто ты такая? — вскричал в злой досаде едва сдерживавшийся до поры Таштанафган. Откуда было знать Элес, какое сокрушительное поражение постигло его здесь вчера и что теперь одержим он был садистским желанием свершить лютую месть над бездыханным телом одноклассника своего.

— Кто я такая? Не сейчас бы мне отвечать! Вот лежит убитый человек у ног ваших, а я та, которая готова погибнуть хоть сейчас. Убейте меня — и тогда взрывайте. Я готова, взрывайте, взрывайте прямо теперь, чтобы остались мы с ним под завалом вместе навек!

Трудно сказать, чем закончилась бы эта дикая сцена, если бы не удалось найти выход благодаря здравомыслию Джоро:

— Таштанафган, послушай меня, не стоит так разговаривать с женщинами, когда они в глубоком горе. Опять же, при покойнике так спорить не годится, пошли наружу, поговорим, посоветуемся, как быть. Взрывать пещеру всегда успеется.

Они вышли и долго шумели и спорили снаружи.

Когда женщины снова остались одни возле убиенных, Кумар, поправляя черный платок на голове сестры, приговаривала:

— Не плачь, Элес, дух усопших все слышит. Ты сказала свое. Дух покойного будет доволен, а что станет дальше, пусть мужчины решают. Ох, горе-горе...

Элес отвечала:

— Спасибо, Кумар, сестра родная, ты и впрямь для меня как мать. Я вот сейчас думаю, отчего так круто изменилась судьба Арсена, ведь он умнейший был человек и справедливый. С девичества еще читала все,

что он писал в газетах, и в телевизионных передачах слушала его. А какая была любовь между нами! На две жизни хватило бы! И вот такой конец: погиб рядом с диким барсом в пещере, и хотят люди жестокие стереть с лица земли обвалом взрывным даже память о нем. Так что же это значит? Возвышает это его или унижает?.. Но для меня он теперь святой. Только бы родилось у нас дитя — мальчик ли, девочка ли, — фамилию его увековечить бы в потомстве.

Джоро появился вскоре очень озабоченный и стал объяснять, что убедить Таштанафгана так и не удалось. Тот дал время до утра, посоветуюсь, говорит, с шефом Бектурганом. Ждите, мол, прибуду утром, тогда и решим окончательно...

Ночью, сидя у костра, думала Элес все о том же: суждено ли будет ей ходить в памятные дни на кладбище, к его могиле, ведя за руку их чадо?

А когда донеслись до ее слуха из горной дали выклики Вечной невесты: «Где ты, где ты, отзовись, охотник мой!», она ответила ей шепотом: «Слышу, слышу тебя, Вечная невеста, теперь и я такая же, как ты».

Утром события повернулись к лучшему. Должно быть, раскаяние приходит не сразу, труден его путь через вечное преодоление зла в себе, нелегко услышать несовершенному человеку вселенский призыв всех времен к добру.

Таштанафгановцы прибыли с носилками и пеленами для тела покойного. Предстояло нести его до конца ущелья, где ожидал с машинами Бектур. Стало быть, взрыв пещеры Молоташ откладывался или отменялся. Шеф Бектур дал указание труп барса закопать там же, в горах.

Самозванная вдова Элес шла в черном покрывале вслед за носилками. За ней — сестра Кумар с мужем Джоро, державшим их верховых лошадей в поводу.

И никому не ведомо было, что происходило с Таштанафганом. Он тоже шел в трауре следом. Говорят, шел в слезах. А потом вдруг сдернул с головы свою военную фуражку, так им ценимую, и швырнул с размаха под откос.

Элес же мысленно повторяла на ходу: «Слышу, слышу тебя, Вечная невеста. Я еще вернусь, найду тебя, и поплачем мы вместе. Жди, я скоро приду...»

И еще молва ходила в те дни, молва, в которую трудно было поверить. Сказывали, что, когда вернулись в пещеру Молоташ двое парней таштанафгановских, чтобы выволочь оттуда застреленного «башкастого-хвостатого» и закопать его где-нибудь там же, Жаабарса в пещере не оказалось. Исчез куда-то Жаабарс. Исчез бесследно... А позже говорили, что скитается он тенью по горам. Самого его никто не видел, но следы его на снегу — по-прежнему мощные — замечали многие. Все так же любит Жаабарс бродить по сугробам. Таким уродился...

Вместо эпилога

Арсен Саманчин

(Публикация Элес Жаабаровой)

Убить — не убить...

Р а с с к а з

И только солнце останется не забрызганным кровью, и конь ускачет без седока...

Предсказание цыганки

Выводя самолет из зоны активного зенитного огня, летчик глянул вниз, чтобы удостовериться, насколько успел он удалиться от обстрела. Внизу космато растилался густой буро-зеленый лес, который как бы крепился набок вместе с ним на вираже, — казалось, лес постепенно опрокидывался, грозя свалиться в некую бездну. В следующую минуту истребитель выправился в полете, и лес разом вернулся на свое устойчивое место, слился с дымчатым горизонтом вдали. Мир обрел свои привычные очертания. Летчик едва перевел дух, и в это мгновение перед самолетом возникло нечто неожиданное, возникло настолько внезапно, что пилот не успел сообразить, с чем он столкнулся в воздухе, — какая-то бесформенная масса тяжело врезалась с ходу в самолет живым плотным телом. Машину резко тряхнуло от удара, и на долю секунды летчик полностью утратил видимость...

То была огромная стая ошалело несущихся птиц, точно бы ослепших на лету...

Пилот облился холодным потом. Едва удерживая штурвал, чтобы не провалиться в штопор, он судорожно передернулся в отвращении от кровавого месива, размазанного по стеклам кабины.

Птицы первыми покидали эти края, не дожидаясь осени. Они улетали в самый разгар лета стаями и врозь, ночью и днем, улетали, бросая гнезда с невысиженными яйцами, улетали от беспомощно тянувших шею птенцов, еще кормившихся с клюва. Последними исчезли куда-то болотные совы, перестав ухать по ночам...

Разбегалось зверье...

И повсюду горели окутанные на многие версты едким клубящимся дымом лесные чащи, рушился вековой лес, огромные сосны валялись с треском, как в бурело-ме. И содрогалась земля, извергаясь сплошными взрывами от шквальных артобстрелов и разорвавшихся мин, от бомб, падающих с неба, от танковых штурмов, от встречного огня по танкам... Растерзанные взрывами речки растекались, выходя из берегов, заливая низины и овраги. Один танк навечно завалился в глубокий ров с водой, задрав средь поля дуло пушки круто в небо...

И все это неотвратимо происходило изо дня в день и не могло быть остановлено по той причине, что на данном рубеже, выражаясь военным языком, шла война фронтов. Фронт на фронт. Каждой стороне требовалось сломить оборону противника, развернуть решительное наступление, разгромить фланги и тылы врага, уничтожить живую силу. И каждая сторона считала своей задачей первой осуществить прорыв, первой начать наступление...

Но пока эта задача никому не удавалась. И поэтому тянулась позиционная война, изо дня в день, изо дня в день...

А время шло своим ходом. И почти до самой осени на этом пространстве, именуемом театром военных действий, орудия не смолкали ни днем ни ночью, ни в дождь ни в вёдро... Птицы в тот год так и не вернулись к своим гнездовьям, потоптанные травы так и не смогли отцвести и осемениться.

Прифронтовые штабы, нацеленные на взаиморазгром, тем временем поспешно разрабатывали новые оперативные планы, доносили секретные сведения о потерях, о количестве убитых и раненых — и тот и другой штаб доказывали в один голос необходимость наращивания ударного потенциала и потому одинаково просили у своих Верховных главнокомандующих еще и еще подкреплений в живой силе, в технике, в боеприпасах: один ради идеи завоевания новых жизненных пространств, другой — ради защиты тех же пространств. Но, как бы то ни было, и в том и в другом случае резервы шли, силы снова убывали в боях и снова шли...

Искромсанное войною лето между тем уже склонялось к исходу, и для каждой из воюющих сторон наступил последний срок готовности, последний предел, за которым должен был грянуть прорыв, когда покатится по земле неудержимая сила — лавина наступления...

К этому великому действию, когда из всего сущего только солнце останется не забрызганным кровью, в края, покинутые птицами, судьба сгоняла в ту пору многих людей, быть может, родившихся на свет именно для этого рокового события.

Один из них следовал сюда в воинском эшелоне из города Саратова, из жаркой приволжской Предазии. В эшелоне все понимали, что едут на войну, но куда именно — на какой фронт, на какой участок, — это могло знать только высшее командование, солдатское

же дело — куда погонят... Однако поговаривали, что везут их в Москву, а дальше, ясное дело, — на фронт... Так оно и было. Предсказать такое движение оказалось совсем не трудно.

Отъезжали из Саратова на склоне дня, а через ночь душного пути, после осточертевших за лето, повыважженных зноем приволжских степей пошли, пошли проглядывать по сторонам, то вблизи, то на отлете от железной дороги, зеленые рощи да хвойные леса, любо было глядеть — как писанные на старинных картинах. И даже прохладой заметно повеяло в раскрытые двери теплушек, набитых солдатами и стрелковым оружием. А вскорее леса подступили вплотную.

— Глянь — какие леса побежали! Россия пошла, Россия-матушка! — переговаривались солдаты, точно бы сами были не из России, а из каких-то иных пределов.

Среди них находился один совсем молоденький, долговязый, солдатская одежда висела на нем как отцовская — Сергей Воронцов, или, как прозвали его во взводе, — Сергей, инок, а то и вовсе отец Сергей. К слову случилось, упомянул парень о Боге, что Бог не икона, а явление, а какое такое явление — толкований его никто не понял. Этого, однако, оказалось достаточно, чтобы зубоскалы принялись насмешливо величать его по церковному — Сергием да иноком. Удовольствие получали — Воронцову было всего девятнадцать лет от роду, почему бы и не посмеяться над умником. А он не обижался. Этот Сергей часами стоял у косяка, у поперечной перекладины вагонных дверей, больше всех торчал там в проеме. Другие играли в карты, у кого-то сохранилось даже что выпить после вчерашних проводов при посадке на вокзале, и, как водится, от вынужденного безделья в пути всякие разговоры велись галдежные в шуме и грохоте движения, иные же песни

пели — себя слушали на дорожном досуге, а его, Сергея, все к дверям тянуло — поглядеть на новые места, проносящиеся мимо. Больше всех глазел, любопытствовал по-мальчишески — в эту сторону исконно российскую Сергей ехал впервые, хотя и мечтал по окончании школы попасть на учебу в Москву, но теперь все это отпало, поезд мчал его на войну. А куда жизнь шла в эшелоне, в движении, в выбегании с жестяным чайником на станциях за кипятком, в поедании солдатских паек да в смене путевых впечатлений после трех месяцев муштры в армейском лагере на Волге. И всякий раз, увидев нечто необыкновенное, невиданное, подчас для других — бывалых — вовсе и не занятное, дергал Сергей кого-нибудь из рядом стоящих за рукав, погляди, мол! А там какая-нибудь срубная деревенька, прильнувшая к железной дороге, озерцо укромное в камышах, какой-то чудак почему-то верхом на корове — вот это да, вот это кавалерист; высоченная труба в чистом поле близ завода с горящим нефтяным факелом. Сергей все это объяснял, рассказывал, что факел в небе горит сам для себя, для сброса лишнего газа; у них, у отца на нефтепромысле, тоже была такая же труба с факелом. В темную зимнюю ночь, когда снег падает, очень красиво: снежинки кружат, а в небе — живой огонь. На Новый год, бывало, с матерью, с сестрами ходили любоваться факелом, по снегу шли, взявшись за руки. А когда возвращались домой, тепло, светло было в доме, стихишки читали, мать пирожками угощала, отец — всегда строгий бухгалтер — и тот веселился. Чудаки-инюки, иные посмеивались, вспомнил стихишки, пирожки... И это ему то на фронт!

А на одной узловых станции — поезд как раз шел медленно, и было уже сумеречно — Сергей привлек общее внимание к сгоревшему от бомбежек и поэтому,

должно быть, доставленному на запасные пути составу с изувеченным паровозом и такими же побитыми вагонами. Никто не обмолвился ни словом, но, конечно же, каждому подумалось: как под бомбежкой загорелся поезд, как самолеты фашистские налетали, что происходило в этих вагонах? Скольких побило, которые выпрыгнули, сколько погорели? То была первая мета войны, представшая взору. Тихо встретились, как на кладбище, и тихо разминулись в сумерках. Многие молчали, задумчиво дымя махорочными сигарками.

Но был и забавный случай по пути, похохотали над парнем, когда Сергей опять кого-то дернул за рукав:

— Посмотри! Колодцы какие здесь, вон, видишь? Колодец под козырьком, как крыльцо резное-расписное! Красота!

На что услышал ехидную реплику:

— А ты не на колодец смотри, крыльцо резное-расписное! Ты на деваху смотри, вон, которая берет воду из колодца. Смотри, какая загорелая, а задок! А ты — колодец! Эх, инок, спрыгнул бы сейчас вместо тебя с эшелона, да в дезертиры запишут!

Смеху было!

Надо сказать, и в самом деле, люди как-то уж очень быстро распознавали, что он именно таков — лопух, инок, юнец зеленый, — не туда смотрит, куда следует, хотя и ростом Бог не обидел, и в плечах не такой уж щуплый, и суждением тоже смьшлен, но правда и то, что во многом Сергей оставался еще подростком, застенчивым и даже странноватым. Сергей и сам подчас думал об этом не без горечи, глядя на сверстников, на зависть быстро преодолевших угловатость, которые, не говоря уж обо всем другом, с женщинами обращались запросто. А он! Приключилась было одна история с намеком на любовь и как-то нелепо кончилась.

Вот опять же вчера на вокзале при посадке на поезд случай произошел странный, возможно, смешной, а возможно, и нет... Из головы не шел всю дорогу. И все от того, что люди с первого взгляда узнают, кто он таков — бесхитростный инок, да и только...

А дело было в том, что отправку их части объявили неожиданно, как по тревоге, ранним утром. Трудно сказать, почему столь срочно, но такова была команда. Война шла, и этим объяснялось все. Приказ есть приказ. Сборы шли в спешном порядке. И вскоре выступили они из пригородного лагеря всей пехотой, рота за ротой, и двинулись по окраинным улицам Саратова в направлении станции... Многие в тех колоннах были саратовцами, мобилизованными в армию. Проходя по улицам, иные шли мимо своих окон в общежитиях и домах, мимо ворот фабрики, где недавно еще работали. Как тут было молча миновать? Отсюда и закрутилась вся история. Никто, конечно, не помышлял выбежать из строя, такого командирь не потерпел бы, но были такие, что кричали на ходу в раскрытые по-летнему окна, чтобы попрощаться с родными. Или окликали прохожих, передавали приветы. И детвора дворовая набежала тут как тут с разных сторон, одни увлекая других: «Солдаты идут! Красноармейцы идут на войну!» А тут еще женщины — жены, сестры, соседки! И все увязались, точно бы только этого и ждали, да еще кто в чем успел выскочить — какая бежала в тапочках, а какая и вовсе босиком да вприпрыжку, какая с полотенцем мокрым на волосах — как мыла голову, так и подалась, — кто в драной юбке. Бежали они рядом с шагавшими строем в солдатских сапогах, напутствовали их, уходящих на войну, на прощание, препоручая всех до единого самому Господу Богу; все до единого были для них в тот час одинаково родными, кровными. Бежали да все наказы-

вали наперебой поскорее возвращаться с победой домой, в Саратов, на Волгу, в родную сторонку, а одна горемычная кликуша плакала да все выкрикивала: «Сталину слава! Сталину слава!» А потом, уже ближе к станции, спохватились, запричитали бабы перед разлукой, вспомнили о себе, о своей горькой доле, ибо было им о чем убиваться, расставаясь навсегда с уходящими на фронт, — вся их жизнь отныне становилась жертвоприношением войне с вытекающей отсюда почти неизбежно вдовьей участью до скончания века...

— А ну-ка, женщины, не кричать! Не мешать движению! Разойдись!

Но никакие увещевания и строгие окрики командиров не действовали на них. Так они и шли — солдаты в строю, а рядом поспешавшие женщины и дети — по кривым улицам саратовским, то на подъем, то вниз по спуску. И все дальше и дальше от Волги...

Не предполагал Сергей, что так тяжело будет переживать расставание, первый раз в жизни прощался на миру. Душа истерзалась, хотя, как и другие шагавшие рядом, пытался он приободряться, улыбался всем, с кем встречался глазами, рукой махал — ничего, мол, все выдюжим. Как иначе? А про себя очень переживал еще и потому, что не удалось попрощаться со своими — родители его уже были престарелыми людьми, он у них самым младшим родился. Одна сестра, старшая, жила в Казахстане, где-то на границе с Китаем, на пограничной заставе. Вторая, Вероника, здесь же, в Саратове, муж ее находился на фронте, жив или не жив — неизвестно. А у нее ребеночек, сама на работу, а малыша оставляла постаревшей как-то сразу в последнее время матери для присмотра, отец же — Воронцов Николай Иванович, всю жизнь проработавший на волжских нефтепромыслах бухгалтером, в ту пору лежал в боль-

нице, давно болел. Об этом обо всем написала Вероника в их пригородный лагерь, на полевую почту воинской части, где днем и ночью обучали их воинскому делу. Посещения родным не разрешались, и в этих письмах Вероника описывала все, что они переживали, и как ей трудно всюду поспевать — и на работе, и дома, и в больницу к отцу ходить. Она всегда была беспокойная душа, за всех переживала. Любил он свою сестрицу и за то, что Вероника была открытой и очень откровенной, все писала как есть. Однако на последнее письмо сестры Сергей не ответил и не знал, будет ли отвечать, очень неприятно оно подействовало на него. Странное, неловкое ощущение оставило на душе. Вероника писала — только откуда она все это узнала? — про Наташку, его бывшую одноклассницу, которую в школе называли «коминтеркой», потому что Наташка еще в седьмом классе сочинила стихи о Коминтерне, о том, как в Испании сражались коминтерновские бригады за счастье рабочих и крестьян всех стран, и послала их в Москву, а оттуда ей прибыло письмо с благодарностью, и это было событием в школе, она всем давала читать то письмо. Шустрая, бойкая, Наташка-коминтерка потом стала активисткой, выступала на всех собраниях, ее все знали, и она всех знала. И был случай весной, как раз перед самой войной. Однажды он танцевал с ней на школьном вечере. Она сама его потащила танцевать, он стоял у окна, глядя на вальсирующие пары, когда она подошла вдруг, оставив своего партнера, и уверенно взяла его под руку: «Пошли, Сережа, больше всех с тобой хочу потанцевать!» И он повиновался ей, как пионер — вожатой, хотя она была всего лишь по плечо ему. И откуда в ней было столько решительности? А он будто бы этого только и ждал, в жар бросило. И они включились в танцующую толпу. С того и началось.

Небывалые терзания испытывал Сергей — так головокружительно было среди множества танцующих, точно бы незримый огонь исходил от вальсирующих, распалая плоть и дыхание, так желанно отдаваться влекущей страсти. И в то же время тяготился он многолюдьем, хотелось убежать из толпы, взлететь в небо с Наташкой, чтобы никто их не видел, и лететь, лететь все выше и выше, прижимая ее к себе. А Наташка-коминтерка была как резина — и упруга, и податлива, он же поразился еще тому, что сковывавшая его поначалу неловкость отпустила и возникло ощущение особой близости, очень быстро нараставшей между ними, — сердце колотилось все сильнее, невозможно было унять. И это притяжение все больше овладевало им, однако лица ее, находясь столь близко, что явственно ощущалось ее разгоряченное дыхание, лица ее он почти не различал и от волнения не понимал, что с ним происходит. И только когда она вдруг сказала: «Я знаю, Сережка, ты меня любишь, ты мечтаешь обо мне!» — он увидел ее дерзко смеющиеся глаза и намеренно приближенное, с внушающим выражением лицо.

Сергей сильно смутился, такого он не ожидал и не был к тому готов, хорошо еще не потерял темпа, продолжал кружиться. Хотел что-то сказать в ответ, что-нибудь эдакое, лихое, уличное, как это здорово получается у других ребят: как скажут — аж дыхание перехватит, у него же получалось все всерьез. Он хотел сказать ей, что, мол, не думал, любит он ее или нет, хотя она ему вроде нравится, даже очень нравится. Однако Наташка как знала — опередила, перехватила, переиначила его намерение. «Не отвечай, Сережа, не отвечай, не старайся! Я же пошутила, — заговорила она, кружась и покачивая в такт музыке головой. — Но, понимаешь, я же вижу тебя насквозь, могу сказать за

тебя. — Наташка приостановилась на краю зала, чтобы слышнее были ее слова. — Я всех вижу насквозь, кто о чем думает. В райкоме говорят, что я прозорливая комсомолка-пропагандистка. И тебя вижу. Ты любишь меня и скоро мне об этом скажешь! Ты ведь у нас не такой, как другие. Тугодум, ой тугодум! Пока соберешься... Я все знаю. Ты ведь с девчонками еще никогда ничего! Так ведь? Да, ясное дело! Ну не скрывай! Я же вижу по глазам! Но скоро на тебя будут все вешаться! А ты смотри у меня! Я первая! И ты будешь со мной! — Они снова закружились в танце. Наташка не умолкала: — Будем всюду вместе ходить. Я буду выступать на собраниях, а ты — записывать для газеты, журналистом станешь. Ты хорошо пишешь, я знаю. Понимаешь, я боевая, я здорово речи толкаю, а ты зато умник, мне как раз такой и нужен. Соображаешь?»

Вот такой случился разговор, то ли в шутку, то ли всерьез, надо ли было думать об этом или напрочь забыть, но в ту ночь Сергей не уснул, промаялся до утра, точно бы его ударило электрическим током. И решил он после этого написать ей письмо, но потом порвал его. Всерьез писать показалось не совсем уместным, а просто так, ради забавы, как бы прилаживаясь к ней, Сергею было неинтересно.

Со временем успокоился. Потом, уже после окончания школы, когда он поступал в пединститут — война началась в то лето, — они виделись раза два мимоходом, но о любви уже не говорили. Каждый раз Сергей ожидал, что они вернуться к тому разговору, но сам не намекал и от нее не дождался. Вернее всего, надо было забыть эту историю, но, когда пришла повестка в армию, как-то получилось все наоборот. Сергей не сумел удержаться, пошел к тому дому многоэтажному, где она жила, и слонялся возле него, томясь, волнуясь и раз-

дираясь между желанием уйти и желанием остаться. И дождался — она возвращалась домой. Но все получилось как-то очень буднично. Так бывает, когда угасает костер. Надо найти сухие ветки, чтобы он ожил. Сергей сказал ей, что уходит в армию и пришел попрощаться. Она восприняла это совершенно спокойно, сказала, что теперь всех берут на фронт, мобилизация, что сейчас очень спешит, у нее дела, но пообещала писать. Пусть пришлет поскорее адрес полевой почты. Сергия это очень обрадовало, будто бы для этого он только и пришел — чтобы условиться о переписке, потому что в письме можно сказать гораздо больше, чем с глазу на глаз. В письме можно сказать то, на что подчас не хватает духу. Однако на свои письма, а он отправил ей подряд три, обещанных ответов от нее он так и не получил, ни одного, хотя очень ждал, вынашивал в уме разные фразы и возможные ответы. И когда уже надежда угасла среди будней солдатских, вдруг в последнем письме сестрица Вероника — откуда она все разузнала? — пишет, что Наташа-коминтерка выходит, как говорят знающие люди, замуж за человека намного старше ее, у которого год назад умерла жена и который имеет бронь от призыва на фронт. И далее Вероника писала: «Сережа, милый братец, не смей переживать из-за этого. Я же знаю тебя, ты начитался разных романов и на все смотришь со страниц книг, ты будешь переживать. Но ты не делай этого. Понимаешь, ты совсем другой. У вас разные натуры. И не осуждай ее в душе, это ее дело, если решила выходить замуж. Вы совсем не пара. Поверь мне. И только бы вернулся ты домой живой и здоровый, только бы быстрее кончилась война, а в том, что ты будешь счастливым и что какая-нибудь девушка станет с тобой очень счастливой, я не сомневаюсь, Сережа! Только ты

вовсе не переживай, братец дорогой. И поскорее возвращайся к нам... Скорей бы кончилась война, скорей бы...» Вот такое письмо. Да ведь, по правде говоря, ничего между ним и Наташкой-коминтеркой и не было, чтобы переживать. Но сестра решила все-таки успокоить его.

Теперь эта незадавшаяся история с Наташкой оставалась для него в прошлом, как полубытый сон, как минувший урок в минувшем отрезке его девятнадцатилетней жизни. С тем он уходил на фронт, уходил, сам себя не понимая, со сложным чувством и огорчения, и освобождения от того, чему ненароком готова была поверить его неопытная душа. Он уходил из города своего детства напрямик на войну в походном марше, провожаемый бегущими по улице женщинами и детьми. Сожалел при этом очень, что не было среди них сестрицы его Вероники, которая, зная она об их срочной отправке, конечно же, прибежала бы во что бы то ни стало повидаться напоследок.

Но во все времена говорят — мир не без чудес. Возможно, то был именно такой случай. Судьбе угодно было возместить отсутствие его сестры совершенно неожиданным образом. Об этом он подумал уже в пути, успокоившись немного после посадки по вагонам.

Когда они еще направлялись к вокзалу, среди женщин в толпе оказалась вдруг одна цыганка. Откуда она взялась, одному Богу ведомо, хотя в Саратове цыган в летнюю пору всегда полно. Цыганка бросалась в глаза и смуглым ликом своим, и медными висячими серьгами, которые отчаянно раскачивались на бегу, и яркой изодранной шалью, сбившейся на плече, и длиннополой, почти до земли, юбкой. Ну, цыганка и есть цыганка! Увлеченная, должно быть, уличным многолюдьем и движением, она тоже поспешала сбоку колонны, что-то

выкрикивала, жестикулировала и, казалось, кого-то высматривала в строю. Солдаты в ответ недоуменно перемигивались, подталкивали друг друга в бок — глянь, мол, не тебя ли выискивает цыганка? А один даже сам объявился:

— Эй, цыганочка, эй, бедовая, я здесь! Слышишь? Да это же я! Ты меня ищешь погадать? — И очень был удивлен, услышав в ответ, что когда-нибудь она погадает и ему, а сейчас сама найдет того, кто ей нужен. И точно — как сказала, так и получилось.

Вскоре она опознала на бегу, возможно, интуицией, данной ей свыше, возможно, по прихоти своей, того, кого искала. К удивлению шагавших в строю, им оказался Сергей. Почему именно он? Почему именно к нему, к Сергию, обратилась цыганка, попевая рядом:

— Слушай, парень! Слушай, молоденький, эй ты, чернобровый, выдь на край, дай руку, я тебе погадаю на дорогу, поворожу на счастье!

Сергий шел в шеренге третьим с краю. Но дело было даже не в этом, а в том, что он не знал, как ему быть в эдакой невероятной для него ситуации. Никогда до этого ему не гадали, не ворожили, в семье все были далеки от разных магий — отец ни в какие карты не верил, мать тоже не очень верила приметам, а тут вдруг такая нелепица.

— Не надо! Я не хочу! — громко сказал он ей, улыбаясь и пожимая плечами, смущаясь своим отказом, понимая, что следовало бы извиниться, но как и за что? А тут еще свои подтрунивать начали — вот, мол, цыганка как знала, кому гадать, инока нашего облюбовала. А кого же еще? Он, кажись, в Бога верит, вот и в сямый раз!

Цыганка, однако, не отвязалась:

— Слушай, парень, не отказывайся — это судьба!

Кто-то подсказал ей:

— Его Сергием зовут.

— Сергей? Эй, Сергей, дорогой, эй, чернобровый! Я тебе говорю — это судьба, не отказывайся, Сергей, ты совсем еще молоденький, судьбу твою расскажу! Погадаю от чистого сердца. Все скажу как есть!

Но тут какие-то идиоты на нее зашумели:

— А ну, не мешай, цыганка! Видишь — идем.

— А я не помешаю, я только гляну на руку, на ходу!

— Отвяжись, надоела, не мешай, тебе говорят!

Цыганка была не молодая, но и не старая. И в лице ее, как показалось Сергию, не было обычного плутовства, наоборот — открытость, участливость, как у сестры его Вероники. Веронике всегда хочется что-то доброе сделать кому-нибудь, и нет ей оттого покою. Да, очень она походила на Веронику. Или так показалось ему оттого, что та крикнула: «Я тебе как сестра скажу! Как своему брату!»

И когда цыганка где-то затерялась в толпе, Сергию стало даже жалко и в душе упрекнул он себя — следовало бы откликнуться, что же он такой стеснительный? Нехорошо получилось.

Тем временем они подошли уже к станции, прибыли всем строем, рота за ротой, взвод за взводом, и загудела, зашумела саратовская толпа, прихлынувшая вслед за войском. Эшелон уже стоял на путях с распахнутыми для посадки товарными вагонами. Длиннющий состав, конца-краю не видно.

И началась предотъездная суета. Распределяли, какому взводу какой вагон, шумно передвигались вдоль состава, а тут женщины, дети путаются под ногами, и никакими силами не отогнать их.

Погрузка длилась довольно долго. Жарко было и тесно на перроне. В ожидании своей очереди на посадку

Сергий совсем забыл о цыганке той, как вдруг она снова возникла в толпе. Нашла-таки, вот ведь какая настыр-ная оказалась.

— Эй, Сергий! Я за тобой! Не отказывайся, парень, послушай меня, цыганку. Судьба велит тебе погадать на дороге. Не отказывайся, на войну идешь, судьбу узнаешь.

Сергий даже обрадовался:

— Хорошо. Гадай, если так надо. — Положив вещмешок у ног, повесив автомат на шею, он с готовностью протянул ей руку.

Вот так у вагона перед посадкой, в окружении товарищей по взводу и состоялось гадание. Цыганка внимательно разглядывала линии руки, шептала что-то, шевеля губами, покачивала головой.

— Ой, битва будет великая, невиданная и неслыханная. Ой, судьба, судьба! И только солнце останется не забрызганным кровью, и конь ускачет без седока, — приговаривала она, не обращая ни к кому конкретно, а потом добавила, глянув Сергию в глаза: — Была у тебя любовь непонятная. И печаль принесла она тебе, да напрасную. И чистый ты, как бумага неисписанная.

Тут раздались сразу солдатские смешки:

— Ясное дело, втюрился наш чистый — да не вышло!

— Не вышло! — заступился с наигранным укором другой. — Вам бы только зубы посколоть. Инок-то наш пострадал, выходит, да ни за что, а она, стало быть, хвостом вильнула — и была такова! А он как был чистый, так и остался!

— Ты не слушай их, парень, ты меня слушай, — отмахнулась цыганка. — Теперь дай другую руку и слушай только меня.

Разглядывая левую ладонь Сергия, цыганка напряглась, примолкла на мгновение и затем торжествующе воскликнула:

— Ты бессмертный! Сердце мне подсказало. Вот видишь — ты бессмертный! У тебя звезда такая! Я как знала! Потому и шла за тобой!

Все зашевелились вокруг. Сергей глупо заулыбался, не зная, как быть — то ли радоваться, то ли посмеяться да благодарственно поклониться для потехи, — и хотел было убрать руку, но тут вмешался один солдат. Кузьмин. Был такой зануда, въедливый мужик, ко всем придирался, если кто не так что-нибудь скажет. Поучать очень любил.

— Постой, постой, цыганка, ты что это, дорогая? — решительно покачал он головой. — Ты что-то не в ту степь поскакала. Что значит — бессмертный? Да разве может быть кто-нибудь бессмертным? Где это слыхано? Все на земле смертные — и только он один бессмертный? А мы, между прочим, не куда-нибудь, а на войну едем, и кто знает, кому как придется — кому пуля, кому — нет? Да на фронте сейчас смерть не разбирает, кому что нагадано. Подряд косит. Зачем же нас дурить?

— Я не дую, я судьбу узнаю. А у него звезда бессмертная! На роду так написано, — не сдавалась цыганка. И добавила то, что устроило многих, хотя и было не совсем понятно: — А судьба выше смерти. От судьбы судьба ведется, а от смерти ничего не идет. У парня этого звезда бессмертная от судьбы!..

Кузьмин еще долго что-то ворчал, руками размахивал, как на митинге, доказывая нелепость цыганского гадания, и, хотя он был прав, солдаты, однако, поверили почему-то гадалке. А когда надо было расходиться по вагонам, многие попрощались с ней за руку, и она не уходила с перрона до самой отправки и, когда поезд тронулся, бежала среди прочих женщин и детей за вагоном и махала Сергию рукой...

Жарко было. Не спалось в ту ночь. Колеса стучали во мраке, паровоз давал затяжные гудки, сердце сжимали ноющая тоска и тревога. Всякое думалось Сергию, уносимому волной истории на мировую войну. И среди прочего припоминал он то и дело цыганку ту. Запомнилась фраза: «И только солнце останется не забрызганным кровью... и конь ускачет без седока...» Что это могло значить? Непонятно и загадочно. Что же должно произойти, чтобы только солнце осталось не забрызганным кровью? И чтобы конь ускакал без седока? А звезда бессмертная? Какая такая звезда? И где она? Скорее всего, все это байки. Ну какое отношение звезда имеет к человеку? Где звезды — а где человек. Но ведь есть судьба. И судьба с судьбой связана. А что такое судьба? И как может судьба вестись от судьбы?

Колеса стучали по рельсам. Солдаты лежали вповалку, храпели. Луна то появлялась в проеме дверей, то исчезала, звезды мелькали на бегу поезда...

Но вот что странно — как могла цыганка угадать про Наташку-коминтерку, про то, что письма ей писал, что ничего не вышло? Как она сказала, цыганка эта? Напрасная печаль? Значит, и печаль может быть напрасной. А что впереди? Как оно будет на фронте? Страшно, конечно. Раненые, прибывавшие в Саратов с фронта, рассказывали о войне. А теперь придется самому увидеть, какая она...

Сон не шел. И опять подумалось ему, что есть какая-то сила над всеми и над каждым, которая называется судьбой. И никто не властен остановить ее или объяснить. Наверное, от судьбы — война, от судьбы — жить или не жить, победить или не победить. Вот ведь едут они все на фронт — судьба велит. И потому они сейчас в эшелоне на нарах, и поезд мчит их на всех

парах туда, где война с фашистами бушует. А там как будет? Опять же судьба! Убьют или не убьют? И от этого зависит, кто кого победит. Да, от того, кто кого убьет. Всем хочется, чтобы война поскорее закончилась, чтобы голод отступил. Об этом женщины и даже дети кричали в толпе, когда они шли по улице. А для этого надо воевать, надо убивать, надо победить. Выходит так. Дома отец с матерью спорят из-за этого. Когда пришла ему повестка и стали они обсуждать, что к чему, готовить его, собирать, мать вдруг сказала с мольбой, присев на краешек стула и прижав руку к груди: «Сереженька, только не убивай никого, не проливай крови!»

С чего это она? Случайно или долго думала? И никогда уже не забудется, на всю жизнь запомнилось, как мать произнесла эти слова, глядя ему в лицо так, точно бы только что вернулась откуда-то издалека, только что перешагнула порог и сказала то, о чем думала всю дорогу. И он сам словно бы впервые в жизни увидел свою мать, увидел, какие у нее глаза, уже утратившие былой золотистый блеск, какая она морщинистая лицом, какая старенькая в стареньком своем сатиновом халате, с платком пуховым на плечах. И странное открытие сделал он для себя — значит, все эти годы их скитальческой жизни по приволжским нефтепромыслам, когда он еще бегал босоногим мальчишкой, а она, мать, была крупной статной женщиной с косами русоволосыми, венцом уложенными на голове, озабоченной всегдашними делами по дому, детьми, школой да мужниным диабетом, все эти годы она, оказывается, готовилась, чтобы сказать ему то, что сказала, собирая его в армию. То, что мать взывала никого не убивать на войне, не проливать крови, очень смутило его тогда, и он неопределенно пробормотал:

— Ну что ты, мам! К чему об этом? Я же в армии буду. — И чтобы уклониться от разговора, стал перебирать в шкафчике учебники и книги. — Мам, у меня тут книги из библиотеки. Я их отложу, пусть Вероника отнесет и сдаст.

Но разговору тому суждено было продолжиться, потому что отец вмешался. Да, Николай Иванович всегда был прям и резок, вспыльчив даже, чуть что — спорил до ярости, возможно, оттого и с начальством не ладил, и печеню болел.

— Что значит — не убивай? — воскликнул он почти возмущенно. — Как это — не убивай, крови не проливай? Вот те на! А куда он уходит-то? Никак на войну. Ну ты, мать, скажешь так скажешь. — И стал шарить по комнате в поисках курева. Мать прятала, он всегда хотел курить, когда волновался. Мать утверждала, что это от курева он такой худой и дерганый.

— Только не кури, Коля, — взмолилась она, — пожалей себя.

— Ну да, как тут не закуришь после того, что ты сказала Сергею. А ему на фронт завтра. И что он там будет делать?

— Вот потому и говорю. Пусть Бог рассудит. Все только и твердят — убей, убей! Враги нам смерть несут, мы им — смерть! А как потом жить на свете? Одни убийцы останутся на земле? Я, думаешь, не понимаю: ты не убьешь, так тебя убьют. А убьешь — все равно убийца. А что с Анатолием, зятем нашим? То ли жив, то ли нет, то ли убили его, то ли он убивал? И Веронике сказать боюсь. Так я уж сыну выскажу, что на сердце. — И заплакала молча, подавляя рыдания, не находя ответа и не в силах переубедить себя.

— Во-во, — продолжал отец с укоризной, — да тебя за такую агитацию во враги народа и в Сибирь упекут.

Тут война идет мировая, кто кого осилит, или мы, или нас, а ты — не убий! Думаешь, мне собственного сына не жалко? Или Анатолия нашего? Только как же иначе? Солдат землю свою защищает, у него приказ. И если солдат уничтожит врага, то есть убьет, то по приказу, по долгу, и в этом его героизм!

Мать молчала, занятая латанием вещмешка для сына, а отец пустился в воспоминания молодости, когда он, девятнадцати лет от роду, такой же, как сейчас Сергей, плывал в Первую мировую моряком-подводником. И рассуждения его сводились к тому, что уничтожение вражеской живой силы — это главное дело на войне. Вот, к примеру, они на подлодке своей потопили военно-транспортное судно с войском в Балтийском море. Вначале долго шли следом под водой. А потом торпедировали. И оба снаряда в цель, попадание в борт по ватерлинии. Корабль загорелся, стал тонуть. Они на подлодке ушли вглубь, переждали час, затем снова поднялись и стали наблюдать в перископ за происходящим на поверхности. Задрав носовую часть к небу, огромный корабль уже наполовину ушел под воду, а вокруг множество людей еще отчаянно пытались выплыть.

В перископ смотрели, конечно, командир да старшие офицеры, с их слов связисты каждую минуту радиовали в ставку, в Кронштадт, выстукивали азбукой Морзе сводку об успешном выполнении боевого задания, а задание — это приказ. Приказ уничтожить врага — и все!

Вначале только в перископ подсматривали, как тонут люди. А потом, когда вражеский корабль затонул, убедившись, что вокруг нет никакой опасности для подводной лодки, полностью всплыли на поверхность. И дан был приказ — всем наверх, и весь экипаж вышел на па-

лубу и построился перед командиром выслушать объявление благодарности. А враги тонули вокруг, их осталось уже совсем мало. Иные пытались доплыть до подлодки и не могли, а иных, доплывших, расстреливали из наганов, с вытянутой руки.

Вот она, война. На войне побеждает тот, кто убивает, а кто побеждает — тот прав. Всегда так было и так будет.

Мать не стала ни спорить, ни возражать. Только головой покачала. Потом заглянули попрощаться соседи, тетка с племянниками пришла. Вероника прибежала с работы, стала помогать матери по дому. И другие уже разговоры пошли до самой полуночи.

Жалко было теперь родителей — и мать, и отца. Мать хотела, чтобы он никого не убивал, а отец, чтобы его не убили, а потому требовал убивать врагов. Все то, что прежде казалось обыденным, домашним, обрело в пути самоценность и щемящую боль утраты. Прошлое с каждой минутой удалялось, оставалось позади. Вспоминалась Волга под саратовским нагорьем. Любимые летние места, зеленые островки и сияющая, магическая речная ширь, а на ней паруса. Но больше всего в детстве тянуло Сергея к большому железнодорожному мосту над рекой. Мост был высоченный, надо было голову задирать, чтобы, находясь внизу, на берегу, часами любоваться проходящими по нему поездами, прислушиваться к грохоту колес. Металлические пролеты моста гудели и дрожали, и он завидовал в такие минуты тем, кто куда-то ехал по мосту через Волгу, в какие-то прекрасные страны, описанные в книгах...

И еще припомнилось из детства, как в новогоднюю ночь ходили всей семьей в валенках через снежное поле к высоченной трубе с полыхающим факелом. Живой огонь, живой снег, нескончаемо падающий в зареве огня. Огонь

безмолвно пожирает снежинки, а снег все идет и идет, любя огонь, не в силах отстраниться, густо валит... И огонь не гаснет, и снегу нет конца...

С годами многое ушло, изменилось. И вот теперь война — необходимость убивать или быть убитым. И иного выхода нет, только так. Сергей беззвучно заплакал во тьме, вспомнив мать, отца, сестру Веронику, плакал потаенно, среди спящих солдат. Как хотелось снова, взявшись за руки, брести по снежному полю к полыхающему в небе ночному огню.

А колеса стучали на рельсах, вагон раскачивался на бегу. Проносились стороной какие-то полустанки, подслеповато мелькнув в ночи огоньками. Эшелон, набитый солдатами и оружием, поспешал туда, где предстояло убивать или быть убитым. Быть убитым не зависело от твоей воли, никто не жаждет быть убитым, и никто не знает, быть ли именно ему убитым. Убивать — дело воли, а на войне — обязательное, безусловное дело. И однако же, как скажешь себе: убить — не убить?

...И стучали колеса на стыках: убить — не убить, убить — не убить, убить — не убить...

Постепенно задремывая со слезами на ресницах, Сергей пытался представить себе войну, бои, то, как и кого придется убивать — выстрелом или врукопашную, этому его обучали все лето на берегу Волги. Пытался представить и то, кто будет делать то же самое, чтобы убить его. Старался вообразить себе того врага — немца, фашиста... И ничего не получалось — трудно было представить его, так же как трудно было представить по отцовскому рассказу тех, кто тонул возле подводной лодки. Волны захлестывали лица. Их было не разглядеть. А кто приближался, того расстреливали в воде... И он исчезал в пучине безмолвно и бесследно.

«Убить — не убить», — стучали колеса. Сергей попытался припомнить немецкие слова, которые учил в школе, но тоже не уверен был, как могли звучать они на немецком: убить — не убить, убить — не убить, убить — не убить...

И мчался поезд во тьме...

P. S.

Текст рассказа «Убить — не убить...» мне удалось найти в бумагах Арсена Саманчина. Я сожалею, что автору не было суждено увидеть свое произведение опубликованным.

Но читатели остаются всегда, как при жизни автора, так и — еще больше — после его смерти. И, как указано в записной книжке Арсена Саманчина, я буду читать вслух «Убить — не убить...» на фронтовых кладбищах.

И слышу я зов Вечной невесты, о которой так много рассказывал покойный Арсен Саманчин! И я с ней...

Элес

Февраль 2006

Брюссель

**пезий пес,
безущий
краем моря**

В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий — суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу.

Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменно твердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения — с тех пор как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени.

Все дни и все ночи...

Еще одна ночь протекала. Ночь накануне выхода в море. Не спал он той ночью. Первый раз в жизни не спал, первый раз в жизни изведаль бессонницу. Уж очень хотелось, чтобы день наступил поскорее, чтобы ринуться в море. И слышал он, лежа на нерпичьей шкуре, как едва уловимо подрагивала под ним земля от ударов моря и как грохотали и маялись волны в заливе. Не спал он, вслушиваясь в ночь...

А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе, об этом теперь никто знать не знает, не догадывается даже, что, не будь

в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому — суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суше. Ведь в самом начале — в изначале начал — земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только вода. Вода возникла сама из себя, в круговерти своей — в черных безднах, в безмерных пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бесстороннего тогда света: из ниоткуда в никуда.

А утка Лувр, да-да, та самая, обыкновенная кряква-широконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна-одинешенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить.

С криком летала утка Лувр — боялась, не удержит, боялась, уронит яйцо в пучину бездонную. И куда бы ни отправлялась утка Лувр, куда бы ни долетала она — везде и повсюду плескались под крыльями волны, кругом лежала великая Вода — вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась: в целом свете не было места, где бы устроить гнездо.

И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свила гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, мало-помалу заселялась земля тварями разными. А человек всех превзошел среди них. — приоровился по снегу ходить на лыжах, по воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, тем кормился и род умножал свой.

Да только если бы знала утка Лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля,

море не может успокоиться; с тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними — между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан...

Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя.

Волны упорствовали на своем: волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые, осклизлые завалы камней, вверх — сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.

Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в нелепые беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно, в свою стихию.

Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.

Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью.

Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.

В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка-утес, и вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху — в затененной впадине, сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест — и с моря, и из лесу.

Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, — коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый — особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать — крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами. Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи, — и, казалось, вслепую направляя ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись, как кулик, на самом носу, то и дело мельком поглядывая на взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого старейшины, черноглазый мальчик лет одиннадцати-двенадцати.

Мальчик был взволнован. От возбуждения ноздри его упруго раздувались, и на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери — у нее тоже, когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки. Мальчику было отчего волноваться. Этот выход в море предназначался ему, его приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам, как кулик, глядел повсюду с неубывающим интересом и нетерпением. Впервые в жизни отправлялся Кириск в открытое море с настоящими охотниками, на настоящую, большую добычу, в большом родовом каяке. Мальчику очень хотелось привстать с места, поторопить гребцов, очень хотелось самому взяться за весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрее доплыть до островов, где предстояла большая охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать себя. Но это не совсем удавалось. Трудно было ему скрыть свое счастье — горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное, глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота!!!

Старик Орган понимал его. Углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами — эх, детство, детство, — но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полуугасшей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море, — такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете

более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется сызмальства. Потому-то прежние люди говаривали: «Ум от неба, сноровка сызмальства». И еще говаривали: «Плохой добытчик — обуза рода». Вот и выходит: чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и Кириску, пора было натаскивать мальчишку, приучать его к морю.

Об этом все знали, все поселение клана Рыбы-женщины у сопки Пегого пса знало, что сегодняшний выход в плавание предпринимался ради него, Кириска, будущего добытчика и кормильца. Так заведено: каждый, кто рождается мужчиной, обязан побрататься с морем с малолетства, чтобы море знало его и чтобы он уважал море. Потому-то сам старейшина клана старик Орган и двое лучших охотников — отец мальчика Эмраин и двоюродный брат отца Мылгун — шли в плавание, повинувшись заветному долгу старших перед младшими, в этот раз перед ним, мальчиком Кириском, которому предстояло отныне и навсегда познаться с морем, отныне и навсегда — и в дни удач и неудач.

Пусть он, Кириск, сейчас мальчишка, пусть еще молоко материнское на губах, и неизвестно, выйдет ли толк из него, но кто возьмется сказать, может стать, когда они сами отойдут от дел, превратясь в немощных старцев, именно он, Кириск, будет кормильцем и опорой рода. Так оно и положено быть, так оно и идет в поколениях, из колена в колено. На том жизнь стоит.

Но об этом никто не скажет вслух. Человек думает об этом про себя, а говорит об этом редко. Оттого-то там, на побережье Пегого пса, никто из людей Рыбы-женщины не придал особого значения этому событию — первому выходу Кириска на добычу. Наоборот, соплеменники постарались даже не заметить, как он уходил

в море вместе с большими охотниками. Вроде бы не принимали всерьез эту затею.

Провожала его только мать, и то, не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании и не дойдя до бухты, попрощалась. «Ну, иди в лес!» — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса: «Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу!» Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров — от злых духов. И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмрайин был не отец, точно не с отцом Киrisk отправлялся в море, а со случайными людьми. Опять же умалчивала потому, чтобы не проведали кинры, что Эмрайин и Киrisk — отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волку отнять у другого, чтобы с горя поклялся один из них не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры, только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям.

Сам-то он, Киrisk, не боится злых кинров, не маленький уже. А мать боится, особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда! Ох, эти злые духи, сколько они бед приносят в малолетстве — болезни разные или вред какой нашьют, покалечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек! Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей.

Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и на-

дежду, да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце, вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом — на три дня плаванья, а теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшитесь она в душе.

Мать ушла, не доходя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых кинров, как и наказывала мать, — не хотелось огорчать ее в такой день, — пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин.

Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со снастями на плечах. Впереди старейшина Орган, за ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый, бородатый Эмрайин, а за ним, косолапо ступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, Мылгун. Одежда на них была обношенная, для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держала и не намокала. А Киrisk по сравнению с ними выглядел нарядным. Мать постаралась, давно готовила она его морскую одежду. И торбаса, и верхняя одежда порасшиты по краям. На море-то к чему это. Но мать есть мать.

— Ух ты, а мы думали, что ты остался. Думали, увели тебя за ручку домой! — насмешливо подивился Мылгун, когда Киrisk поравнялся с ним.

— Это почему? Да никогда в жизни! Да я! — Киrisk чуть не задохнулся от обиды.

— Ну, ну, шуток не понимаешь, — урезонил его тот, — ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом. На вот, неси-ка лучше! — подал он ему свой винчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом.

Предстояли погрузка и отплытие.

Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернуться они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут. Будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях Рыбу-женщину, прародительницу, от которой пошел их род на Земле. И тогда загудят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, и среди пляшущих шаман — самый многоумный человек — разговор заведет с Землей и Водой, разговор о нем, Кириске, новом охотнике. Да-да, о нем будет говорить шаман с Землей и Водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему Земля и Вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопровождала его на Земле и на Воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости. И еще заклинать и просить станет он, шаман многомудрый, чтобы дети родились у Кириски и все выжили, чтобы род Великой Рыбы-женщины умножался и потомки к потомкам прибавлялись:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
 Твое жаркое чрево — зачинает жизнь,
 Твое жаркое чрево — нас породило у моря,
 Твое жаркое чрево — лучшее место на свете.
 Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
 Твои белые груди, как нерпичьи головы,
 Твои белые груди вскормили нас у моря.
 Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
 Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
 Чтобы чрево твое расцветало,
 Чтобы род твой на земле умножался...

Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действо. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать.

Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать. И отец, Эмраин, во всеуслышание назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец. В море нет отцов и сыновей, в море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться. Сын не станет жаловаться отцу. Так положено.

И еще, пожалуй, Музлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется очень. Теперь они стали меньше играть. А отныне и вовсе: охотнику не до игр...

Лодка шла справно, слегка приныривая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегого пса, минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. По таким устойчивым волнам можно плыть ходко.

Хорошо, сноровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой и на боковой волне, легко повинуясь рулю.

Посасывая все ту же уже угасшую трубку, старик Орган испытывал удовольствие от прочного хода лодки и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был

лодкой, идущей по студеному морю вполборта осадки на воде; будто то сам он плыл по раздолью морскому, под ровный скрип уключин и мерные взмахи весел; будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью, упругость встречных волн, слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил; тополь свалили сообща, одному, да и четверым, такое не под силу, а работал сам — три лета сушил и рубил и уже тогда знал: выйдет лучший каяк из всех сработанных им на своем веку. Но, думая об этом, огорчился невольно: а что если это последний в его жизни? Еще бы пожить. Еще походить бы за добычей по морю, еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил.

И, думая так, он разговаривал мысленно с лодкой. «Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк, — говорил он лодке. — Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех, соструганных мною. Ты большой каяк — два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжело от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. Вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя, брат мой каяк!

Если я умру, ходи долго, ходи далеко по богатым добычей местам. Если я умру, плавай по морю с молодыми и сильными охотниками. Если я умру, служи им, как служишь мне. И дождись, брат мой каяк, чтобы и этот отпрыск наш, что вон сидит на носу, головой крутит, едва терпит, — была бы не вода, а твердь, побежал бы он сейчас на большую охоту, сам один управляться

с делами, так ему кажется, — дождись, брат мой каяк, чтобы и этот подрост, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впервые в море. Так надо. Пусть привыкает. Мы уйдем, а ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмрайина, значит, будет толковый человек. Не пустобрех какой-нибудь. Эмрайин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних. Крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким. В самой силе. Женщины меня любили тогда. А я-то думал — век нескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмрайин и Мылгун наверняка еще не думают. Ну да ладно. Узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мылгун под стать Эмрайину. Надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди — грести и грести! Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до Третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять буду то одного, то другого, однако тяжелое это дело — переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей, праздник устроим.

Ты слышишь, ты понимаешь меня, брат мой каяк? Ты доставишь нас на острова, к Трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окот, нерпа в стада собирается на островах.

Ты меня понимаешь, брат мой каяк? Ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем.

А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю...»

Так думал Орган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки Пегого пса, по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все ходившие в плавание, — в ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы Пегий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как ни оглянешься, Пегий пес все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то крутизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушел Пегий пес домой, значит, земля осталась далеко позади...

И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стороне остался Пегий пес, надо запомнить направление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду, и следовать в море, все время, до самых островов, держа в уме месторасположение Пегого пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве.

Они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода. То были необитаемые, крохотные скальные островки — три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались Три сосца — Малый, Средний, Большой. А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было, имя которого они не знали, — Великая, нехоженная, неведомая Вода вечности, возникающая сама из себя, пребывающая от сотворения мира, еще с тех времен, когда утка Лувр с криком носилась в поисках маленького местечка для гнезда — кусочка тверди величиной с ладонь — и не находила его в целом свете. Вот там, на тех островах, на границе моря и океана, в эти весенние дни располагались нерпичьи лежбища. За тем и шли, за тем и путь держали в ту сторону...

Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах Пегого пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катаниях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира.

Открытое море ошеломило Кириска. Такого зрелища он не ожидал. Только вода — зыбучая, тяжелая вода, только волны — скоротечно возникающие и немедленно умирающие, только глубина — темная, тревожная глубина, и только небо в кочующих белых облаках, легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир — и ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого моря, — ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага.

Вода застлала свет из края в край.

А лодка плыла, все так же приныривая по волнам. Все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты. Но, однако, все, что он видел и замечал вокруг — в воде и над водой, — в этот раз он воспринимал мимоулетно, по-праздничному вполвнимания, поскольку душа его торопилась, всецело занятая ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекла бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом; и очень обрадовался бы он тем странным, любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, и посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком и вместо того, чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе.

Всего этого он не удостоил особого внимания — пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного — скорей бы добраться до островов! Скорей бы за дело!

Но вскоре настроение мальчика как-то странно, само по себе изменилось, хотя он и не подавал виду. По мере того как удалялись они от земли, особенно после того, как Пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря — свою бесконечную малость и бесконечную незащищенность пред лицом великой стихии.

Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему Пегий пес, о котором он прежде никогда не вспоминал, беззаботно и безбоязно резвясь на его склонах, любуясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был Пегий пес, несокрушимый и всесильный на своем месте.

Теперь он понял разницу между сушей и морем. На земле не думаешь о земле. А находясь в море, неотступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, настойчивое, властное...

А взрослые, однако, были спокойны. Эмраин и Мылгун все так же гребли, взмах за взмахом, как один человек, в ровном, слаженном темпе: четыре весла разом соприкасались с водой, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Кириск не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и расправлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну: «Ну, как, мол?..»

Так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Орган, тот и вовсе был невозмутим. Все так же посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два Киrisk брался грести — то в паре с Мылгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одно из весел. Пусть, мол, поработает. И хотя он ворочал весло обеими руками, надолго его не хватало: слишком тяжела была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел, всё больше работали молча.

А когда Пегий пес вдруг скрылся из виду, все разом оживились почему-то.

— Пегий пес ушел домой! — объявил отец.

— Да, ушел! — подтвердил Мылгун.

— Разве? Ушел, стало быть. — Глянул в ту сторону и старик Орган. — Ну, коли так, значит, дело идет. Эй, Киrisk, — лукаво обратился он к мальчику, — а не покликать ли тебе Пегого пса, может, вернется?

Все засмеялись, и Киrisk засмеялся. Потом он подумал и громко сказал:

— Тогда надо поворачивать назад — вот он и вернется!

— Ишь ты какой скорый! — воскликнул Орган, усмехаясь. — Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне. Хватит глазеть. Море не пересмотришь.

Киrisk покинул свое место на носу, стал перебираться к корме, переступая вещи на дне лодки: пару винчестеров, завернутых в оленье кожи, гарпун, моток веревки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо гребцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одеж-

ды, который мать любит вдыхать, когда отец в море, — возьмет его старый кожух и прижмет к лицу.

Отец кивнул сыну, приобнул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Киrisk, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего! В море все равны. В море нет ни отцов, ни сыновей. В море есть только старший. И без его ведома пальцем не пошевелишь...

— Садись, прилаживайся возле, — указал ему место Орган, притрагиваясь к плечу длинной, узловатой рукой. — Ты никак сробел малость, а? Сначала вроде ничего, а потом...

Киrisk смутился: значит, старик Орган догадался. Но все же протестующе возразил:

— Да нет, аткычх¹, вовсе не сробел! Чего мне бояться?

— Ну как же, первый раз в море.

— Ну и что — первый раз?! — не сдавался Киrisk. — Да я ничего не боюсь.

— Ну, дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепутался. Смотрю: берега давно не видно и Пегий пес убежал куда-то. А кругом только волны. Домой захотелось. Да вон спроси у них — у Эмрайина и Мылгуна, каково им было?

Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла.

— А я нет! — стоял на своем Киrisk.

— Значит, молодец, коли так! — успокоил его старик. — А теперь скажи мне, в какой стороне остался Пегий пес?

Киrisk призадумался от неожиданности и потом указал рукой:

¹ Аткычх — дед, дедушка.

— Вон там!

— Ты уверен? Что-то рука у тебя дрожит.

Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее:

— Вон там!

— Вот теперь точно! — согласился Орган. — А если как-то повернется носом в эту сторону, тогда где будет Пегий пес?

— Вон там!

— А если ветер развернет нас в ту сторону?

— Вон там!

— А если налево поплывем?

— Вон там!

— Хорошо, а теперь скажи мне, как ты определяешь, — ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода? — допытывался Орган. — Можешь объяснить?

— А у меня еще есть глаза, — ответил Кириск.

— Какие глаза?

— Не знаю какие. Они у меня в животе, наверно, и они видят не видя.

— В животе! — Все рассмеялись.

— И то верно, — отозвался Орган. — Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове.

— А у меня в животе, — отстаивал свое Кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове.

Спустя некоторое время старик снова принялся испытывать Кириску и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен.

— Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе, — пробормотал он.

Польщенный похвалой, Кириск принялся сам задавать себе задачи и находить ответы. Пока что, при относительно спокойном море, это не представляло боль-

ших трудностей. Верный и великий Пегий пес всякий раз безотказно отзывался — без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором Кириска именно там, в той стороне, где он оставался, возникал как бы воочию, всей своей громадой, с лохматыми лесами по кручам, с пятнами снега на «голове» и в «паху», с гремящим, неутомимым, вечным прибором у подножия утеса. Представив себе Пегого пса, мальчик не мог не думать о других окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопкок, а в той долине у опушки леса, на берегу речки, стойбище — срубы, лабазы, собаки, куры, вешала для сушки рыбы, дымы, голоса, и там мать и сестренка Псулк. Он живо представил их себе и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать втайне думает, конечно, о нем, и об отце, и обо всех них — охотниках в море. Да, вот сейчас она наверняка думает о них. Думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не провели ее страха. И еще кто думает о нем, так это, наверно, Музлук. Музлук, пожалуй, прибежала уже вроде бы поиграть с Псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее: «Ты о чем это болтаешь: разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами». Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кириску при этом даже жаль стало ее. Он хотел, чтобы Музлук думала о нем, но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него.

А лодка все так же плыла, слегка приныривая по волнам. И кругом блистало в мелком кипении волн все то же сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали пополудни, самое позднее к концу дня добраться до первого островка (то был близлежащий из Трех со-

сцов — Малый сосец) и при удаче начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго — Среднего сосца и там заночевать, благо у берега есть удобная затишь для лодки. А рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши нерпы, утром могут не мешкая лечь в обратный путь. Но как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня, не позднее высоты солнца в два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше.

Все это было предусмотрено стариком Органом, на все он имел свой расчет. Да и подручные его — Эмрайин и Мылгун — не первый раз шли к Трем сосцам. Сами отлично знают, что к чему. Главное же — чтобы погода стояла и чтобы зверя вовремя обнаружить на лежбище. Это главное, а все остальное — как сумеешь справиться, тут уж каждый за себя в ответе.

Старик Орган ходил в плавание не только в силу необходимости, нужда нуждой, ясное дело — без прокорма с моря не проживешь, но еще и потому, что море влекло его. Морские дали располагали старика к его заветным раздумьям. Были у него сокровенные мысли свои. В море ничто не мешало предаваться им, ибо всему тому, о чем поразмыслить некогда на суше, среди повседневных забот, в море наступал черед — здесь ничто не отвлекало Органа от его великих дум. Здесь он чувствовал себя сродни и Морю и Небу.

Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек мыслит и тем восходит к величию Моря и Неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой

будет мыслить дальше, от него и дальше, а следующий еще дальше, и так без конца... Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения.

Он понимал, что смерть неизбежна, что не так уж далек предел его жизни, понимал, что смерть всему конец, но при этом надеялся почему-то, что самое сокровенное и заветное в нем — его великие сны о Рыбе-женщине пребудут, останутся с ним и после смерти. Он не мог передать свои сны другому — сновидения непередаваемы, и потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно... Не должны. Великая Рыба-женщина бессмертна, стало быть, и сны о ней должны быть бессмертными.

Об этом он много и часто думал в плавании. Надолго умолкал, уходил в себя, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками. Глядя на море, обращаясь неизвестно к кому, он просил лишь об одном: оставить ему его сны о Великой Рыбе-женщине. Разве невозможно, чтобы сны уходили вместе с человеком в иной мир, чтобы они снились вечно, во веки веков? Не находя ответа, он мучительно размышлял, пытаясь убедить себя, что так оно и будет, что сны останутся при нем...

Когда-то очень и очень давно, в незапамятные времена, на побережье близ сопки Пегого пса жили три брата. Старший был скороход, легок на подъем, везде и повсюду поспевал: женился он на дочери оленного человека, стал хозяином оленьих стад, откочевал в тундру, с тем и ушел. Младший был следопыт и меткий стрелок. Он тоже женился, взял себе девушку из лесных людей, ушел в тайгу, стал охотником в таежных местах. А средний брат был хромоногий от рождения, не повезло человеку, рано вставал, поздно ложился, да что толку — за оленями ему не угнаться, зверя в лесу

не выследить. Никто в округе не отдал ему дочери своей в жены, братья покинули его, и остался он один у самого синего моря. Перебивался тем, что рыбу удил. Известное дело — сколько ее наудишь...

Однажды сидел он, горемычный брат хромоногий, в лодке своей, закинув леску в море, только вдруг почувствовал, как удилище сильно задрожало в руках. Обрадовался — вот будет улов! Начал он выводить рыбку, все ближе и ближе к лодке подтягивать.

Смотрит — что за диво! А то рыба в образе женщины! По воде колотит, извивается, уйти хочет. А красоты невиданной — тело гладкое, серебром отливает, как речной галечник в лунную ночь, груди белые с темными сосцами торчком, точно бы то еловые шишечки, а глаза зеленые огнем искрятся. Поднял он Рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, тут она обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого брата кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было, и казалось ему — до небес вскидывалась лодка. Раскачалось море до неба, небеса раскачались до моря. А потом все утихло разом, как после бури. Тут Рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий брат, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликнулась, исчезла в морской глубине.

Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла Рыба-женщина и больше никогда не появлялась. А хромоногий брат с того дня затосковал, закручинился крепко. С того дня все дни и все ночи ходил он с плачем по берегу и все звал Рыбу-женщину, заклинал и просил ее хотя бы издали показаться.

По приливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

По отливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Лунной ночью шел и пел:

Это море — тоска моя,
Эти воды — слезы мои.
А земля — голова моя одинокая!

Темной ночью шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

По приливу шел и пел, по отливу шел и пел...

А тем временем зима миновала, следом весна миновала, и однажды в летнюю пору шкандылял по берегу горемычный брат хромоногий, по волнам прибоя по колено брел и все в море смотрел — не покажется ли вдруг Рыба-женщина, и все звал ее — не откликнется ли вдруг Рыба-женщина, только вдруг услышал он на отмели вроде бы детский плач. Вроде бы дитя малое плачет-надрывается. Побежал он туда и глазам не верит своим — младенец голышом сидит на отмели у самой воды, волна то накроет его, то уйдет, а он плачет да все приговаривает громко: «Кто мой отец? Где мой отец?» Еще больше диву дался хромоногий брат, и не знал он, бедняга, как тут быть. А младенец увидел его и говорит: «Это ты мой отец! Возьми меня к себе, я твой сын!»

Вот ведь какая история вышла! Взял человек сына своего, унес его к себе.

Быстро подрос мальчик. По морю стал ходить. Отважным и крепким добытчиком прослыл. Удачливым родился: сеть забросит — рыбы полно, стрелу выпустит — зверя морского насквозь прошьет. Слава пошла о нем далеко, за леса и горы. Тут и девушку со всем

уважением выдали за него из лесного племени. Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей Рыбы-женщины.

И отсюда песня поется на праздниках:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Твое жаркое чрево — зачинает жизнь,
Твое жаркое чрево — нас породило у моря,
Твое жаркое чрево — лучшее место на свете.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Твои белые груди, как нерпичьи головы,
Твои белые груди вскормили нас у моря.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..
Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
Чтобы чрево твое расцветало,
Чтобы род твой на земле умножался...

Этот сон наплывал исподволь, как неумолимо прибывающий прилив из глубин океана, погружающий на какое-то время прибрежные земли, травы, дюны в околдованную призрачность подводного сумрака.

Всякий раз этот сон оставлял ошеломляющее, долго не проходящее ощущение у Органа. Он верил в него настолько, что никому, ни одной душе на свете не рассказывал о своих свиданиях с Рыбой-женщиной, как не стал бы рассказывать кому бы то ни было о подобных случаях в обычной жизни.

Да, то был сон-спутник, часто навецавший старика, доставляя ему и отраду, и печаль, и неземные страдания духа. Удивительное свойство этого сновидения состояло в том, что каждый раз оно поражало Органа нескончаемостью сути своей и многозначностью намеков, заключенных в невероятных превращениях и причудах сна. Размышляя об этом, пытаясь разгадать тайную тайных — ту вечно неуловимую, непрестанно изменяющуюся связь сновидений с живой жизнью, которая веч-

но мучает человека своей загадочностью и неведомыми предзнаменованиями, Орган ловил себя на мысли, что при всем смятении духа он всегда жаждет возвращения этих снов, с неизбывной тоскою всегда жаждет свидания с ней, с Великой Рыбой-женщиной...

Он встречался с ней в море. Ожидая ее появления, выходил к берегу и в ожидании шел по пустынным прибрежным пескам, на которых не задерживались следы ног, но сохранялись черные, неподвижные тени от угасших лучей ушедшего солнца. Эти тени лежали подобно черному снегу, по которому он шел, страдая, объятый пронзительной, нечеловеческой тоской. Боль любви, боль желаний и надежды переполняла его, а море оставалось пустынным и безучастным. Ни ветра, ни звуков, ни шороха не присутствовало в том напряженном безмолвном мире одиночества. А он ждал, неотрывно глядя на море, ждал чуда, ждал ее появления.

И тяжело становилось ему оттого, что бесшумные волны нагоняли вдоль его пути белую кипень бесшумного прибоя. Как огромные, мятущиеся хлопья снега, беззвучно витали над головой безголосые чайки. В этом оглохшем и онемевшем пространстве он не находил себе места, чувствуя, как ему делалось дурно, как по мере ожидания все больше, все острее и мучительней нарастала в нем неумная, неумолимая тоска по ней, и даже во сне он понимал, что ему будет плохо, что он погибнет в пустоте одиночества, если не увидит ее, если она не появится. И тогда он принимался кричать, звать ее. Но голоса своего не различал, ибо голос отсутствовал, как отсутствовали все звуки в этом странном сне. А море молчало. Лишь собственное тяжкое дыхание, невероятно громкое и прерывистое, и неумолчный бой собственного сердца, бешено отдающийся в висках, преследовали его. Они раздражали его. Он не

знал, куда деваться, как избавиться от самого себя. Он ждал Рыбу-женщину так страстно и безумно, как ждет утопающий последней надежды на спасение. Он знал, что только она, Рыба-женщина, может дать ему счастье, знал и ждал из последних сил.

И когда наконец она стремительно выныривала на поверхность, когда она плыла к нему со взором, обращенным к нему, мелькая неясным ликом между волнами, немота мира сокрушалась, как обвал. Крича и ликуя, встречал он возвращение звуков: вновь пробудившийся рев прибоя, шум ветра и гомон чаек над головой. Крича и ликуя, он бросался к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстроплавающее, как кит, существо.

А она, Рыба-женщина, ждала его, ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой, и, вся трепеща, зависала в длинных бросках, ясно вырисовываясь в те мгновения живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами, очутившаяся вдруг в море.

Он подплывал к ней, и они уходили в океан.

Плыли рядом, бок о бок, легко соприкасаясь в стремительном, все убыстряющемся движении. Это и было то, ради чего он томился в муках тоски и немоты одиночества.

Теперь они были вместе. С непостижимой силой и скоростью мчались они в мерцающую даль ночного океана, излучающего необыкновенное, из глубины идущее сияние на зыбкой черте горизонта, они неслись туда, к неуловимому горизонту, прошивая телами вспененные гребни беспрестанно бегущих навстречу волн, они мчались по нескончаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета — то вверх, то вниз, с гряды на гряду, от переката

к перекаату. А рядом с ними, сопровождая их, неотступно следовала скачущим зеркальным пятном вытянувшаяся в беге, поспешающая по волнам желтая луна. Только луна и только они — он и Рыба-женщина, только они царили в этом безбрежном океанском просторе, только они и океан! То была вершина их счастья, то было упоение свободой, то было торжеством их свидания...

Они мчались непрерывно и мощно, во власти неодолимого желания поскорее достигнуть некоего места на свете, предназначенного им, где они, одержимые страстью, соединятся наконец, чтобы познать в одно молниеносное мгновение всю усладу и всю горечь начала и конца жизни...

Так они и плыли, стремглав, безудержно, в надежде скорого достижения желанной цели.

И чем быстрее они плыли, тем отчаяннее разгоралось в нем яростное нетерпение плоти. Он плыл без усталости, рвался вперед изо всех сил, как лосось, несущий к месту нереста всю свою жизненную энергию до единой, до последней, наиисчерпывающей капли. Он плыл, готовый умереть от любви. А загадочная Рыба-женщина, увлекая его все дальше и дальше в глубь океана, продолжала лететь по волнам в туче брызг и сверкающей радуге, восхищая Органа жемчужной теплотой, стремительностью и гибкостью тела. Дыхание занималось от совершенства красоты ее, омываемой синевой и белизной завихряющихся струй.

Они ни о чем не говорили, они лишь неотрывно смотрели друг на друга, пытаясь взглянуться в потоках воды и брызгах в смутные очертания лиц, и безостановочно мчались по океану в нетерпеливом, все возрастающем ожидании места и часа, предназначенных им судьбой...

Но они никогда не достигали того места, и тот час никогда не наступал...

В большинстве случаев сны его кончались ничем — внезапно все обрывалось, исчезало, как дым. И тогда он оставался в недоумении. По-настоящему огорчался и долго потом тосковал, испытывал чувство некой неудовлетворенности, незавершенности. Иной раз, спустя много времени, припоминал все с самого начала, задумывался всерьез — что бы все это значило и к чему это, ибо в душе он верил, что то, что ему снилось, было больше, чем сон. Ведь обычный сон если и вспомнишь, то вскоре забудешь навсегда. От такого зряшного дела голова не болела бы, мало ли чего приснится. А Рыбу-женщину Орган никогда не забывал, думал, размышлял о ней как о чем-то таком, что действительно имело и имеет место в жизни. Поэтому, пожалуй, старик каждый раз искренне переживал, воспринимая свою встречу и неожиданную разлуку с Рыбой-женщиной во сне как подлинное событие.

Но, бывало, сильнее всего терзался он духом, когда сон завершался тяжким финалом. В таких случаях сокрушался он с великим отчаяньем и прискорбием, не находя объяснения загадочному исходу сна.

Снилось ему, что вот-вот доплывут они до заветного места, что вот уже виден вдали какой-то берег. То был берег любви — к нему направлялись, поспешали они что есть мочи, охваченные неистовым желанием поскорее достигнуть этого берега, где они смогут отдаться друг другу. Вот уже близко совсем до берега, и вдруг с ходу врезались в песчаное дно мелководья, где воды ниже колена и где плаванию конец. Орган спохватывался, оглядывался: Рыба-женщина бешено колотилась в мелкой воде, тщетно пытаясь вырваться из плена коварной отмели. Обливаясь холодным потом,

Орган бросался к ней на помощь. Но проходила целая вечность, пока он, увязая в засасывающей, как болото, трясине дна, полз на коленях, волоча непослушные, обмякшие, чужие ноги. Рыба-женщина была совсем рядом, рукой дотянуться оставалось самую малость, но добираться до нее было мучительно, он задыхался, захлебывался, проваливаясь в илистом дне, запутываясь в липнувших водорослях. Но еще более мучительно было видеть, как трепыхалась, билась застрявшая на мели его прекрасная Рыба-женщина. И когда наконец он добирался и, шатаясь от головокружения, шел к берегу, прижимая ее к груди, он явственно слышал, как панически стучало готовое разорваться на части сердце Рыбы-женщины, точно то была схваченная в погоне птица-подранок. И от этого, оттого, что он нес ее на руках, крепко прижимая к себе, оттого, что до боли, всем существом своим проникался нежностью и жалостью к ней, как если бы он нес на руках беззащитное дитя, к горлу подкатывал тугой, горячий ком слез. Растроганный, стыдясь Рыбы-женщины, он сдерживал себя, чтобы не заплакать. Он нес ее, замирая сердцем, плавно передвигаясь, замирая и зависая на лету в воздухе, думая о ней на каждом шагу. А она, Рыба-женщина, умоляла его, в слезах заклинала, чтобы он отнес ее обратно в море, на волю. Она задыхалась, она умирала, она не могла любить его вне большого моря. Она плакала и молча смотрела на него такими просящими, пронзительными глазами, что он не выдерживал. Поворачивал назад, шел через отмель к морю, погружаясь все глубже и глубже в воду, и здесь осторожно выпускал ее из своих объятий.

Рыба-женщина уплывала в море, а он оставался, оглушенный и одинокий. Глядя ей вслед, Орган просыпался в рыданиях...

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Это море — тоска моя,
Эти воды — слезы мои.
А земля — голова моя одинокая.
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

Тяжко и невыносимо было ему вспоминать об этом, будто бы и в самом деле держал он Рыбу-женщину в руках и сам же отпустил ее на волю. Отчего так случилось? Разве невозможно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим, в чем смысл, какой тут сказ и к чему он? Теряясь в догадках, отмахивался Орган от таких мыслей, пытался забыть, не думать о Рыбе-женщине.

Но, очутившись на промысле, сам не замечал, как начинал думать о ней и обо всем, что было с этим связано. В море он как бы заново переживал всю историю необыкновенного сновидения и, размышляя трезво, удивлялся, спрашивал себя: зачем он думает об этом, разве его стариковское дело тосковать о несуществующей Рыбе-женщине? Укорял себя и себе же признавался: не будь ее, сам бы себе был уже в тягость — вот постарел уже, и силы не те, и глаза не те, и краса ушла, и зубов не хватает. Все, чем славен был, все уходит, разрушается, и смерть не за горами, и лишь грудь не сдается, желания в груди живут по-прежнему, как в молодости, беда — не стареет душа. Потому-то и думы думаются такие, и сны видятся такие, — потому как только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но смерть не считается с этим, дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг и какие сны он видел,

каким он был, насколько и на что ума у него хватало, — все ей нипочем. Почему так? Зачем так устроено на свете? Пусть Рыба-женщина — сон, но пусть оставался бы этот сон навечно и там, в ином мире...

Так же, как он верил в Рыбу-женщину, верил Орган и в то, что море внемлет ему. Здесь ему и дышалось и думалось вольготно. Тут изливал он душу свою. Погруженный в свои мысли, порой он даже спрашивал себя: «А не здесь ли мы проплывали с ней?»

В такие минуты заново набивал трубку. Упивался табачным дымом: «И где она растет, трава эдакая — вроде злая, а на душе легчает... В Маньчжурии, говорят купцы. Оттуда они ее привозят. Далеко она, эта Маньчжурия, ох, далеко, никогда никто из наших людей там не бывал... Неужто табак растет там, как трава в лесу? Вот чудеса, чего только не бывает на свете...»

Солнце уже перевалило за полдень. Несколько раз за это время оно скрывалось за облаками, набегавшими вдруг откуда-то из-за горизонта, точно бы там таилось гнездовье непогоды, — и тогда море моментально меркло, темнело ликом, сумрачно, неуютно становилось вокруг. То вновь выглядывало, светило из-за туч повесенному щедро и ясно, и тогда море играло мириадами живых, купающихся отблесков, сверкавших до боли в глазах, и опять становилось веселей на душе.

Киrisk хотя и привык к морю и даже заскучал немного, но все еще не покидало его чувство удивления огромностью, неоглядностью морского простора. Сколько плывут — все конца-краю не видно. На земле, какая бы она ни была обширная, он никогда не удивлялся бы этому, как в море.

А взрослые ничуть ничему не удивлялись. Им было все привычно. Эмрайин и Мылгун продолжали грести все так же ровно, без замашистости зацепляя веслами

верх воды. Они работали неумолимо, не позволили даже Органу подменить их для передышки, сказали, что лучше на обратном пути, когда с грузом будут, тогда поможет, а сейчас, мол, пусть правит себе. Старый Орган, кадыкастый и длинношей, сидел на корме, ссутулившись, как орлан, выжидающий добычу. Больше молчал, думал о чем-то своем.

А лодка плыла, все так же слегка приныривая по волнам. И волна стояла все та же — умеренной силы. Ветер шел низовой, устойчивый.

Так они плыли...

— Аткычх! Аткычх! Вон остров! Малый сосец! — радостно воскликнул вдруг Кириск, дернув Органа за рукав.

— Где остров? — не поверил Орган, приставляя ладонь к глазам. И гребцы удивленно оглянулись туда, куда указывал мальчик.

— Не должно быть, — пробормотал старик, ибо мальчик показывал совсем в другую сторону, неожиданную для них сторону.

Мальчик не врал. Там, вдали, очень далеко, действительно неподвижно темнела в море застывшая неровная полоса грязно-бурого оттенка, точно то был выступ тверди среди воды. Орган долго всматривался.

— Нет, то не остров, — убежденно сказал он наконец. — Нам до Малого сосца еще плыть по прямой, на закат, туда, куда мы плывем. А это совсем в стороне. И то не остров, — продолжал он. — Сдается мне, то не остров.

— Такого острова в этих водах никогда не было, никогда не видели мы такого острова, — сказал Мылгун. — Малый сосец будет слева, а это не знаю, что такое.

— А не туман ли это или облако какое? — промолвил Эмрайин. — Или волна так бурунит, тогда почему она не движется?

— Вот то-то, что оно есть? Туман или облако, кто его знает. Далеко отсюда. Но то не остров, — рассуждал Орган. — Но если это туман такой, то радости мало.

— Ничего, лишь бы ветер не изменился, — приналегая на весла, высказал свое мнение Эмрайин. — Стоит оно на месте, не движется. А нам в той стороне делать нечего, пусть себе что есть, то есть...

Киrisk вначале разочаровался было, что обнаруженное им оказалось чем-то неопределенным, но потом быстро забыл об этом.

А охотники не ошиблись. Островок Малый сосед вскоре завиднелся из воды по левую руку. Тут уж никаких сомнений не было. То оказался совсем небольшой, сплошь каменистый, бугристый выступ суши, и в самом деле напоминавший сосок.

Завидев остров, все оживились, особенно Киrisk, — значит, не бесконечно море. И тут началось самое интересное в плавании.

— Ну вот. — Орган потрепал башлык на голове мальчишки. — Пегий пес довел нас до острова, хотя сам остался дома. Ведь, побеги он следом за нами, утонул бы?

— Еще бы! — подтвердил Киrisk, улавливая смысл игры.

— А Пегий пес затем нам и нужен, чтобы оставался дом стеречь, а мы, помня его, добрались бы, не сбиваясь с пути, к месту охоты. Как ты думаешь, нужен будет нам еще Пегий пес или нет?

— Нет, не нужен, — опять же совершенно уверенно отвечал Киrisk. — Теперь мы сами видим, куда плыть.

— А ты подумал бы, а! — укорил Орган. — А то ведь ты такой шустрый, ты бы подумал.

Киrisk не сообразил, зачем еще нужен будет этот Пегий пес в море у далекого острова.

— А зачем тут наш Пегий пес?

— А домой возвращаться как будешь? Куда поплывешь, в какую сторону? Ну-ка, подумай? Догадался? Запомни, с какой стороны подплываем, какой стороной остров смотрит на Пегого пса — тогда будешь знать, куда путь держать, когда возвращаться.

Кириск молча согласился, но все же самолюбие его было уязвлено, и, возможно, поэтому он спросил несколько запальчиво:

— А если будет темно, а? Если ночью окажемся в море и ничего не видно, а? Так как?! А! Тогда как узнать, где Пегий пес, в какой стороне? А!

— Ну что ж, и тогда можно узнать, — спокойно отвечал ему на это Орган. — Для этого есть звезды на небе. Звезды не подведут, всегда точно укажут. Только бы сам знал, где какая звезда. Дай срок, научишься еще. Ты созвездие утки Лувр знаешь?

— Знаю, кажется, — неуверенно произнес Кириск, глянув на отца.

Эмрайин понял затруднение сына:

— Знает чуть-чуть, я ему как-то показывал. Но это мало. Надо еще поучиться...

Так они плыли, постепенно приближаясь к острову. А когда стали различимы отдельные камни и скалы на берегу, пошли обходом вокруг острова, пристально вглядываясь в прибрежные места, с тем чтобы обнаружить лежбище нерпы. Кириск смотрел очень усердно, ему хотелось первому увидеть стадо. Но его предупредили — если заметит зверей, не производить лишнего шума. Орган сказал, что нерпы лежат где-то среди прибрежных камней у воды, — они выползают на сушу погреться на солнце. Надо приметить, где они расположились, а затем, высадившись скрытно на берег, подкрасться к ним незаметно, чтобы не вспугнуть. Но Кириск так ничего и не разглядел. Берега были пустынные

и унылы. Сплошной дикий камень, разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время перехлестнуть через завалы обледенелых камней. Нет, ничего не углядел на острове Кириск. Только камни на камнях и никаких живых тварей.

Зато Мылгун первым заметил. И пока Кириск крутил головой, пытаясь различить, где именно затаились нерпы, лодка отплыла подальше от того места, чтобы не оказаться увиденной с лежбища.

А старый Орган понял, что Кириск ничего не разглядел.

— Ну, ты видел? — спросил он у него.

Мальчик не посмел соврать.

— Не увидел, — признался он.

— Подплывем еще раз, — велел Орган. — Учись различать среди камней. А иначе ты не сможешь стать охотником.

Гребцы повиновались, подвели лодку на прежнее место, хотя это было рискованно. Стоило одной нерпе поднять тревогу, как все стадо немедленно кинулось бы в море. Но, к счастью, звери не замечали охотников. Они лежали за каменной грядой, среди корявых, беспорядочно разбросанных камневу почти у самой воды.

— Вон видишь острый камень, как обломанный клык, и неподалеку красноватый такой, обледенелый бугорок, — смотри между ними, — сказал Кириску Мылгун.

Кириск вглядывался. Мылгун и Эмрайин тем временем, нагребая веслами, старались устойчиво держать лодку на месте. И тут Кириск увидел спины морских зверей — мощные хвостатые тулова. Сероватые, пятнистые, лоснящиеся спины были неподвижны. Издали для неопытного глаза они были неразличимы между камнями.

И с этой минуты мальчика охватило волнение. Начинается: вот они, настоящие морские звери! Вот она, большая охота!

Когда они затем высаживались на берег, он был возбужден, он был переполнен отвагой и восхищением. Отвагой, ибо он чувствовал себя в этот момент сильным и значительным. И восхищением — он видел, как здорово и слаженно действовали охотники: как они подвели лодку к берегу, как Эмрайин и старик Орган держали на веслах лодку у прибоя, а Мылгун изловчился, выпрыгнул на край галечника, как затем он подтянул лодку за брошенный конец, перекинув его через плечо, и как, подхватив винчестеры, выпрыгнул на берег отец. За ним, не без помощи старика Органа, выпрыгнул и он сам, хотя и намочил при этом ноги в прибрежной волне и выслушал негромкий выговор отца.

В лодке оставался Орган, чтобы держать ее на волне у берега, а они втроем — Эмрайин, Мылгун и Кириск — поспешили к лежбищу. Шли берегом, инстинктивно пригибаясь, быстрыми перебежками от укрытия к укрытию. Кириск не отставал и только чувствовал, как бешено колотится сердце в груди и как временами кружится голова от возносящего чувства гордости и волнения.

Если бы только люди Рыбы-женщины могли видеть его сейчас, быстро идущего с большими охотниками на морского зверя! Если бы видела его сейчас мать, как она гордилась бы им, будущим великим добытчиком и кормильцем рода! Если бы видела его сейчас Музлук, с которой он часто играл, а теперь никогда не будет играть, ибо отныне имя его — охотник, и если бы она видела, как он сейчас вдали от родного Пегого пса пробирается незнакомым бушующим берегом, среди диких скал и камней, к лежбищу нерпы. И не беда, что винчестеры находились у Мылгуна и Эмрайина: отец обе-

щал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять.

Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле, и Кириск пополз. По жестким камням и шербатовому льду ползти было тяжело, неловко, но Кириск понимал, что это необходимо.

Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам. И замерли, затихли, когда оставалось приладиться и стрелять.

На всю жизнь запомнил Кириск этот час, этот весенний день, этот холодный каменистый островок среди бесконечно огромного моря и на нем — эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некоей безумной силой, эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще не оттаявшую ото льда, жесткую и безжизненную, а рядом с собой отца и Мылгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди, в ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами, — небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем — слегка мгlistое, застывшее небо, как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела.

«Только бы попасть!» — думал он, придвигаясь плечом к прикладу винчестера, переданного ему отцом.

В то короткое долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным, отважным охотником, его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лощину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была

лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна, и где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом, твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше и чуть правее — в самое сердце крупного, пятнистого лахтака. А лахтак, будто предчувствуя что-то недоброе, вдруг насторожился, хотя он не видел охотников и учуять их не мог — ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону — для лучшего прицела, что-то мешало впереди, какая-то тень, — надо было пододвинуться очень осторожно, и тут камень из-под локтя Кириска резко отскочил и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый лахтак издал короткий лающий звук — стадо встрепелось и с ревом быстро поползло, покатилося к воде. Но в эту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада — то Мылгун спасал положение. Кирииск растерялся.

— Стреляй! — приказал ему Эмрайин.

В плечо сильно садануло, выстрел ударил в уши, и все потонуло в глухоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал и что по его вине охота срывалась. Но отец совал ему патрон:

— Заряжай, стреляй быстрее!

То, что казалось не таким уж трудным делом — зарядить и выстрелить (сколько раз он это проделывал запросто, когда учился стрелять), теперь не получалось. Затвор винчестера не сразу поддался. Мылгун тем временем дал с колена еще два выстрела вдогонку кинувшимся в воду нерпам. Одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда. Стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на

берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, нерпе удалось добраться до воды, и она, увлекая за собой кроваво колыхающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту, от затылка до самого кончика хвоста. Мылгун опустил вскинутый винчестер — добывать нерпу теперь не было смысла.

— Оставь, все равно утонет, — проговорил Эмрайин.

А Киrisk стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник!

И замолчал мальчишка, все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько.

— Ничего, у тебя еще будет удача, — успокоил его потом Мылгун, когда они принялись потрошить убитую нерпу. — Вот сейчас поплывем на Средний сосец, там зверья побольше водится.

— Да я просто поспешил, — начал было Киrisk, но отец прервал его:

— Не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь, добыча от тебя никуда не уйдет.

Киrisk промолчал, но в душе был благодарен, что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово — не спешить на охоте и не думать ни о чем другом, стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, «переселятся в прицел». Вот тогда посылать пулю!

Нерпа оказалась большой, тяжеловесной, совсем еще теплой, как живая. Мылгун удовлетворенно потирал руки, освеживывая тушу с брюшной части: «Жи-ра-то, видишь, на четыре пальца. Хороша!» Забыв уже о своем огорчении, Киrisk с увлечением помогал ему. А Эмрай-

ин тем временем пошел к старику Органу причалить поблизости лодку.

Вскоре он вернулся, озабоченно торопливый.

— Время не ждет, давайте быстрее! — И, поглядев на небо, добавил, ни к кому не обращаясь: — Не нравится мне погода...

Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Киrisk шел следом, нес ружья, оба винчестера.

На берегу, возле лодки, их ждал Орган. Старик был обрадован.

— Пусть Курнг¹ услышит, как мы довольны! Для начала и это неплохо! — приговаривал он, готовя свой охотничий нож для трапезы. Предстояло самое главное после охоты — поедание на месте сырой нерпичьей печени. Орган присел над располованной тушей, нарезал печень дольками. Слегка присыпав солью, охотники глотали нежные куски печени, причмокивая от удовольствия. Печень была очень вкусна — нежная, теплая, сытная. Во рту она таяла, обволакивая язык жирным соком. Сбылась мечта Киriskа — как настоящий мужчина, ел сырую печень на охоте!

— Глотай, глотай побольше! — советовал Орган мальчику. — Ночь будет холодной, промерзнешь. А печень — самый лучший согрев. И от всех болезней первое средство.

Да, здорово это было. Наелись отменно, и сразу пить захотелось. Но вода была в бочонке, в лодке.

— Разделявать тушу сейчас не стоит, — сказал Эмраин, когда все насытились, и опять беспокойно посмотрел на небо.

¹ Курнг — высшее божество.

— Успеется, — согласился Орган. — Чай согреем на ночь, когда устроимся на Среднем сосце, — добавил он. — А пока обойдемся. Будем грузиться.

Перед самым отплытием охотники не забыли покормить землю. Мелко нарезанное сердце нерпы разбросали с приговором для хозяина острова, чтобы тот не отказывал им в удаче в следующий раз. С тем они снова вышли в море.

Малый сосец оставался позади. Одиноким сиротливый островок среди хмурой воды вызывал чувство жалости и неприкаянности. Путь держали к Среднему. День уже клонился к вечеру. Гребцы приналегали на весла, торопились засветло попасть к Среднему сосцу, где предстояло зачалить лодку в укрытие и заночевать. Малый сосец вскоре исчез из виду, как бы опустился в море, но Средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода.

Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось. Волна стала плотней. Тверже. Масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче. Но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало? Что-то непонятное и неожиданное в это время года! Невесть откуда летящая муть в воздухе покрывала небо белесой текучей завесой, как марью, гонимой верховым ветром от далеких лесных пожаров, бушующих где-то в черных дебрях. И хотя дымка эта всего лишь затягивала небо и ничем никому не мешала, охотники хмурились.

— Откуда ее прет? — бормотал Орган, недовольно оглядываясь вокруг.

Теперь они плыли в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот покажется впереди земля —

Средний сосец, самый удобный и надежный из Трех сосцов.

Тем временем небо даже прояснилось, и даже солнце вновь проглянуло с края моря, а может быть, с самого края света — настолько далеко и неправдоподобно это было. На солнце можно было запросто смотреть, не отворачиваясь. Четко очерченное и налившееся багровостью, солнце уже угасало, смутно рдея, в той далекой багрово-дымной стороне. Приоткрылось небо, и снова свет и спокойствие воцарились в мире. И этого оказалось достаточно — сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали уют и отдых на острове.

— Потерпи еще немного, и Средний сосец подыметя впереди, — сказал Орган сидящему возле Кириску, ободряя его похлопыванием по спине.

Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался, по детской наивности своей неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот накануне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез, нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда, когда будут все пить.

В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал доброту старика Органа.

— Аткычх! Пить хочется очень! — сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца.

— Во-он как! — понимающе усмехнулся Орган. — После такой печенки-то немудрено! Ясное дело! Да ведь мы все пить хотим, а?

Эмрайин и Мылгун одобритительно закивали в ответ со своих мест. И это обрадовало Кириска, — значит, все пить хотят, не только он один.

— Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим! — С этими словами старик Орган заклинил рулевое весло, поднял со дна лодки бочонок с водой, поставил его сподручней и стал нацеживать воду через желобок в луженный изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая — в роднике набирали, как раз на обратном от моря склоне Пегого пса. Там самая любимая вода, всегда чистая, вкусная. Летом травами наполоסקавшимися пахнет и сырой землей.

Ковшик держал под струйкой Киrisk. Очень хотелось побыстрей напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик Орган прикрыл струю затычкой.

— Ну, пей! — предложил он Киriskу. — А потом напоишь и других. Не расплескивай, — предупредил он.

Киrisk пил вначале жадно, а под конец помедленней и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом.

— Напился? — спросил Орган.

— Да.

— По глазам вижу — не совсем. Ну так и быть уж. Еще малость дам. Печенка — штука сильная, были бы на земле, пей хоть целое ведро, — приговаривал старик, нацеживая Киriskу на дно ковша.

И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях: ох, мол, с души отлегло!

Потом по три четверти ковша налили гребцам. Киrisk сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта, он ничего не имел против, чтобы отец и Мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейшина Орган, однако, счел нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша:

— Ты еще мал телом, а они вон какие! И работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется.

Эти двое и в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих гребцов:

— Вы, братцы, не очень-то. Не на берегу реки сидите!

Эмраин и Мылгун в ответ только заулыбались. Понимаем, мол, но ничего не могли поделать — пить хотелось.

Но и сам Орган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой:

— Да-а, неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила — печень сырая...

Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады...

Первым увидел беду Кириск!..

Перед этим была удивительная минута покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми.

Первая нерпа была добыта, вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на морского зверя. И сразу после охоты возвращение домой, без промедления. Все было в порядке.

Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам. Старик Орган правил на корме, посасывая свою трубку, и, быть может, думал о своей Рыбе-женщине. Эмраин и Мылгун знай себе гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий, легко, точно, красиво. Кириск невольно залюбовался охотниками. По какому-то мальчишечьему наитию в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что находился в этот час вместе с ними в плавании.

Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик Орган, должно быть, всегда, во все времена был

стариком Органом, вот таким кадыкастым, длинношеим, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезящимися, всепонимающими глазами. А разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека?

Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца и что, когда он вырастет, будет вылитый Эмрайин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие и точно такие, — два передних немного выпирают вперед. И борода, говорит она, будет у него, как у отца, черная, сильная и густая. Недаром же отца зовут Бородатым Эмрайином. А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою под бок: смотри, смотри, ну в точности как сам. И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорила, что если Кириску, когда он вырастет, попадетя жена такая же, как она сама, та будет не в обиде — ей будет хорошо, это она знает. Странно, думалось ему, кому и как это будет хорошо? И почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца?

Вот он сидит впереди, нагребает. Чернобородый, белозубый. А сам плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером. Не помнил Кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие. А глаза и в самом деле как зрелые желуди — чистые, налитые блеском.

За ним, у второй пары весел, сидит его двоюродный брат Мылгун, младше отца года на два. Даром что брат — бороды у него почти нет. А что есть, так топорщится, как у моржа усы. И сам он похож на моржа. Этот и поговорить и поспорить любит, если что не так. Обиды никому не спустит — подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться да задабривать купца.

А Мылгун ни в какую: несмотря что короткий ростом и круглый, как пень, рвется, я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный. До этого дела он охочий. Несколько человек, и Эмрайин в том числе, хотели его скрутить, так туго пришлось. Силен оказался, как медведь. Кириску он аки-Мылгун¹. С отцом они дружны, всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга и оба одинаково надежные охотники. У Мылгуна сын еще совсем маленький — только-только бегать стал, и две девочки постарше. Кириск их никому в обиду не дает, пусть попробует кто-нибудь тронет. А мать Кирирка души не чает в девчушках Мылгуна, часто прибегают они поиграть к Псулк.

Но красивее всех среди всех девочек Музлук! Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону — замуж соседним людям. Вдруг бы взять и не отдать...

Там, на побережье, редко когда думал Кириск о таких вещах, а теперь, на отдалении, все обычное обрело для него ранее неведомый трогательный смысл.

Ему вдруг очень сильно захотелось домой, туда, где за сопкой Пегого пса, в долине реки, у опушки леса, расположилось старинное становище прибрежных нивхов — людей Рыбы-женщины. Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного Пегого пса, вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся даже, как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное.

По морю, застилая почти полгоризонта, двумя широкими, смыкающимися языками надвигалась на них

¹ Аки — употребляется по отношению к старшему родственнику.

серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался, как живое существо, как чудовище, имеющее непрременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой, вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Киrisk видел нечто неопределенное, какую-то застывшую средь моря серую массу. Теперь вся эта масса, набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром, к ним.

— Смотрите! Смотрите! — испуганно вскричал Киrisk.

Все оторопели. Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплесала на волнах. И в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом, со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиваясь, вырастая и разрушаясь одновременно.

— Разворачивай! — отчаянно закричал Орган. — Разворачивай носом!

Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут уже подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой зловещей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся, живая тьма.

— Запоминайте ветер! Запоминайте ветер! — успел прокричать Орган. И сразу все потонуло в беспросветной мгле. Туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу, в мгновение ока, они

попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя — море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное — бороться наугад, вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться.

Кирикс и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду, случалось, исчезали навсегда, тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах Пегого пса в безнадежной надежде: а вдруг! Но и тогда даже приблизительно не мог предполагать он, насколько это страшно и дико — погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появление которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плы-

вущие над разыгравшимся морем, напоминали змеиное движение...

Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно жался в страхе к ноге старика Органа.

— Ты держись за меня! Крепко держись! — прокричал ему на ухо Орган, и больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика.

И никто из них не мог облегчить его участи, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмрайин не сдвинулся бы с места, ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Мылгун отчаянно балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн.

Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, но чем дальше, тем больше усиливался шторм.

Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они могли лишь догадываться по сгустившейся крошечной тьме. И в этой тьме уже много времени шла эта непрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки нивхи пока держались, все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль, болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги. Но тьма окружала все та же — плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган:

— Это я! Кириск со мной! Вы слышите меня?

- Слышим! Мы на местах! — прохрипел Эмраин.
- Кто запомнил ветер? — прокричал Орган.
- А что толку? — со злостью выкрикнул Мылгун.

Старик замолчал. В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему. Куда занесло их, где они, далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром, угадать было трудно. А возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои Сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий Орган замолчал в тяжком раздумье. Единственное, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд среди ночи и тумана никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилён что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал:

— Ветер был Тланги-ла¹, когда мы развернулись носом!

Ему никто ничего не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал. Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда Орган предупредил гребцов:

— Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!

Он склонился к Кириску, ощупал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим:

— Кириск, ты не бойся. Давай вычерпывать воду. Иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты на вот, возьми ковшик, все же лучше... Ты держишь? Возьми ковш, говорю...

¹ Т л а н г и - л а — юго-восточный морской ветер, сильный и холодный.

— Да, аткычх, я держу. А долго так будет? Мне страшно.

— Мне тоже страшно, — проговорил старейшина Орган. — Но мы мужчины, и нам положено такое.

— А мы не утонем, аткычх?

— Не утонем. А если утонем, значит, так должно быть. А теперь давай, держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду.

Хорошо, что Орган вовремя спохватился, и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. И именно тогда, когда они, действуя ощупью, вычерпывали воду, Орган обратил внимание Кириска на небольшой бочонок, из которого они днем пили.

— Киrisk, — сказал он ему, беря его за руку. — Вот бочонок наш с водой. Нащупал? Запомни, что бы то ни случилось, береги бочонок. Держись за него, вцепись, но не разлучайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него. Ты понял меня? Ни на кого не надейся... Слышишь?

Хорошо, что он сказал об этом, хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодились.

После короткой передышки шторм налетел с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспомощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление. И закрутился, завертелся органовский каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемый их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как ни метался Орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую

воду было немислимо. И тогда закричали гребцы зло и отчаянно:

— Выбрасывай все! То-онем. Выбрасывай!

Кириск громко заплакал от страха, но его никто не слышал, и никому не стало дела до него. Мальчик забился в углу у кормы, крепко держа бочонок под собой. Он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, что бы то ни случилось. Он понимал, они тонут, но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной Органом, — сохранял бочонок с водой.

Полузатонувшую лодку надо было срочно спасти. Мылгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась, а Орган и Эмраин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи, и даже жестяной чайник Органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, осклизлая туша не поддавалась. Ее надо было поднять со дна лодки и перевалить за борт. То, ради чего они шли в плавание на необитаемые острова — добычу, — предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательства и проклятия, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и наконец опрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем было ощутимо, как облегченно качнулась лодка, освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение...

Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, где он и что значит

эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. То был туман.

То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение...

Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эм-раин и Мылгун валялись на своих местах возле весел. Вусмерть истерзанные, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, точно бы они были сражены наповал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись у его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Орган пожалел его, но ничем не мог помочь.

Оглушенный пережитой ночью, он сидел на корме, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но такого жестокого случая не знал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час. В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день. Возможно, вторая половина дня.

Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, Органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до ружей, выменянных у заезжих купцов за сотни соболей, они оставались теперь в лодке с двумя

парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди?

Конечно, как только гребцы придут в себя, они вместе обдумают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дожждаться ночи и если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуется сил и времени? Дотянут ли, выдержат ли?

А туман, что за туман? Так густо и неподвижно лежит он над морем. Точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так, неужто весь мир погрузился в такой туман?..

Хотелось курить и пить. О куреве, однако, не приходилось беспокоиться — тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода? А пища? Орган побоялся думать об этом. Пока еще можно терпеть и пока еще можно было не думать...

На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте. Никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять Эмрайина и Мылгуна — они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борта: свалились в мертвецком сне.

При полном безветрии все замерло во мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла, спешить было некуда... плыть было некуда...

Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск.

— Аткычх, аткычх! — толкал его мальчик. — Мы хотим пить.

Орган встрепенулся и понял, что трое соплеменников ждут от него действий, ибо он старейшина, и по-

нял, что начинается самое страшное — распределение воды...

Туман стоял все так же густо и неподвижно. Море находилось в полном затишье.

Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане. Бесцельно и неизвестно куда.

После того как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно.

И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а возможно, напротив, удаляясь от нее.

Но все-таки в этом имелася какая-то иллюзия движения.

Вся надежда была на то, что туман рассеется и тогда станет ясней, что делать.

Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. Перво-наперво необходимо было ухватиться за звезды.

И еще была надежда, что натолкнутся на какой-нибудь остров. А там будет легче сориентироваться.

Так они и плыли пока в никуда — все время в туман.

Но и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки воды со дна, чтобы под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрее. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по не полному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз досыта. Но Орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он найдет нужным, и лишь столько, сколько он нальет. И при этом для пушей убедительности покачал воду в бочонке — он был уже наполовину пуст.

Была и нечаянная радость: когда приступали разливать воду, за бочонком, в самом углу кормы, под сиденьем, обнаружили кожаную, из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами, а этот мешочек, собранный в дорогу женой Мылгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды и юколу невозможно было взять в рот: настолько она пропиталась солью, и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось вдосталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы.

Но пока что юколу никто не ел, опасаясь жажды...

Все ждали одного: когда исчезнет туман...

В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключины весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившегося человека: где я, где я? Куда мне, куда мне податься теперь?

Все ждали одного: когда исчезнет туман...

Но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет — и Землю, и Небо, и Море...

Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху.

Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла.

Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе. Ждали с часу на час. Ждали появления ветра,

который угнал бы этот ненавистный, трижды проклятый туман. Не спали. Обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод, вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем — гривастый и косматый зверь.

Но все тщетно. Никто не слышал их обращений, и туман не развеивался.

Киrisk тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно, как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванью, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяло в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям.

Только бы побыстрее это совершилось, быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к Пегому псу, быстрее, быстрее потому, что очень хотелось пить и есть, невыносимо хочется пить и есть, и чем дальше, тем острее хочется пить и есть, очень хочется домой, к матери, к сородственникам, к жилищам, к дымам, к ручьям и травам...

Всю ночь бедствующие томились в ожидании, но ничто не изменилось — туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться во мгле.

И всю ночь очень хотелось пить, было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить. Киrisk мог полагать, что не только он так тяжело хотел воды, но и другие так же страдали от неутоленной жажды. Но ему

хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех.

А старейшина Орган не дал воды, когда Киrisk все же попросил немного.

— Нет, — твердо сказал он, — сейчас не будем. Терпи.

Если бы знал он, старик Орган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем, с отцом и Мылгунном, — все же не утерпели к концу дня, — начали грызть от голода. И хотя запили юколу водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильнее. А старик Орган не притронулся к юколе, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду — утром и вечером, за исключением Органа. Вечером совсем немного, всего лишь на доньшке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше.

Когда хотелось пить, пить и пить, ожидание перемен вдвойне становилось пыткой.

Так длилось всю ночь... И всю ночь недвижно лежал стылый туман. И море не шелохнулось.

И наутро никаких перемен. Лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза. И на несколько сажен вокруг лодки тускло серебрилась тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Киrisk никогда не видел.

И никакого ветерка, и никаких перемен.

Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых. Осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменялся. Только и осталось — борода. Гу-

бы искусаны до черноты. И на Кириска смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Орган. Ссутулился старик, еще белее стал, и кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего. И только во взгляде осталось то, чем был Орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему.

День начали с самого тяжкого — с того, что распределили между собой по несколько глотков воды. Орган сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал Кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри и как от волнения зашумело в голове. Но, пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде, и даже больше, точно бы там, внутри, раздражили зверя. Потом пил Мылгун. Потом Эмрайин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо Органа. Будто бы то он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам Орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он готов был сейчас налить себе полный ковш, потом еще и еще и пить, пить, пока не упал бы. А потом будь что будет. Лишь бы один раз досыта напиться. А старик Орган отказывал себе даже в том, что полагалось ему. Отказывался от воды на доньшке.

— Зачем так, аткычх. Наливай, как всем! — не вытерпел наконец Эмрайин, хрипя, пересиливая себя. — И вчера не пил. Погибать, так вместе погибать!

— Я обойдусь! — невозмутимо ответил Орган.

— Нет, это неправильно! — повысил голос Эмраин и добавил с раздражением: — Тогда и я не буду пить!

— Пить-то тут нечего. О чем разговор! — Орган усмехнулся, мол, какие вы неразумные, тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и нацедив воды на донышко, сказал: — Пусть Киrisk выпьет за меня.

Мальчик растерялся, и все замолчали. А Орган протягивал ему ковш:

— На, Киrisk, пей. Не думай ни о чем.

Киrisk молчал.

— Пей, — сказал ему Мылгун.

— Пей, — сказал ему Эмраин.

— Пей, — сказал старик Орган.

Киrisk колебался. Умирая от жажды, хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел.

— Нет, — сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание, — нет, аткычх, сам пей, — и почувствовал, как закружилась голова.

Рука Органа дрогнула от этих слов, он тяжело вздохнул. Взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика.

— Я ведь на веку своем, знаешь, ой как много выпил воды. А тебе надо еще долго жить, чтобы... — И он не договорил. — Ты понял меня, Киrisk? Пей, так надо, ты должен выпить, а за меня не беспокойся. На!

И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился, опал жар внутри, и снова, вслед за облегчением, тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды. Но это не имело значения. Лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая. А ее оставалось все меньше и меньше...

— Ну, как быть, что будем делать? — проговорил Орган, обращаясь тем временем к соплеменникам. — Будем плыть?

Наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг. Но, кроме непроницаемого тумана в двух саженях от лодки, в мире ничего не существовало.

— Куда плыть? — со вздохом нарушил молчание Эмраин.

— Что значит — куда? — неожиданно вспыхнул почему-то Мылгун. — Будем плыть, лучше плыть, чем подышать на месте!

— Ну а какая разница — что мы плывем, что не плывем? — урезонил его Эмраин. — При таком тумане плыть в никуда, какая разница?

— А мне плевать на туман! — с еще большим вызовом возразил Мылгун. — Мне плевать на твой туман! Ясно? Будем плыть, а нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдем кормить рыб! Ты понял меня, Эмраин Бородатый, будем плыть! Ты понял?..

Кириску стало не по себе. Ему стало стыдно за аки-Мылгуна. Тот поступал не так, как следовало, все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось, что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя теперь представляли, эти четверо нивхов в лодке. Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мылгун. Эмраин опустил голову. А старик Орган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой.

— Успокойся, Мылгун, — промолвил наконец Эмраин. — Ведь я так, к слову сказал, конечно, лучше плыть, чем стоять на месте. Ты прав. Давай, поплыли.

И они двинулись. Снова заскрипели уключины, снова со всплеском поднимались и опускались весла, без-

звучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая бесследная вода. Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман, получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверное, и вывело опять Мылгуна из себя.

— А мне плевать на твой туман, ты слышишь, Бородатый Эмрайин! — заговорил он, раздражаясь. — И я хочу, чтобы мы плыли быстрее! Пошевеливайся, Борода, гребь, не спи, ты слышишь! Мне плевать на твой туман!

И при этом Мылгун стал резко налегать на весла.

— А ну, нагребай! Нагребай! — требовал он.

Эмрайин не стал озлоблять его, но, задетый им, тоже включился в эту безумную игру.

Лодка набирала все большую и большую скорость. Она напропалую неслась рывками сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. А Мылгун и Эмрайин, не уступая друг другу, продолжали зверски гребти, в каком-то диком, остервенелом, яростном ожесточении, точно они могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов.

Мелькали лопасти весел, взвевая косо летящие брызги, шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом, ошеренные лица гребцов, то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то с силой разгибающихся, упираясь веслами в воду...

То вдох, то выдох, то вдох, то выдох... Вдох, выдох, вдох, выдох...

Туман — впереди, туман — позади, туман — кругом.

— Хана, хана!¹ — как бы выхаркивая, зло подзадоривал, выкрикивал Мылгун.

¹ Хана — давай, а ну-ка!

Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину Органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку. Но тот как бы отсутствовал — задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне, на лице застыло отрешенное выражение. И то ли старик плакал, то ли привычно слезились глаза — лицо его было мокрое. Он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит.

Лодка же шла, гонимая напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем...

— Хана, хана! — отчаянно разносилось в тумане. — Хана, хана!

Так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыща, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы.

Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили, все осталось по-прежнему: мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе...

Зачем это было делать? К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего.

Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда Орган сказал:

— Послушайте теперь меня. — Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно сберегая тем свои силы, — ведь он уже не пил, не ел второй день. — Может статься, — рассуждал он, — туман продержится еще много дней. Бывают такие годы. Случаи такие бывают. Сами знаете. Семь, восемь, а то и десять дней лежит туман над морем, как мор над краем, как болезнь, кото-

рая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок, об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Юколы осталось совсем малость, да и к чему она, когда нет воды. А вода наша, вот она! — И он поболтал содержимое бочонка. Вода свободно плескалась где-то на ладонь-полторы лишь выше дна.

Все молчали. И старик замолчал. Ясно было всем, о чем он хотел сказать: пить воду только раз в день, на самом доньшке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся, превозмочь, переждать напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце — тогда видно станет, а вдруг и повезет — дотянут до земли.

Да, так оно получалось. И иного выхода не могло быть! Но легко сказать — перетерпеть, и то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить, немедленно и не на доньшке, а много, очень много хотелось воды.

Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами, темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей изнутри. В слезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок — нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения.

— Думал я о том, — продолжал он, — что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху —

не пролетит ли вдруг агукук¹. Агукук — единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет агукук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге. Никуда не сворачивая, только прямо. И агукук тоже.

— А если мы не находимся между островом и землей? — мрачно спросил Мылгун, все так же не поднимая головы.

— И тогда не видать нам ее, — опять же спокойно ответил Орган.

Кириск хотел уточнить, а зачем, мол, агукук станет летать над морем, по какой нужде такой, но Мылгун опередил его.

— А если агукук забудет летать над нами, а, аткычх, — мрачно насмехался Мылгун, — а вздумает пролететь стороной, вон там где-нибудь, тогда как?

— И тогда не видать нам ее, — опять же спокойно ответил Орган.

— Значит, не видать? — удивляясь, озлобляясь Мылгун. — Стало быть, и так и эдак, но агукук нам не видать? Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь? — озлобляясь все больше, бормотал Мылгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе. Все молчали, не зная, как быть.

Мылгун тем временем что-то надумал. Выбил ударом ладони из-под низу весло из уключины, затем взобрался зачем-то на нос лодки и стал там во весь рост, балансируя веслом. Никто ничего не сказал ему. И он ни на кого не обращал внимания.

— Э-эй, ты, сука! — закричал он во гневе. — Э-эй, ты, Шаман ветров! — угрожая веслом, кричал он что есть

¹ Агукук — полярная сова.

мочи в туманную мглу. — Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука, или обложили тебя кобели со всего света, и не знаешь, которому подставить, или склещешься со всеми подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять, или забыл ты, что мы здесь, в тумане гиблом, как в яме, сидим? Или не знаешь ты, что с нами малый, как же так?! Он хочет пить, он хочет воды! Воды, понимаешь?! Я же тебе говорю, с нами малый, он первый раз в море! А ты так с нами поступил?! Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не тюленьё дерьмо вонючее! Посылай свои ветры! Слышишь? Убирай туманы себе под хвост. Ты слышишь меня? Посылай бурю, собака, самую страшную бурю — Тланги-ла посылай, сука, опрокидывай нас в море, пусть волны погребут нас, сука паршивая! Ты слышишь? Ты слышишь меня?! Плевать мне, плюю и мочусь я в твою морду косматую! Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море, а нет — ты сука последняя, а я кобель, еще один кобель, только я тебя не стану, на-ка, вот, на тебе, на, на, на, выкуси, выкуси!

Вот так, последними словами поносил Мылгун Шамана ветров, неведомо где существующего и неведомо где укрывающего подвластные ему ветры. Долго еще, до хрипоты, до изнеможения кричал и выходил из себя Мылгун, издеваясь, оскорбляя и одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров.

Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое гребное место, громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей, а Кириск, никогда не видевший мужчину в плаче, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу:

— Аткычх! Аткычх! Зачем он так, зачем он плачет?

— Не бойся,— успокаивал старик, сжимая руку мальчика.— Это пройдет! Скоро он перестанет. А ты не думай об этом. Это тебя не касается. Это пройдет.

И вправду, Мылгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. Эмрайин медленно подводил лодку к плавающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место, в уключину.

— Успокойся, Мылгун,— сочувственно говорил ему Эмрайин.— Ты прав, лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну подождем еще, а вдруг да откроется море. Что ж делать...

Мылгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел согнувшись, как помешанный, боящийся взглянуть перед собой.

А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как ни донимал, как ни бранил, ни поносил Мылгун Шамана ветров, тот остался ко всему тому и глух и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю...

Эмрайин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте, лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли, быть может, опять и, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей Рыбе-женщине.

От невеселых стариковских размышлений отвлек его Киrisk.

— Аткычх, аткычх, а зачем агукук летает на острова? — тихо спросил он.

— А, я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только агукук может летать над морем. Агукук

летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичьих схватывает. У агукук глаза такие — и в тумане, и темной ночью видит, как днем. На то она сова. Самая большая и самая сильная сова.

— Вот бы и мне такие глаза, — прошептал сухими губами Кириск. — Я бы сейчас разглядел бы, в какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить много и долго... Вот бы и мне такие глаза...

— Эх, — вздохнул Орган. — Каждому даны свои глаза.

Они замолчали. И спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику:

— Тебе очень тяжело? Ты потерпи. Если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде, думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде.

Кириск послушно старался не думать о воде. Но ничего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильнее хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось. И от этого хотелось орать, как Мылгун, на весь мир.

Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению. Но на море царила тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время, непрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно: находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды.

К вечеру Мылгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло. Но,

глядя на Кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Орган не удержался, налил и ему на доньшке, а потом и Эмрайину. А сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатком воды под скамью, он долго сидел неподвижно, по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоти. Он сидел на корме молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому, собираясь с духом, сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни. Очень не хватало трубки в такой час. Закурить, подымить хотелось старику напоследок, думая думу о ней — о своей Рыбе-женщине...

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Он знал себя, знал, на сколько хватит еще сил и достоинства на пороге Предела. Единственное, что пока воздерживало его от задуманного, — Кирииск, так привязавшийся за эти дни и все время льнувший под бок в поисках защиты и тепла. Мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это...

Так завершался тот долгий, безрадостный, последний день старейшины Органа.

Уже вечерело. Еще одна ночь наступала.

Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. Но если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды! Однако ночь ничего не предвещала, не заметно бы-

ло никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе — все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной неизвестности и обреченности...

Кириск не помнил точно, когда он уснул. Но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его заживо мукам. Нужна была только вода! Только вода — и ничего другого! Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая, ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой. И ничем нельзя было унять ее.

Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжело заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, все прикладывала мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакала украдкой и что-то пришептывала. В полутьме, при свете жировника, в зыбком, мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери, отца не было — он находился в море, — а Кириску хотелось, чтоб дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но ни то, ни другое желание его не исполнялось. Отец был далеко, а пить мать ему не давала. Она сказала, что пить ему нельзя ни в коем случае. Она смачивала тряпицей его спекшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить и становилось невыносимо.

Мать уговаривала его, упрасивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть и тогда болезнь отойдет.

— Потерпи, родной! — говорила она. — И к утру тебе станет лучше. Ты повторяй про себя: «Синяя мыш-

ка, дай воды». Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды... Только ты хорошенько попроси...

В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» Потом он бредил, метался в жару. И все просил: «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго, а он все шептал, звал ее, плакал и просил: «Синяя мышка, дай воды!» И наконец она прибежала. Синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно, она оказалась вся голубая, воздушная и порхала, как бабочка. Мышка прикасалась, порхая, мягкой шерсткой к лицу, к шее, к телу и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой...

Утром он проснулся со светлым, легким ощущением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабевший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его...

Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, сгорая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка! И с пронзительной тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-попилицу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, когда ему дышалось так тяжело и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо, с какой тревогой, с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела

она на него с мольбою и с затаенным страхом. Что теперь с ней, как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря... А море ничего не скажет. И никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверно, палят еще костры на кручах Пегого пса и тем еще обнадеживают ее, а вдруг да и грянет счастье — вдруг да и объявятся у берегов пропавшие в море.

А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном, аспидно-черном пространстве, медленно утрачивая во мгле ночного тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы — мрак вечности, существующий еще до появления Солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье... Без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана...

Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поилице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив...

«Синяя мышка, дай воды!» — Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чуда не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды...

Синяя мышка, дай воды!

Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору Орга-

на и Эмрайина. Они о чем-то тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор, с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливей разбирал слова Органа, приткнувшись у него под боком, — старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клокотание в горле, а отца слышал хуже — тот находился подальше, на своих веслах.

— Не мне тебя учить, но подумай, аткычх, — горячо шептал Эмрайин, точно бы кто-то мог их услышать здесь. — Ты же умный человек.

— Думал, крепко думал, так будет лучше, — отвечал Орган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении.

Они ненадолго умолкли, и потом Эмрайин произнес:

— Мы все в одной лодке — всем нам должна выйти одна судьба.

— Судьба, судьба, — с горечью пробормотал старик. — От судьбы не уйдешь, известно, — говорил он с хриплым придыханием в голосе, — но на то она судьба — хочешь покорись, хочешь нет. Раз нам конец — кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?!

Эмрайин что-то ответил невнятное, и они замолчали.

Кириск пытался уснуть и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать... Но сон не шел.

Синяя мышка, дай воды!

— Ну, как там Мылгун? — спросил Орган.

— Да все так же — лежит, — ответил ему Эмраин.

— Лежит, говоришь. — И, повременив, старик промолвил, напоминая: — Придет в себя — передай ему.

— Хорошо, аткычх. — Голос Эмрайина при этом дрогнул, он с усилием прокашлялся. — Все передам, как было сказано.

— Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник. И человек недурной. Я всегда уважал его.

Опять они замолчали.

Синяя мышка, дай воды!

Эмраин потом что-то сказал, Кириск не совсем слышал его слова, а Орган ответил тому:

— Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подыкает в стороне от глаз. Я, сам. Я был великим человеком! Это я знаю. Мне всегда снилась Рыба-женщина. Тебе этого не понять... Я хочу туда...

Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку-поилицу:

Синяя мышка, дай воды!

Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к Органу, сказал:

— Помнишь, аткычх, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот, Рыжий большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди...

— Значит, он очень великий человек, самый великий из всех великих, — ответил на то Орган. — А у нас самая великая — Рыба-женщина.

Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания:

- Подожди. Подумай немного...
- Пора. Я свое пожил... Не удерживай. Сил нет, не вынесу...
- Такая тьма...
- А какая разница...
- У меня еще не все слова кончились к тебе...
- Слова не кончаются. Не кончатся и после нас.
- Такая тьма...
- Не удерживай. Не вынесу, силы уходят. А я хочу сам...
- Такая тьма...
- Вы еще подержитесь, там еще есть немного воды...

Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь, ощупью притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчика. Он понял спросонья: то была рука Органа. Теплая, увесистая рука некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить и запомнить ее, голову Кириска...

Снилось Кириску, что он шел пешком по морю. Шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды. Шагал, не проваливаясь, не утопая. Дивное и странное было видение вокруг. Чистое, сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды, ничего на свете не существовало. Только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под солнцем, отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили.

Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмрайина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их,

но никто не откликнулся. Ни души, ни звука, ни тени... Он не знал, куда они исчезли. И от этого ему стало страшно. Докричаться не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, истрачивая силы, но никуда не приближался, оставался на месте, пить хотелось все сильнее и нестерпимей. И тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда. Но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка Лувр жалобно стонала и металась.

— Утка Лувр! — обратился к ней Кириск. — Где земля, в какой стороне, мне хочется пить!

— Земли еще нет на свете, нигде нет! — отвечала утка Лувр. — Кругом только волны.

— А где остальные? — спросил мальчик об исчезнувших людях.

— Их нет, не ищи их, их нигде нет, — отвечала утка Лувр.

Не передаваемое словами жуткое чувство одиночества и тоски охватило Кириску. Ему хотелось бежать отсюда куда глаза глядят, но бежать было некуда, только вода и волны обступали со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку.

— Утка Лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня! Я хочу пить! — взмолился мальчик.

Но она не отзывалась и вскоре скрылась над морем, в поисках не существующей еще земли. А солнце слепило глаза.

Он проснулся в слезах, все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха. Медленно открыл заплаканные глаза, понял, что видел сон. Лодка слегка покачивалась на воде. Сереющая туманная мгла нависала и обступала со всех сторон.

Значит, ночь минула, приближалось утро. Он шевельнулся.

— Аткичх, я хочу пить, я видел сон, — пробормотал он, протягивая руку к старику Органу. Рука его никого не обнаружила. Место Органа на корме было пусто.

— Аткичх! — позвал Киrisk. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся: — Аткичх, аткычх, где ты?

— Не кричи! — разом придвинулся к нему Эмрайин. Он обнял сына, крепко прижал его к груди. — Не кричи, аткычха нет! Не зови его! Он ушел к Рыбе-женщине.

Но Киrisk не слушался:

— Где мой аткычх? Где? Где мой аткычх?

— Да послушай же! Не плачь! Успокойся, Киrisk, его уже нет, — пытался уговорить отец. — Ты только не плачь. Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь...

Киrisk не унимался, отчаянно вырываясь из рук отца. От резких движений лодка закачалась. Эмрайин не знал, как быть.

— Вот мы сейчас поплывем! Смотри, мы сейчас поплывем! Эй, Мылгун, поднимись, поднимись, говорю! Поплыли!

Мылгун стал нагребать. Лодка тихо заскользила по воде. И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в сплошном, молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившем весь белый свет.

Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке.

Синяя мышка, дай воды!

Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмраин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика Органа, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Мылгун тоже были подавлены и ничем и никак не могли помочь ни себе, ни ему, Кириску. Только и нашлись — взяться за весла. Плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане. И над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда — жажда и голод.

Они молчали, ни о чем не говорили. Боялись говорить. Лишь через некоторое время Мылгун бросил весла.

— Дели воду! — мрачно сказал он Эмраину.

Эмраин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по несколько глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и той оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре — не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого.

И опять наступило тягостное, отупляющее ожидание: изменится погода или нет? Уже никто не высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабшие и изнуренные, они невольно впадали в безразличие — смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это — примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю. Лишь раз, крепко выругавшись, Мылгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе:

— Пусть бы исчез туман, и я готов умереть! Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света!

Эмраин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старей-

шину. Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть!

Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь.

И с каждым часом возрастала угроза их жизни — к неутихающей жажде прибавлялся жестокий, разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел.

Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова отяжелела, кружилась, дышать было трудно — то и дело схватывали спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть как хотелось пить.

Синяя мышка, дай воды!

Заклиная и призывая синюю мышку-поилицу, мальчик пытался теперь забыться, теперь он искал спасение в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия Пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной.

«Синяя мышка, дай воды!» — шептали его губы, и оттого, что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого бугра, наподобие бревен. О, это была забавная, отличная игра! Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты ошкуренное бревно, пущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет — не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия, а небо накрывается то одним, то другим краем, облака кружатся и мельтешат в глазах, кружатся и валятся деревья, все летит вверх тормашками, а солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и визг ребят! Катись, ка-

тишься вниз, перевертываясь все быстрее и быстрее, и в это время до того чудно мелькают то вытянутые лица, то искривленные ноги скачущих следом ребят, и наконец остановка. Ух! Только шум в ушах! И тут самый ответственный момент. До счета — раз, два, три — надо успеть вскочить на ноги и не упасть от головокружения. Обычно все с первой попытки падают. Вот смеху-то! Все смеются, и сам смеешься! Хочешь устоять, а земля плывет под ногами. А Киrisk не падал. Удерживался на ногах. Старался. Музлук ведь была всегда рядом. Не хотелось при ней валиться с ног как какому-то слабаку.

Но самое лучшее и самое смешное было, когда они вместе с Музлук наперегонки катились с бугра. Девочки тоже могут скатываться. Только они трусихи и, бывает, косицами зацепятся за что-нибудь. Но это не в счет. Без синяков не обходится в таком веселом деле.

А когда они вместе с Музлук скатывались, то Киrisk нарочно растопыривал незаметно локти, тормозил, чтобы не обгонять ее. Они одновременно докатывались вниз под крики и хохот окружающих, одновременно вскакивали до счета «три» на ноги, и никто не догадывался, какое наслаждение было удерживать Музлук, помогать ей устоять на земле. Они невольно обнимались, вроде бы поддерживая друг друга. Музлук так весело смеялась, губы ее были такие заразительные, и все время она делала так, чтобы Киrisk удерживал ее, она все время изображала, что падает, а он должен был помогать ей устоять на ногах, подхватывая, обнимая ее. И никто не догадывался, какие минуты неведомого счастья и пугающей любви переживали они при этом. Под тонким платьицем бешено колотилось сердце девочки, то и дело соприкасались их тела,

и Кириск улавливал, как под руку попадались крохотные, еще только возникающие, тугие грудки и как вздрагивала и быстро льнула она при этом к нему, какие загадочные, сияющие были глаза ее, опьяненные от головокружения. И весь мир — все, что имелось на земле и в небе, — плыл, кружился вместе с ними, купаясь в их несмолкающем смехе и счастье. Никто не догадывался, какое это было удивительное счастье!

И лишь однажды один соплеменник чуть постарше Кириска, ненавистный и презренный, догадался — стал валиться, как дурак, на Музлук — вроде не в силах устоять от головокружения на месте. Музлук отстранялась, убегала от него, а он делал вид, что падает от кружения, догонял ее и валился на нее. Кириск подрался с ним. Тот был побольше его и несколько раз сбивал его с ног. И все-таки выходила ничья — Кириск не сдавался и не позволил Музлук вступаться за него. Но это случилось лишь однажды...

И еще были отрадные мгновения, когда, наигравшись, потные и разгоряченные, они бежали пить воду из ручья.

Синяя мышка, дай воды!

Ах, синяя мышка, дай воды!

Ручей протекал неподалеку. Из лесу шел он и выходил на то место, где они играли. Вода в нем журчала по камням, сохраняя в беге лесной сумрак и лесную прохладу. Травы, теснясь вокруг, обступали ручей вплотную, до самой проточной воды. Те, что росли с самого края, полоскались в ручье, сопротивляясь вытянутыми стеблями напору радостного течения. И бежал себе ручей бесшабашно в сторону моря, то юрко поблескивая на солнце, то ныряя под крутой, нависающий берег, то скрываясь в зарослях трав и лозняка.

Они разом добежали до ручья и разом припадали к воде, раздвигая травы по сторонам. Некогда там мыть руки и черпать воду пригоршнями, пили по-оленьи, свесив головы к воде, окуная лица в булькающий, ласково щекочущий поток. Эх, какое это было наслаждение!

Синяя мышка, дай воды!

Синяя мышка, дай воды!

Ах, синяя мышка, дай воды!..

Они лежали у ручья, опутив головы к воде. Их плечи соприкасались вплотную, и руки, опущенные в быструю струю, сливались, точно бы у них была общая пара рук. Они пили, лоя воду губами, с передышками, с упоением насыщаясь и дурачась, булькая ртами в воде. Им не хотелось уходить отсюда, им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстротекущие, неуловимые отражения, улыбались им, смешно искаженным отражениям, и улыбались друг другу.

Синяя мышка, дай воды!

Синяя мышка, дай воды!

Синяя мышка, дай воды!

Ах, синяя мышка, дай воды!..

А Музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его плечом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое: набирал воды еще побольше и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как

могли и сколько могли, и, мокрые с головы до ног, с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью...

Синяя мышка, дай воды!

Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее, все чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и тихо корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке:

Синяя мышка, дай воды!

Так он лежал, пытаясь забытья в грезах. И ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все так же неподвижно нависала над ними. Они бессильно валялись в лодке каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца:

— Мылгун! Мылгун! Что ты делаешь? Перестань!

Киrisk поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее.

— Перестань! — кинулся к нему Эмрайин, собираясь вырвать ковш.

Но Мылгун угрожающе изготавился:

— Не приближайся, Борода! Убью!

Эту горько-соленую воду, которую немислимо было взять в рот, он пил, обливая одежду, вода лилась на грудь и рукава, пил, давась, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось.

Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Киrisk от

страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмраин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог.

Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову:

— Горит, внутри все горит! — И стал раздирать одежду на груди.

— Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь? Там еще есть, — кивнул Эмраин на бочонок. — Налить немного?

— Нет, — отказался Мылгун. — Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи и потом, как наш покойный аткычх, но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь не то, выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец... Я сам, я еще в силах...

Среди пустынного моря, в тумане, которому не было ни конца, ни края, ни гибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмраин пытался как-то успокоить друга и брата своего Мылгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать, он торопился, он решил пресечь свои муки одним ударом.

— Ты не говори мне, Эмраин, ничего, уже поздно! — бормотал Мылгун, как безумный. — Я сам. Я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается. Вы отец с сыном, вы оставайтесь, еще есть немного воды... А я сейчас перешагну. — И с этими словами Мылгун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрав в себе силы, Мылгун сказал Эмраину, глядя исподлобья:

— Ты мне не мешай, Борода! Так надо. Ты мне не мешай. Прощайте. Может быть, дотянете. А я сейчас... А ты сразу гони прочь... Сразу и не жди... Если приблизишься, опрокину. А теперь гребь, Борода, гребь сильнее. Слышишь, опрокину...

Эмрайну ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Мылгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал:

— Аки-Мылгун! Аки-Мылгун! Не надо!

И именно в эту минуту Мылгун решительно перевалялся за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выправилась.

— Прочь! Прочь уплывайте! — закричал Мылгун, барахтаясь в ледяной воде.

Туман сразу скрыл его с глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос, последний выкрик утопающего! И тут Эмрайн не выдержал:

— Мылгун! Мылгун! — откликнулся он и, рыдая, развернул лодку назад.

Они быстро вернулись, но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло. И уже трудно было определить то место, где затонул человек.

Весь остаток дня кружили они здесь, никуда не уплывая. Опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кириск, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого.

— Вот теперь мы одни, — бормотал Эмрайн, утирая слезы с бороды, и никак не мог унять себя. — Мылгун, верный мой Мылгун! — шептал он, всхлипывая...

А день уже клонился к концу. Так оно казалось. Если существовало где-то солнце, если ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже зака-

тивалось спокойно на свое место. А здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое — отец и сын.

Перед этим, перед тем, как сказать себе, что приближается вечер, Эмраин наконец решил, что пора им испытать воды. Он видел, как тяжело дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде. Но постепенно жажда брала свое и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений.

С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала Кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю воды как одержимый. Затем Эмраин налил для себя, обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось, собственно, на дне. Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца. Эмраин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмраин не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный грянувшей вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило.

— На, поддержи, — передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было равносильно пытке — держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмраин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место.

— Выпей, — предложил он сыну.

— А ты? — удивился Киrisk.

— А я потом. Ты не думай ничего, выпей, — спокойно сказал отец.

И Киrisk снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение.

— Ну как? — спросил отец.

— Немножко лучше, — благодарно прошептал мальчик.

— Ты не бойся. И запомни, даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть два-три дня. И что бы то ни было, ничего не бойся...

— Потому ты не выпил? — перебил его Киrisk.

Эмрайин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом. И, подумав, сказал коротко:

— Да.

— А без еды сколько? Мы уже не едим давно.

— Лишь бы вода была. Но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить.

Эмрайин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предстояло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору, при одной мысли о котором тягостно холодело внутри. Не только сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то

и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало.

Кириск молчал и не оглядывался, невпопад проворачивая тяжелые весла. Но не это терзало Эмрайина. Глядя на сына со спины, на эту согбенную и, как теперь он заметил, все еще по-детски щуплую, беззащитную фигурку, он кусал себе губы, и сердце его, он это явственно ощутил, обливалось кровью — горячим, пульсирующим потоком боли. Но начать разговор он не смел, хотя и не было иного выхода...

Постепенно видимость в недрах тумана снижалась, а Эмрайин все плыл в тяжком раздумье, и времени у него оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы ни был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к тому, что он обдумывал в тот час, надо было сделать это, пока сам был в состоянии держаться и проявлять волю.

Он понимал, что и ему предстоит вслед за Органом и Мылгуном покинуть лодку, что это единственная возможность если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына настолько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следующим днем, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впереди, если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись. На это ответа не существовало. Единственная надежда, маловероятная, а то и вовсе несбыточная, в которой он пытался уверить самого себя, состояла в том, что, если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей. По слухам, он знал, что белые люди иной раз появлялись в этих водах — проплывали океаном, вда-

леке от их берегов, плыли по каким-то своим делам, из каких-то далеких стран в какие-то другие далекие страны. Сам он никогда не встречался с ними, но рассказывали об этом купцы, которые все на свете знают, а иные из них сами якобы плывали на этих огромных, как горы, лодках белых людей. Только такое чудо, если разгуляется погода, если совпадут пути, если заметят белые люди маленький каяк-долбленку в океане, только это могло быть надеждой, слабой, невероятной, почти невозможной, но все-таки какой-то надеждой.

Об этом и собирался поведать Эмраин сыну перед тем, как покинуть его. Необходимо было еще убедить Кириска, строго-настрого наказать ему, чтобы он оставался в лодке до самого последнего дыхания, пока сознание будет при нем. И если суждено ему умереть, когда кончится вода, то умереть он должен в лодке, а не выбрасываться в море, как вынуждены были поступить старик Орган, Мылгун и как поступит он, его отец. Никакого иного выхода не было. Требовалось повиноваться, примириться с жестокостью судьбы... Однако при мысли, что одиннадцатилетний мальчик останется в лодке один на один со всем светом, в беспроглядном тумане, в безбрежном море, медленно умирая от жажды и голода, Эмрайина охватывала оторопь. С этим невозможно было примириться, то было выше всяких сил. И тогда он ловил себя на мысли, что не сможет оставить сына одного, лучше умереть вместе с ним...

Вскоре стало совсем темно. Опять воцарилась в море черная чернота туманной ночи. Если бессмысленно плыть куда-либо днем по туману, то тем более бессмысленно это ночью. Лодка тихо покачивалась на месте. И опять никаких признаков того, что погода изменится. Море лежало бездыханное.

Отец с сыном примостились на ночь на дне лодки, тесно прижавшись друг к другу. Не спали ни тот, ни другой. Каждый думал, мучимый жаждой и голодом, что ожидает их впереди...

Лежа рядом с отцом, Кириск остро ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за эти дни, как уменьшился телом и обессилел. Только и осталась борода — по-прежнему жесткая и упругая. Прижимаясь к отцу, тихо сглатывая слезы от жалости к нему, мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства изначальной сыновней привязанности. Он не смог бы выразить эти чувства словами — они таились в душе, в крови, в сердцебиении его. Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец — это он сам, это его начало, а он продолжение отца. И потому ему было больно и жалко отца, как самого себя. Он воистину заклинал синюю мышку, чтобы она принесла им воды — и ему и отцу:

Синяя мышка, дай нам воды!

Синяя мышка, дай нам воды!

Отец же о воде для себя уже не думал, хотя с каждым часом все тяжелей переносил страдания неутоленной, все возрастающей, уже физически невыносимой жажды. Внутри все горело, пересыхало и сжималось железной, необратимой спазмой. В голове поднимался гул. Теперь он понимал последние муки Мылгуна. И однако, не о том была его дума. Думать о воде, желать напиться досыта теперь для него уже не имело смысла. И уже давно бы прервал он эти безысходные мучения, если бы не сын, если бы он мог принудить себя оставить сына, примостившегося у него под боком этой темной последней ночью. Ради сына, пусть не имеющего никаких надежд

на спасение и все-таки и вопреки этому оберегаемого им до наипоследней возможности, ради того, чтобы сколько-нибудь продлить ему жизнь, и в том теперь заключалась безотчетная борьба и надежда отца, в том теперь он видел свою последнюю волю и деяние, ради всего этого он должен был поскорее покинуть лодку. Но именно из-за него, из-за сына, он не мог на то решиться, не смея бросить его на произвол судьбы. Но и медлить, тянуть дальше тоже становилось опасно — уходили последние силы, необходимые, чтобы собраться с духом...

Время жить у отца истекало...

Как, какими словами было объяснить это сыну? Как сказать ему, что он оставит его ради него?..

Время жить у отца истекало...

— Отец! — прошептал вдруг Кириск, будто бы отгадывая его мысли, и еще крепче прижался к отцу, заклиная свою синюю мышку:

Синяя мышка, дай нам воды!

Синяя мышка, дай нам воды!

Эмрайин, стискивая зубы, застонал от горя и не посмел ничего сказать. Мысленно он прощался с сыном, и чем дольше прощался, тем труднее, тем мучительнее было подняться на последний шаг. Этой ночью он понял, что, оказывается, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном. Эмрайин совершал для себя открытие — всю жизнь он был тем, кто он есть, чтобы до последнего вздоха продлить себя в сыне. И если он не думал об этом раньше, то лишь потому, что не было на то причин.

И тут он вспомнил, что были и прежде случаи, когда мысль эта проскальзывала в сознании, как молния

по небу. Он вспомнил и понял теперь то, что произошло с ним однажды, когда они с покойным Мылгуном и другими соплеменниками рубили великое дерево в лесу. Дерево стало валиться, а он по чистой случайности оказался в тот момент на той стороне, куда заваливалось, сокрушая все вокруг, это поверженное дерево-гигант. Все закричали в голос:

— Берегись!

Эмраин оцепенел от неожиданности, и было уже поздно: треща, громыхая рвущейся кроной, обрушивая и опрокидывая само небо, вырывая кусок зеленого лесного потолка вверху, дерево медленно и неумолимо падало на него. И он подумал в то мгновение лишь об одном, что Киrisk — тогда он был малышом и единственным ребенком, Псулк еще не родилась, — он подумал тогда, в те считанные секунды, на пороге неминуемой смерти, подумал только об этом, и ни о чем другом он не успел подумать, что сын — это то, что будет им после него. Дерево рухнуло рядом с грозным гулом, обдав его волной листьев и пыли. И тут все облегченно вскричали. Жив остался, жив и невредим Эмраин!

Теперь, вспомнив об этом случае, он понял, что именно появление сына сделало его таким, каким он есть, и что ничего лучшего и более сильного он не испытывал в жизни, нежели отцовские чувства. За это он был благодарен детям и прежде всего сыну, Киriskу. Эмраину хотелось рассказать Киriskу об этом, но он не стал его тревожить. Мальчику и без того было худо...

Время жить у отца истекало...

Синяя мышка, дай нам воды!

Синяя мышка, дай нам воды!

Время жить у отца истекало...

Осталось еще два-три дорогих воспоминания, с которыми трудно было ему расставаться. И он не хотел уходить туда, не подумав об этом, хотя время уже поджимало. Теперь он прощался с воспоминаниями, постоянно помня, что пора покинуть лодку...

Он любил жену с первых дней. Удивительное было в том, что, находясь в море, он думал, оказывается, о том же, о чем думала она дома. Так было с первых дней. Она знала, о чем он думал, находясь в плавании, так же, как он знал о ее мыслях... Это узнавание на расстоянии было их тайной и никому не ведомым счастьем близости.

Когда Кириск еще не родился, но появились первые признаки, которые могли подтвердиться и не подтвердиться, он сразу сказал, вернувшись, жене:

— У нас будет мальчик?

— Тише, кинры услышат! — перепугалась она, и глаза ее налились радостью. — Откуда ты знаешь?

— Ты думала об этом сегодня. Ты этого очень хочешь.

— А ты?

— Ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала, и я думал об этом же.

— А я думала потому, что ты думал об этом и очень хотел этого...

Так оно и случилось. Сбылось их предчувствие. Кирииска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, видавших виды, латаных-перелатаных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была

самой красивой и желанной. Самой красивой и самой желанной!

Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью...

То был Киrisk...

С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки.

И еще, когда Киrisk уже подросток, мать как-то, рассерженная им, сказала, что когда его не было, ей было гораздо лучше без него.

Мальчика это очень обидело.

— А где я был, когда меня не было? — пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря.

Вот смеху-то... Смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть, как объяснить мальчику, где он был, когда его не было.

Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чрево матери и возник, повторяя его, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей...

Да, так бы ему и сказал и был бы счастлив сказать перед смертью именно так, но теперь всему приходил конец. Его роду приходил конец. Самое большее, жизнь Киriskа могла продлиться еще на день, два, но не дольше, отец это хорошо понимал. И в том заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына...

И еще хотелось Эмрайину внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Органе и аки-Мылгуне. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто

или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя. Умирать надо, думая для себя о таких людях.

Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом...

Когда Киrisk проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущие ночи. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову — отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, горестно огласившим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно, до изнеможения, а потом упал на дно лодки, хрипя, и бился головой о борт. То была его плата отцам, его любовь, его горе и причитание по ним...

Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте.

Киrisk плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его, пусть бы они погибли вместе, пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве. Ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся, не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг он почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтоб отец выбросился в море! Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину!

Потом он забылся постепенно, плача и трясясь всем телом. И через некоторое время с новой силой, как бы возмещая свое отступление перед горем, начался приступ жажды. Он даже во сне чувствовал, как изнывал и страдал от безводья. Жажда одолевала, жажда терзала и душила его. Тогда он почти вслепую дополз до бочонка и обнаружил, что пробка слегка приослаблена, чтобы легче было ее вытащить, и ковш был рядом. Он налил себе воды и, ни о чем не думая, напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал, сумел остановить себя. Водицы оставалось еще раза на два попить...

Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом ему было бы легче утонуть, чем теперь, когда одиночество и страх сковали его руки и ноги и когда он так страшится переступить за борт лодки. Он решил, что сделает это, как только соберется с силами...

Был уже полдень, а может быть, чуть больше полдня. Так казалось Кириску, судя по светлеющим тонам тумана. Значит, солнце сияло где-то в зените. Однако солнечные лучи не пробивали пока толщу Великого тумана в его великом оцепенении над океаном. Туман становился жиже, голубоватым, как дым от усохших дров. И все равно далее двадцати-тридцати саженей ничего не различить было, кроме темной, колышущейся воды вокруг.

Плыть было некуда, да он и не справился бы теперь с веслами. Он с грустью посмотрел на отцовские и мылгуновские весла, аккуратно заставленные по бортам. Лодка дрейфовала теперь сама по себе, двигаясь в тумане в неизвестном направлении. И со всех сторон обступало мальчика одиночество, и кругом царил безысходный страх, холодящий душу.

Позднее, к вечеру, ему опять нестерпимо захотелось пить. И голова шла кругом от голода и слабости. Ему не хотелось ни двигаться, ни глядеть по сторонам. Да и некуда и не на что было смотреть. И даже трудно стало добраться до бочонка. Он пополз на коленях и остановился от усталости. Кириск понимал, что скоро не сможет и двигаться. Он поднес к лицу руку и ужаснулся: рука его утончилась, уменьшилась, как ссохшаяся шкурка бурундучка.

В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз, и на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить, ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутрачивающая, тяжелая, ноющая боль.

Он несколько раз впадал в беспамятство, потом снова приходил в себя. А лодка дрейфовала сама по себе, плыла в тумане, увлекаемая ожившими течениями.

В какой-то момент он всерьез решил броситься в море. Но сил не хватило. Поднявшись на колени, повис на краю борта. И так висел, выпростав руки за борт, но не в силах выкинуть тело свое из лодки. Потом он обессилел настолько, что даже не пытался допить остаток воды в бочонке.

Он лежал на дне лодки и тихо плакал, призывая свою мышку-поилицу:

Синяя мышка, дай мне воды!..

Но синяя мышка не появлялась, и только еще больше хотелось пить. И опять припоминалось ему то лето, когда он голышом купался в ручье. Ведь было ему тогда лет семь, не больше. Лето стояло в тот год жаркое. На опушке леса здорово припекало. Там они собирали ягоду. А потом купались. Мать и сестра ее тоже купались.

Они не очень-то стыдились его. Разделись обе и, смугло поблескивая бедрами, прижимая ладони к грудям, боязливо вошли в ручей. И странно вскрикивали, визжали, плескаясь в воде. А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду, они потешались над ним до упаду, особенно мать. «Посмотри, посмотри, — говорила она сестре, — как он похож на него, в точности как сам!» И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задорно смеясь... А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно...

Синяя мышка, дай мне воды!..

Чудилось ему, что снова он у того ручья. И вроде бы снова жарким летом купается в нем голышом. Вот он бежит берегом, прыгает в поток, но не ощущает прохлады струи. То какая-то неуловимая, невещественная вода, то туман. Он купается в тумане. Ему зябко в такой воде. А мать не смеется, а плачет. «Посмотри, посмотри, как он похож на него!» — говорит она кому-то и плачет, горько плачет... Слезы ее солонь, они стекают по лицу...

Ночью Кириск проснулся от качки и шума волн за бортом лодки. Мальчик тихо вскрикнул — он увидел над собой звезды! Первый раз за все эти дни. Они высоко блистали в темном небе, в разрывах туч, проносящихся над морем. И даже луна несколько раз показывалась, быстро ныряя в облаках.

Мальчик был ошеломлен — звезды, луна, ветер, волны — жизнь, движение! И хотя туман еще держался скоплениями, и, когда лодка попадала в такие места, все снова погружалось в мутную мглу, продолжалось это недолго. Тронутся Великий туман, вышел из оцепенения, расплзался по свету, гонимый ветром и волнами.

Мальчик смотрел на звезды со слезами на глазах. У него не было сил взяться за весла, он не знал, как находить дорогу по звездам, он не знал, куда ему плыть, он не знал, где он и что ожидало его впереди, и все равно он был рад, что слышит шум бегущих волн, что ветер ожил, что лодка плыла по волнам.

Он плакал от радости и горя, оттого, что мир прояснился, оттого, что море пришло в движение и что, будь у него вода для питья и какая-то еда, он бы еще мог любить эту жизнь. Но он понимал, что не удастся теперь подняться с места, что дни его сочтены, что он умрет скоро от жажды...

А лодка плыла по волнам все резвей и резвей. Плыла по течению, без руля и без весел. Уже смутно угадывался над морем горизонт, все ясней раздвигалось ночное пространство, все реже встречались на пути скопления тумана. И мгла, что встречалась, была уже не та, не такая глухая и всеподавляющая. Теперь в тумане чудились бесшумно мчащиеся фантастические существа. Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам.

Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала, и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал: «Которые из них звезды-охранительницы? Которая звезда аткычха Органа, которая аки-Мылгуна, а которая отца моего — Эмрайина? Вас не видно было все эти дни. И вы, звезды, не могли нас видеть в тумане. А теперь я один, и я не знаю, куда я плыву. Но мне теперь не страшно, потому что я вижу всех вас в небе. Только я не знаю, которая звезда чья. Но вы не виноваты, что так случилось. Вы же не видели нас в море. Великий туман скрывал нас. И теперь я один. А они уплыли, все трое уплыли. Они очень

любили вас, звезды. Они очень ждали, очень хотели увидеть вас, чтобы найти дорогу к земле. Аткачх Орган говорил, что звезды никогда не подведут. Он хотел научить меня... Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды, и я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву... У меня осталось немного воды, совсем немного, я ее выпью сейчас, больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сжевал кусок торбы из-под юколы, она из нерпичьей шкуры. Но я больше не могу, меня тошнит, выворачивает от этого... Я выпью сейчас последнюю воду. И если мы не увидимся больше, я хочу сказать вам, звезды, — аткачх Орган, аки-Мылгун и отец мой Эмрайин очень любили вас... Если я буду до утра, я потом попрощаюсь...»

Вскоре лодка снова попала в обширную полосу тумана. И все скрылось, снова исчезла видимость. Но лодка по-прежнему плыла, гонимая ветром и волнами. Кириску теперь было безразлично. Выпив остаток окончательно прогнившей, затхлой воды, он остался лежать там, у пустого бочонка, на корме, на том месте, где обычно сидел старик Орган. Он приготовился умирать, и туман теперь ему был не страшен. Он лишь сожалел о том, что не видно стало звезд и что, возможно, он не успеет с ними попрощаться... Ему становилось все хуже и хуже...

Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, было уже за полночь, а быть может, ночь приближалась к концу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру.

Есть судьба, и есть судьба. Мальчик мог услышать, а мог и не услышать. Но он услышал. Он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и в мгновение ока успел увидеть, что то была

птица, большая, сильная птица, широко машущая крыльями.

— Агукук! — прокричал он. — Агукук! — И успел проследить направление полета полярной совы и успел запомнить ветер. Ветер был слева, слева в затылок, чуть позади левого уха!

— Агукук! — прокричал он вслед птице и уже держал в руках органовский руль, направляя лодку туда, куда улетала агукук.

Киrisk весь напрягся, вцепившись в рулевое весло, он поднял в себе все силы, которые еще сохранились в нем, и ни о чем другом не думал, он помнил только ветер и только направление полета.

Неизвестно было, куда и откуда летела полярная сова. С острова на материк или с материка на какой-нибудь остров. Но Киrisk не забыл, как рассказывал старик Орган, — эта птица летит над морем только по прямой. Это самая сильная птица, летающая по ночам и в тумане. Теперь он следовал за ней.

Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне ярко высвечивалась одинокая лучистая звезда. Киrisk заметил, что звезда стоит как раз в той стороне, куда направлял он нос лодки. Он догадался, что должен держаться ее, должен следить за ней и идти к ней, ибо туда, в ту сторону, пролетела агукук. Он не знал этой звезды, но теперь он не спускал с нее глаз и затылком помнил ветер: его направленность, его силу, его струю.

«Ты держись, ветер, не уходи. Я не знаю, как тебя звать, это мог бы сказать мне аткычх Орган. Но будь моим братом. Не уходи, не уклоняйся, ветер, в другую сторону. Ведь ты можешь долго держаться так, как те-

бе нужно. Помоги мне, ветер, не уходи. И я узнаю твое имя и буду звать тебя по имени. А хочешь, я буду звать тебя ветер Орган? По имени моего аткычха Органа. И буду всегда тебя так называть — ветер Орган. И ты будешь меня знать...»

Так заговаривал он попутный ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу. А глаза не спускал с путеводной звезды, по которой он плыл. «Я люблю тебя, звезда моя, — говорил он звезде. — Ты так высоко и далеко стоишь впереди. Ты самая большая и красивая. Я прошу тебя, не уходи, стой на месте, не угасай. Я плыву к тебе. В твою сторону пролетела агукук. Я не знаю, куда она полетела — на остров или на землю. Если даже на остров, пусть я умру на острове. Не уходи, не угасай, звезда. Я не знаю, как тебя звать, ты не гневись на меня. Я не успел узнать твоего имени. Твое имя мог бы сказать мне отец Эмрайин. Если хочешь, я буду звать тебя по имени отца, я буду называть тебя звездой Эмрайина. И когда ты будешь появляться на небе, я буду здороваться с тобой и шептать твое имя. А ты помоги мне, звезда Эмрайина, не уходи прежде времени, не угасай, не спрячься вдруг за тучей...»

Так заговаривал он свою путеводную звезду. И еще заговаривал он волны: «Волны, вы сейчас погоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас — волны акимылгуны. Вы идете туда, куда полетела агукук. Ведь вы можете долго катиться туда, куда вам нужно. Не уходите, волны акимылгуны, не сбивайтесь с пути. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву по вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать: вы идете по ветру Органа и звезде Эмрайина. И я всем передам: акимылгуны в море к добру! Помогите мне, аки-мылгуны. Не уходите, не оставляйте меня...»

Среди всех звезд дольше всех светилась звезда Эм-райина. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным чистым сиянием, и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра, и еще долго проступала в небе нежным белым пятном.

Так наступило утро. Потом взошло солнце над морем. Кириск обрадовался и испугался. Обрадовался солнцу и испугался неоглядности моря. Переливаясь зыбкой синевой под солнцем, море было почти черным и необозримо пустынным. Мальчик судорожно держался за рулевое весло, пытаясь плыть по памяти, не сбиваясь с ветра. Это было утомительно...

Он помнил, как у него закружилась голова и все поплыло перед глазами...

Лодка шла теперь своим ходом...

Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. Подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, переживая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам. И море все так же рябилось, насколько хватало глаз, бесчисленными бликами живой, колышущейся воды. Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал Пегий пес. Пегий пес бежал навстречу! Великий Пегий пес!

Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но Пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопков, и уже различима была кипящая кайма вечного прибоя у подножия Пегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми заметили его. А над сопкой

витал голубой дымок угасающего на круче сигнального костра...

Пегий пес, бегущий краем моря,
Я к тебе возвращаюсь один —
Без аткычха Органа,
Без отца Эмрайина,
Без аки-Мылгуна.
Где они, ты спроси у меня,
Но сначала дай мне напиться воды...

Кириск понял, что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней...

...Гудело и маялось море во тьме, набегая и расширяясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменно твердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени...

Все дни и все ночи...

...Еще одна ночь протекала...

Шумел над морем ветер Орган, катились по морю волны акимылгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмрайина.

...Еще один день наступал...

**белое облако
чингисхана**

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

Пробиваясь сквозь белую летучую мглу, беспрестанно вздымаемую ветрами с холодных сарозекских равнин, машинистам проходящих поездов в те метельные февральские ночи стоило немало усилий разглядеть среди снежных заносов в степи полустанок Боранлы-Буранный. Объятые клубящимися вихрями, ночные поезда приходили и уходили во мгле, как в беспокойном, тревожном сновидении...

В такие ночи, казалось, мир зарождался заново из первозданного хаоса — сокрытые стужей собственного дыхания, сарозекские степи походили на дымный океан, возникающий в кромешном борении тьмы и света...

И в том великом пустынном пространстве каждую ночь, не угасая до утра, светилось одно окошко на полустанке, точно там, за этим окном, горько маялась некая душа, точно там кто-то тяжело болел, не находя себе места, или страдал от жестокой бессонницы. То было окошко пристанционного барака, в котором жила семья Абуталипа Куттыбаева. Это они, его жена и дети, ждали его каждый день, не гася света на ночь, и среди ночи Зарипа несколько раз подрезала нагоравший фитиль в лампе. И всякий раз при заново разгоравшемся огне она невольно останавливала взгляд на спящих де-

гах — двое черноголовых мальчишек спали, как пара щенят. И ее знобило под нательной рубашкой от холода, и, сомкнув руки на груди, сжимаясь в комок, страшилась она, глядя на них, боялась, что снится сыночкам отец и что они бегут во сне к отцу изо всех сил, раскинув руки, плача и смеясь, бегут наперегонки, но так и не добегают... И наяву они ждали отца с любимым проходящим поездом, который, пусть на полминуты, притормаживал на их разъезде. Только остановится поезд, скрипя тормозами, а мальчишки уже тянут шеи у окна, готовые броситься навстречу. Но отец не объявлялся, дни шли, и никаких вестей о нем не поступало, точно остался он под внезапно рухнувшим обвалом в горах, и никто не знал, где и когда с ним это случилось.

И еще одно окно, но зарешеченное черным кованым железом, в другом конце земли, в полуподвале алматинского следственного изолятора, тоже не гасло в те ночи до утра. Вот уже целый месяц изводился Абуталип Куттыбаев от слепящей с потолка круглыми сутками многосильной электрической лампы. То было его проклятием. Он не знал, куда деваться, как защититься от сверлящего, режущего, как нож, электрического света свои изболевшиеся глаза, свою горемычную голову, чтобы хотя бы на секунду забыться, перестать думать, почему он здесь и что от него хотят. Как только он отворачивался ночью к стене, закрыв голову рубахой, немедленно в камеру врывается надзиратель, наблюдавший в глазок, сбрасывал его с нар, пинал ногами: «Не отворачивайся к стене, сволочь! Не закрывай голову, гад! Власовец!» И сколько он ни кричал, что он не власовец, никакого до этого дела им не было.

И снова лежал он, обратившись лицом к беспощадному электрическому свету, зажмурившись, прикрывая изболевшиеся воспаленные глаза, и мучительно жаж-

дал очутиться во тьме, в беспросветной черноте, пусть в могиле, где глаза и мозг могли бы прекратить свое существование, и уж тогда никакой надзиратель и никакой следователь не властны были бы пытаться его невыносимой мукой — светом, лишением сна, избиениями.

Надзиратели менялись по сменам, но все, как один, были непреклонны — никто из них не помилосердствовал, никто не позволил себе не заметить, как отвернулся узник к стене, напротив, они только и ждали того, и каждый наносил удары с яростью и бранью. Хотя и понимал Абуталип Кутгыбаев назначение и обязанности тюремного надзирателя, тем не менее в отчаянии спрашивал себя порой: «Отчего же они такие? Ведь с виду люди. Как можно носить в себе столько злобы? Ведь никому из них я не сделал никакого зла. Они не знали меня, я не знал их, но избивают, издеваются, словно из кровной мести. Почему? Откуда берутся такие люди? Как они становятся такими? За что они меня истязают? Как выдержать, как не свихнуться, как не расшибить себе голову о стену?! Потому что другого выхода нет».

Однажды он таки не выдержал. Будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял, как схватился с надзирателем, пинавшим его. И они покатались по полу в яростной драке. «Я бы тебя на фронте давно пристрелил, как бешеную собаку!» — хрипел Абуталип, раздирая с треском ворот гимнастерки надзирателя, стискивая его горло цепенеющими пальцами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не подоспели из коридора еще двое стражей.

Пришел в себя Абуталип лишь на следующий день. Первое, что он увидел сквозь муть и боль, — ту же негаснущую лампу на потолке. Потом хлопотавшего над ним фельдшера.

— Лежи, теперь ты уже не отправишься на тот свет, — негромко сказал ему фельдшер, прикладывая примочки к пораненному лбу. — И не будь больше последним дураком. Тебя и сейчас могли бы прикончить за нападение на охрану, прибили бы, как собаку, и никакого за тебя ответа. Благодарю Тансыкбаева — ему нужен не твой труп, а ты сам, живьем. Понял?

Абуталип тупо молчал. Ему было все равно, что с ним случится, как обернется его судьба. Способность души к страданию вернулась не сразу.

В те дни у него случались моменты затмения разума — утрата реальности, полувью становились спасительной защитой. В такие мгновения Абуталип желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот — он стремился навстречу тому неумолимому мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь к источнику боли и раздражения, преодолевая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии.

Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом, то была гнетущая, неотступная тоска, неотступный страх за семью, за детей.

Страдая невыносимо за них, оставшихся в сарозеках, пытался Абуталип вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить себе — за что действительно следовало бы его наказать. И не находил ответа. Разве что за плен, за то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади. Давно все оплачено сполна — и кровью, и лагерями, уже не за горами время расходиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий без-

границной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, лелеял Абуталип мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение, и тогда он, Абуталип Куттыбаев, будет готов забыть все обиды — пусть только побыстрее освободят и отправят побыстрее домой, и помчится он, нет, полетит, как на крыльях, туда, к детям, к семье, в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарипа, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом, у колотящегося сердца, и слезами, нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение...

Чтобы не заорать навзрыд с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абуталип грезить, ища в том обманчивое успокоение — зримо представлял себе, как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарняка, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они — жена и дети — навстречу... Но проходили минуты иллюзий, и, как с похмелья, возвращался он в реальность, впадал в уныние, и думалось ему подчас, что в «Сарозекской казни», в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем — нечто вечное, касающееся теперь и его. Он тоже казним разлукой... А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми, и больше ничто и никто...

Тихо плакал Абуталип в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие, точно накрапывающий дождь камни, его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал, тогда он, бедовая голова, был сам по себе, а теперь он убеждался,

что в, казалось бы, обыденнейшем явлении — в детях — заключен величайший смысл жизни, и в каждом конкретном случае, у каждого человека — свое счастье, счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них... Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой, когда в последний час, в озарении последнего, жуткого света перед неизбежным уходом во тьму, настанет подведение итогов. И главный итог жизни — дети. Возможно, потому так и устроено в природе — жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей — значит лишить его возможности исполнить родовое предназначение, значит обречь его жизнь на пустой исход. И трудно было в такие минуты прозрения не впадать в отчаяние; растрогавшись, почти воочию представив себе сцену свидания, Абуталип осознавал несбыточность надежды и становился жертвой безысходности. С каждым днем тоска все глубже завладевала его душой, стигая и ослабляя волю. Отчаяние накапливалось в нем, как мокрый снег на крутом склоне горы, где вот-вот последует внезапный обвал...

Это-то и надо было следователю МГБ Тансыкбаеву, этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманное им, с одобрения вышестоящего начальства, дело бывшего военнопленного Абуталипа Куттыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана. Такова была общая формулировка. Еще предстояла работа следствия по уточнению и квалификации некоторых деталей, еще предстояло полное признание Абуталипом Куттыбаевым состава преступления, но главное содержалось уже в самой формулировке обвинения чрезвычайной политической акту-

альности, свидетельствующего об исключительной бдительности и служебном рвении Тансыкбаева. И если для Тансыкбаева это дело было большой удачей в жизни, то для Абуталипа Куттыбаева то был капкан, круг обреченности, ибо при такой устрашающей формулировке исход мог быть только один — полное признание инкриминируемых ему преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого иного исхода быть не могло. То был случай, абсолютно предрешенный, само обвинение уже служило безусловным доказательством преступления.

И поэтому о конечном успехе своего предприятия Тансыкбаев мог не беспокоиться. Той зимой настал наконец звездный час его карьеры. Из-за незначительного служебного упущения он на несколько лет задержался в звании майора. Но теперь открывалась новая перспектива. Совсем не так часто удавалось добыть в глубинке нечто подобное делу Абуталипа Куттыбаева. Вот уж повезло так повезло.

Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Тансыкбаеву; казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы, а тем самым все более возвышавшей и его самого в его собственных глазах, и потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас — давно так молодо не сияли его немигающие соколиные глаза. И он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении и приговаривала при случае: «Ничего,

скоро и мы получим свое». И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя, бывало, проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал: «Папа, скоро с подполковником поздравлять?» На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся Тансыкбаева впрямую и однако же...

Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад, в Алма-Ате состоялся закрытый процесс: военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. Эти враги трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда. Двое получили высшую меру наказания — расстрел — за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодалное прошлое в ущерб новой действительности, двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук — по двадцать пять лет каторги... Остальные — по десять... Но главное заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней.

Тансыкбаев не входил в ту группу повышенных в званиях и награжденных, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с же-

ной Айкумис отправлялись в очередной «обмыв» новых званий, орденов, новоселий. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алма-атинских улиц, гости с порога окунались в радушие и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза! Поистине, то были праздники избранных, заново познающих вкус счастья. В ту пору, когда еще не забылись недавние нищета и голод военных лет, на окраинах государства особенно восторженно, до головокружения от удовольствия, воспринимался новый, рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры и хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр, на столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению, точно в этом заключался высший смысл бытия, точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть.

Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, неперменное коронное блюдо — нежная, молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишние степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая общую трапезу. Но смысл застолья заключался не только и не столько в еде, ибо, насытившись, человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях — в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, и это сладостное самочувствие вмещало в себя и погло-

щало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность — содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное — красноречивей, невольно вступая в негласное состязание с другими. О, это было по-своему захватывающее действие! Какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писанные, заражая присутствующих все более высоким пафосом.

Особенно взволновал Тансыкбаева и его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав из-за стола, заговорил так проникновенно и важно, как если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон.

— Асыл достар!¹ — начал подполковник, многозначительно оглядывая сидящих томным, величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания. — Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна — море счастья. Понимаете. И я хочу сказать слово. Это мой час, и я хочу сказать. Понимаете. Я всегда был безбожником. Я вырос в комсомоле. Я твердый большевик. Понимаете. И очень горжусь этим. Бог для меня пустое место. То, что бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику. Но я хочу сказать совсем о другом, понимаете, о том, что есть на свете бог! Минуточку, постойте, не улыбайтесь, дорогие мои. Ишь вы! Думаете, поймали меня на слове. Нет, нисколько! Понимаете. Я не

¹ Асыл достар — дорогие друзья.

имею в виду бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш бог — это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма; это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке, как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда, это наш Иосиф Виссарионович! И мы следуем за ним, он ведет караван, и мы за ним — одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским. Понимаете. Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род, их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете, как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников — буржуазных националистов, понимаете, и прочих, и где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага, выявлять вражескую агентуру, понимаете, как учит нас товарищ Сталин, бить врага, укреплять дух народных масс — вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклонно следовать сталинской линии, понимаете, искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет неотвратимое, суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит, все равно, говорит,

ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы. Понимаете?!

— Такого надо было на месте пристрелить! — не удержался Тансыкбаев и даже привстал сердито.

— Верно, майор, я бы так и поступил, — поддержал его подполковник, — но он еще нужен был для следствия, и я ему сказал, понимаете, я ему сказал: пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете! Собака лает, а сталинский караван идет...

Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту, все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. «За Сталина», — выдохнули все разом, и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им.

Затем было сказано еще многое в продолжение этой мысли. И слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся оттого, что они ядоносны и их много.

В душе же Тансыкбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли, укрепляя его решимость, и не потому, что подобные высказывания были внове для него, вовсе нет, напротив, вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере беспрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений; по-

сколько многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать «поголовный» урожай с полей, прибегая на старом ладе к обвинениям в наиболее ходовом на национальных окраинах варианте — в буржуазно-феодальном национализме. Наученные горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны, настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности, вплоть до отказа от родного языка. Попробуй схвати такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина...

И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыкбаеву, пусть и случайно, но все же повезло. Донос на Абуталипа Куттыбаева с разезда Боранлы-Буранный попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыкбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыкбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И, стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его. Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом, разве не знает он, как уст-

раиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей, верой и правдой преданных Богу-Власти и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу-Власти только один — через черное, неустанное служение ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов.

А среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть и этим доказать свою абсолютную преданность Богу-Власти, который требовал неукоснительного — умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот — преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем, на все времена — на все поколения. Такова установка самого Вождя — Бога-Власти. Куттыбаев же, взятый им на расследование, как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная зацепка, очень актуальная деталь, — если удастся выбить у Куттыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле, как гвоздок на своем месте, — послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тито — Ранковича, претендующей на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. Ишь, чего захотели! Давно ли кончилась война, а они уже отделяться решили. Не выйдет! Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем нелишне будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что предательские ревизионистские идеи зародились в Югославии уже давно, еще в годы войны среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Кут-

тыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами, стало быть, есть все основания заставить его сказать то, что требуется сейчас. А раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку, но заставить этого сарозекского писака выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит в подветренную сторону. Каждая мелочь может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть тот камень, даже камушек, и пусть символически, но как бы самолично, от сердца, вложить его, тот лишний камушек, в руку самого Бога-Власти, чтобы если не сам Он, то поручил бы, кому следует, пульнуть тем камнем в прихвостней, как пишут в газетах, ненавистного ревизиониста Тито и его приспешника Ранковича. А не пригодится, скажут, мелковат, все равно усердие зачтется... Глядишь, все, кто сидят сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни — в счастье, а успех — начало счастья.

Об этом думалось в тот званый вечер кречетоглазому Тансыкбаеву, и, сидя за столом и вроде бы по ходу разговоров перебрасываясь репликами с другими, он, как пловец в бурном потоке реки, плыл в тот час в нарастающей стремнине своих страстей и вожделений. И лишь жена его Айкумис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, немигающий, соколиный взор которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему: «Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой». Тансыкбаев нехотя кивнул в от-

вет. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове вызревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Куттыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных, сегодня отсиживающихся по углам, — стало быть, они тоже могут что-то знать, что-то вспомнить, не так трудно заставить Куттыбаева назвать наиболее активных из них. Необходимо поднять материалы, завтра же надо сделать соответствующий запрос. Или же самому как можно скорее побывать в центре. И разобраться, раскопать и заставить Куттыбаева подтвердить нужное. А затем, на основе его показаний, предъявить обвинения бывшим военнопленным, воевавшим в Югославии, привлечь этих лиц заново к ответственности за недоносительство, за сокрытие при прохождении комиссии по депортации в Советский Союз предательских замыслов югославских ревизионистов. И людей такого сорта может обнаружиться не одна сотня и не одна тысяча, которых следовало бы — и надо подать эту идею, скорей всего в форме секретной записки — пропустить через мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец...

При этой мысли, осенившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Тансыкбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей и смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни. Он окинул сидящих благодарным взором таинственно засиявших глаз, ведь все присутствующие были свои, родные люди, одним миром мазанные и оттого столь приятные в ту минуту, и они не подозревали, эти родные люди, что присутствуют при моменте, когда у него рождаются великие идеи. Все это вызвало горячий прилив крови

к голове и радостные учащенные удары ликующего, звенящего сердца.

Возникший замысел заключал в себе вполне реальную перспективу повышения по службе. Получалось разумно и логично: чем больше вытравишь притаившихся врагов, тем больше выиграешь и сам. Такая перспектива окрыляла душу. И он подумал не без гордости: «Вот так устраивают умные люди свои дела! И я не остановлюсь на полпути, чего бы это ни стоило!» И захотелось немедленно действовать — тотчас вызвать машину из гаража и помчаться туда, в полуподвал с зарешеченными окнами, называемый следственным изолятором, где сидел Абуталип Куттыбаев, и сразу приняться за дело — допрашивать, не теряя времени, прямо там, в камере, да так допрашивать, чтобы душа у того от страха в кишках замирала. И никаких двусмысленностей насчет исхода дела; признает Куттыбаев вину, подтвердит англо-югославские задания, назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах, — получит 58 статью с пунктом 1-«б» — 25 лет лагерей, а нет — расстрел за измену, за агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами и идеологическую подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает.

Представляя себе, как все это будет происходить, Тансыкбаев многое предвидел наперед: и то, как сложится разговор на допросе, как будет упираться Куттыбаев и какие меры придется предпринять, чтобы сломить его, но он знал также, что все равно тот никуда не денется, выбора у него нет, если хочет жить. Конечно, будет упорно оправдываться, дескать, ни в чем не виновен, плен искупил с оружием в руках, воюя вместе с югославскими партизанами, был ранен, пролил кровь, по окончании войны прошел депортационную комиссию, после войны честно трудился и т. д., и т. п. Все

это пустой разговор. Откуда Куттыбаеву знать, что он нужен не в этом, а совсем в ином качестве. И что в том качестве, в котором он требуется, он послужит началом целой акции по искоренению затаившихся врагов государства. Он нужен как первое звено, за которым потянется вся цепь. Что может быть выше государственных интересов? Иные думают — жизнь людская. Чудаки! Государство — это печь, которая горит только на одних дровах — на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет. И надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение. А кочегары обязаны подавать дрова. И на том все стоит.

Философствуя обо всем этом, поскольку в партшколе когда-то кое-что слышал о классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в компании, в званных гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого момента, а сам думает совершенно о другом. Кто может представить, на что он нацелился, какие вызревают у него планы?! Сознание того, что в нем, мирно сидящем за столом, таится нечто сокрушительное, неотвратимое, зависящее только от его воли, что пока никому не доступны его замыслы, скрытая сила которых, реализуясь, заставит людей ползать на коленях перед ним, а через него — и перед самим Богом-Властью, и что в этой связи он является одной из ступеней среди множества, и все-таки считанных, ступеней к устрашающему пьедесталу Бога-Власти, вызывало в нем физическое блаженство и нетерпение, как при виде вкусной еды или в иступленном предощущении со-

вокупления. И от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков, и ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее как завтра, что он все еще успеет.

Перебирая в уме детали предстоящего дела, Тансыкбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих намерений, логичностью замысла. И все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает, требовалось еще что-то додумать, и какие-то улики вроде остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере.

К примеру, что-то ведь таилось в записях Куттыбаева о манкурте. Манкурт! Оболваненный манкурт, убивший свою мать! Да, конечно, это старинная легенда, но что-то записывавший легенду Куттыбаев ведь имел в виду?! Не зря, не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, манкурт, манкурт... Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Куттыбаев использовать историю манкурта в своих подстрекательских целях, в какой форме, каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о манкурте нечто идеологически подозрительное, Тансыкбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать, не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной и за это привлечь к ответственности, но как? Здесь Тансыкбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому. Ведь вот с разоблачением буржуазных националистов, которое они сегодня обмывали, так все и было — обнаружили группировку, затем одни знатоки-ученые были

выпущены на других с обвинениями в национализме, в воспевании прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохе, и этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками. И все-таки что-то да таилось в том, как тщательно Куттыбаев записывал историю манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово, и если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить в вину.

Кроме того, среди бумаг Куттыбаева обнаружен текст еще одной легенды, под названием «Сарозекская казнь», — из времен Чингисхана. Тансыкбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек...



Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ-армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь — предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с огнедышащими драконами на полотнищах...

К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем, участь Европы.

В сарозекских степях была уже осень. После дружных дождей пополнились водой пересохшие за лето озера и реки — значит, будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через сарозекские степи считался наиболее трудной частью похода.

Три армии — три тумена по десять тысяч воинов — двигались впереди, широко развернув фланги. О мощи туменов можно было судить по их поступи — по зависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и яловыми стадами на каждодневный убой следовали позади — в этом можно было убедиться, оглянувшись, — там тоже вилась пыль в полнеба. Были еще и другие боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней — то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска двигались самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалась на берегу Итиля встреча в ханской ставке командующих всех одиннадцати туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан, грезили его полководцы и каждый всадник...

Так двигались войска в походе, не отвлекаясь, не задерживаясь, не теряя времени. И с ними в обозах были женщины, и в этом заключалась беда.

Сам Чингисхан с полутысячью стражников — кезегулов и свитой — жасаулами, сопровождавшими его в пути, находился в середине того движения, как плывущий остров. Но ехал он особняком — впереди них. Не любил Повелитель Четырех Сторон Света многолюдья возле себя, тем более в походе, когда следует больше молчать, смотреть вперед и думать о делах.

Под ним был любимый иноходец Хуба, прошедший у хана под седлом, быть может, полсвета, сбитый и гладкий, как галечный камень, могучий в груди и холке, белогривый и чернохвостый, с ровным, шелковым ходом. Два запасных коня, не менее выносливых и ход-

ких, шли налегке в сияющей отделкой ханской сбруе, ведомые верховыми коноводами. Хан менял коней на ходу, как только лошадь начинала припотевать.

Но самым примечательным было не окружение Чингисхана — бесстрашные кезегулы и жасаулы, жизнь которых принадлежала Чингисхану больше, чем им самим, — на то они и отбирались, как лезвия клинков, один из ста, — и не их отменные верховые кони, редкостные, как самородки золота в природе. Нет, примечательным в том походе было совсем другое. Над головой Чингисхана всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он — туда и облако. Белая тучка, величиной с большую юрту, следовала за ним, точно живое существо. И никому невдомек было — мало ли тучек в вышине, — что то есть знамение — так являло Небо свое благословение Повелителю миров. Однако сам он, Чингисхан, зная об этом, исподволь наблюдал за тем облаком и все больше убеждался, что это действительно знак воли Неба-Тенгри.

Появление облака было предсказано неким странствующим прорицателем, которому Чингисхан однажды дозволил приблизиться к себе. Тот чужеземец не пал ниц, не льстил, не пророчествовал в угоду. Он стоял перед грозным ликом степного завоевателя, восседавшего на троне в золотой юрте, с достойно поднятой головой, тощий, оборванный, с диковинно длинными волосами до плеч, точно женщина с распущенными кудрями. Чужеземец был строг взглядом, внушительно бородат, смугл и сух чертами лица.

— Я пришел к тебе, великий хаган, сказать, — передал он через толмача-уйгура, — что волею Верховного Неба будет тебе особый знак с высоты.

Чингисхан на мгновение замер от неожиданности. Пришелец то ли не в своем уме, то ли не понимает, чем это для него может кончиться.

— Какой знак и откуда тебе это известно? — едва сдерживая раздражение, хмуря лоб, поинтересовался все-сильнейший.

— Откуда известно — не подлежит оглашению. А что касается знака, то скажу — над головой твоей будет являться облако и следовать за тобой.

— Облако?! — не скрывая изумления, воскликнул Чингисхан, резко вскидывая брови. И все вокруг невольно напряглись в ожидании взрыва ханского гнева. Губы толмача побелели от страха. Кара могла коснуться и его.

— Да, облако, — ответил прорицатель. — Оно будет перстом Верховного Неба, благословляющего твое высочайшее положение на земле. Но тебе надлежит беречь это облако, ибо, утратив его, ты утратишь свою могучую силу...

В золотой юрте наступила глухая пауза. Всего можно было ожидать от Чингисхана в тот миг, но вдруг ярость его взгляда приугасла, как догорающий в костре огонь. Преодолевая дикий порыв к расправе, он понял, что не следует воспринимать слова бродячего вещуна как вызывающую дерзость и тем более карать его, что тем самым он уронит свою ханскую честь. И Чингисхан сказал, пряча в жидких рыжеватых усах коварную улыбку:

— Допустим, Верховное Небо внушило тебе высказать эти слова. Допустим, я поверил. Но скажи мне, мудрейший чужеземец, как же я буду оберегать вольное облако в небе? Уж не погонщиков ли на крылатых конях послать туда, чтобы они стерегли то облако? Уж не взнудать ли им его на всякий случай, как необъезженного коня?! Как мне уберечь небесное облако, голимое ветром?

— А это уж твоя забота, — коротко ответил пришелец.

И опять все замерли, опять воцарилась мертвая тишина, и опять побелели губы толмача, и никто из находившихся в золотой юрте не посмел поднять глаза на несчастного прорицателя, обречшего себя, то ли по глупости, то ли непонятно зачем, на верную гибель.

— Одарите его, и пусть идет, — глухо проронил Чингисхан, и слова его упали на души, как капли дождя на иссохшую землю.

Странный, нелепый случай этот вскоре забылся. И то правда, каких только чудачков не бывает на свете. Возомнил себя вещуном! Но сказать, что тот чужеземец просто из легкомыслия рисковал головой, было бы несправедливо. Ведь не мог он не понимать, на что идет. Что стоило ханским кезегулам тут же скрутить его и привязать к хвосту дикой лошади — предать за непочтительность и наглость позорной смерти. И однако же что-то сподвигнуло, что-то вдохновило того отчаянного пришельца, не дрогнув, предстать, как перед львом в пустыне, перед самым грозным и беспощадным властелином. Был ли то поступок безумца или это был действительно промысел Неба?

И когда уже все забылось в беге дней проходящих, незадачливый предсказатель вдруг припомнился Чингисхану — ровно через два года.

Целых два года ушло в империи на подготовку к Западному походу. Позднее Чингисхан убедился в том, что на его власть обретающем пути неудержимого расширения пределов империи эти два года были самым деятельным периодом сбора сил и средств к мировому прорыву, к вожденной цели его, к захвату тех земель и краев, овладев которыми он мог по праву считать себя Властелином всех Четырех Сторон Света, всех дальних пределов мира, куда только способна была до-

катиться волна его несокрушимой конницы. К этой параноической идее, к неотвратимой жажде всевладычества и всемогущества сводилась в итоге жесточайшая суть степного властелина, его историческое предназначение. И потому вся жизнь его империи — всех подвластных улусов на огромных азиатских просторах, всего разноплеменного населения, усмирившегося под единой твердой рукой, всех имущих и обездоленных во всех городах и кочевьях и в конечном счете каждого человека, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, была целиком подчинена этой ненасытной вовеки, дьявольской страсти — все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов. И потому поголовно все были заняты единым служением, все подчинялись единому замыслу — наращивания, накопления, совершенствования военной силы Чингисхана. И все, что можно было добыть из недр и изготовить для вооружения, вся живая, созидающая деятельность обращались на потребу нашествия, могучего рывка Чингисхана в Европу, к ее сказочно богатейшим городам, где каждого воина ждала обильная добыча, к ее густо-зеленым лесам и лугам с травостоем по брюхо лошади, где кумыс потечет рекой; отрада власти над миром коснется каждого, кто пойдет в поход под изрыгающими пламя драконовыми знаменами Чингисхана, и каждый усладится победой, как женщиной, заключающей в лоне своем высшую сладость. Идти, побеждать и покорять земли повелевал великий хаган, и тому предстояло быть...

Чингисхан был в высшей степени человеком дела, расчетливым и прозорливым. Готовясь к вторжению в Европу, он прикинул, предусмотрел все до мелочей. Через верных лазутчиков и перебежчиков, через купцов и пилигримов, через странствующих дервишей, че-

рез деловых китайцев, уйгуров, арабов и персов выведал все, что следовало знать для продвижения огромных воинских масс, — все наиболее удобные пути и переправы. Им были учтены нравы и обычаи, религии и занятия жителей тех мест, куда двигались его войска. Писать он не умел, и все это приходилось держать в уме, соотнося пользу и вред всего, что ждало его в походе. Только так могла быть достигнута слаженность в деле и, самое главное, неукоснительная, железная дисциплина, только так можно было рассчитывать на успех. Чингисхан не допускал никаких послаблений — никто и ничто не должны были быть помехой главной его цели — завоеванию Европы.

Именно тогда, продумывая свою стратегию, Чингисхан пришел к беспрецедентному в веках повелению — запрету деторождения в народе-армии. Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна, диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых междоусобицах враги нередко мстили друг другу, истребляя жен и детей, оставшихся на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсесть корень рода. Но жизнь со временем менялась. Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирались и объединялись под единым куполом великого государства.

В молодости, когда Чингисхан еще именовался Темучином, он немало повоевал с соседними племенами, и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его Бортэ была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возымев власть, Чингисхан стал пресекать междоусобицы со всей беспощадностью. Рас-

при мешали ему править, подрывали силы государства.

Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное — семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности в военных операциях широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшее указание степного властелина — категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения Западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда:

— Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян — и пусть тогда обозные женщины рожают, сколько хотят. А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туманах...

Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога.

И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию; к тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку послушание неизбежно каралось смертью...

Вот уже семнадцатый день, как Чингисхан, находясь в пути, в походе на Запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий хаган держался, как и всегда, как подобало его особе, — строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи:

...Облачной ночью,
 Юрту мою прикрытым дымником
 Окружив, лежала стража моя
 И усыпляла меня в дворцовой юрте моей.
 Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
 Старейшая ночная стража моя
 На ханский престол меня возвела!
 В снежную бурю и мелкий дождь,
 Пронизывающий до дрожи,
 В проливной дождь и просто дождь
 Вокруг походной юрты моей
 Стояла, меня не тревожа,
 И сердце мое успокаивала стража моя!
 Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
 Крепкая ночная стража моя —
 На престол меня возвела!..
 Среди врагов, учинивших смуту,
 Колчана из березовой коры
 Еле слышный шорох услышав,
 Без промедления бросалась бороться.
 Бдительной ночной страже моей
 Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
 Загривки люто вздыбив при луне,
 Верная стая волков
 Вожака обступает, выходя на охоту,
 Так в набеге на Запад со мной
 Неразлучна сивогривая стая моя.
 Белые клыки моего трона всюду со мной...
 Благодарность пою им в дороге...

Стихи эти, прозвучи они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана — ему ли было заниматься душеизлияниями! Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь.

Главной причиной его душевного торжества было то, что вот уже семнадцатый день, с утра и до вечера, над головой Чингисхана плыло в небе белое облако — куда

он, туда и оно. Сбылось-таки вещее предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать! А ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях. Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы.

В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на Запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а возможно, и замершей на месте как раз над его головой, — мало ли тучек слоняется по миру.

Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кезегулами и жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обзревая с седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно и рьяно идущего на покорение мира, настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня.

Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, почему облако следует поверху в том же направлении, что и всадник внизу. Да и какая связь могла существовать между ними?

И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что среди бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой выси, когда требо-

валось глядеть под ноги. Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния, быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воле, и десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим приращения славы, власти, земель.

Так они шли, и уже близился вечер. Предстояло разместиться на ночь там, где застигнет тьма, и с утра снова двинуться в путь.

Для ночлега хана и его свиты обслуживающие их чербии заблаговременно соорудили дворцовые юрты. Они уже виднелись далеко впереди белыми куполами. Ханское знамя — черное полотнище с ярко-красной каймой и огненным, шитым шелком и золотыми нитями драконом, изрыгающим пламя из пасти, — уже развевалось на ветру возле главной дворцовой юрты. Не спуская глаз с дороги, кезегулы — отборные и мрачные силачи — стояли наготове в ожидании повелителя. Здесь предстояла общая вечерняя трапеза, здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми нойонами, чтобы обсудить результаты первого дня похода и планы на следующий. Успех начала великого движения настраивал Чингисхана на общительный лад — он не прочь был устроить в тот вечер пир для нойонов, послушать их речи и самому высказать повеления и то, что он соизволит изречь, когда все и каждый станут сгустком внимания, будто сгустившееся цельное молоко, будет сказано для всех Четырех Сторон Света, скоро все Стороны Света будут покорно внимать его слову, для этого он и ведет войска — для утверждения слова своего. А слово — это вечная сила.

Но пиршество Чингисхан затем отменил. Смятение души потребовало полного уединения. И вот почему...

Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомое облако над головой — уже в третий раз. И тут только сердце его екнуло. Пораженный невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами — он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто из сущего на темногрудой Земле Этуген, незыблемой основе мира, дарованной Небом для житья и владычества, не могло ошеломить его настолько, чтобы он ахнул от неожиданности; казалось, все было изведано, ничто на свете не могло уже поразить его жестокий ум, восхитить или опечалить его заматеревшую в кровавых делах душу; никогда не случалось, чтобы он, уронив свое ханское достоинство, испуганно вцеплялся в гриву коня, как какая-то баба. Такого не могло и не должно было быть, поскольку давно уже, можно сказать, с ранних лет, с тех пор, как он пристрелил из лука своего единокровного братца отрока Бектера, повздорив с ним из-за выловленной рыбешки, а на самом деле уловив рано проснувшимся волчьим чутьем, что им в одном седле судьбы не усидеть, — с тех пор убедился он, постигнув устройство жизни самым верным, безошибочным способом — попранием силой, что нет и не может быть ничего такого, что не покорилося бы силе, что не пало бы на колени, не померкло бы, не сокрушилось бы в прах под напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не говоря уж о грешном человеке. Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное — жалким. Отсюда устоялся вывод: все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, — заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит...

Но совсем иное дело, когда речь о Небе, олицетворяющем Вечность и Бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да, лишь Оно, непостижимое Небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед Небом-Тенгри он и сам был никем — ни восстать, ни утратить, ни двинуться походом. И оставалось только молиться и поклоняться Небу-Тенгри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он Небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром, и, если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрецы, великие множества во Вселенной, то что стоит Небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он; нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми Четырьмя Сторонами Света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить, — безграничного владычества над народами, ведь должен кто-то один быть правителем, так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других. В своей безграничной милости Небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и, чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у Неба он на особом счету, что верховные силы Неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он огнем и мечом, но ни одно из этих жалких проклятий никак не

сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к Небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить Небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор Неба и даже покаяться. Но Небо не гневалось, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости. И он, как в азартной игре, все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение Неба. И Небо терпело! И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избраннык Неба, что он и есть Сын Неба.

И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именую его Небом Рожденным, и тысячи рук, ликуя, воздевались к Небу при этом — то была низкая людская лесть. А заключал он из собственного опыта — Божественное Небо покровительствует ему во всех делах потому, что он отвечает помыслам самого Неба-Тенгри, иначе говоря, он — проводник воли Верховного Неба на земле. А Небо, как и он, признает только силу, только проявления силы, только носителя силы, коим он себя и почитал...

Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого, — стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу, к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчиш-

ки-сироты из обедневшего рода мелких аратов-кыятов, что жили испокон века охотой да скотоводством. Как могло случиться такое небывалое в истории овладение гигантской властью — ведь, в лучшем случае, жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не проходило — без промысла Неба-Тенгри однолошадного Темучина никогда не осенило бы знамя с золотыми, огнеизрыгающими драконами и никогда бы не именоваться ему Чингисханом и не воссесть под куполом Золотой юрты!..

И вот подтверждение тому, что все именно так, вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство Небесного благорасположения к хагану Азии! Вот оно перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство. Но слова его сбылись! Белое облако — послание Неба Небесному Сыну, знак одобрения и благословения, провозвестник великих грядущих побед.

Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо, и никто не замечал попутного белого облака, никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно. Разве кто следит за вольными облаками?.. И лишь он, великий хаган, возглавляющий степную армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл появления белого облачка и был поражен невероятной догадкой, и то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения — стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит? А что, если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет да исчезнет в мгновение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума? Потом он сно-

ва укреплялся духом и верил, что это облако не пустое, что оно не исчезнет вдруг, что оно ниспослано Небом как знак, и тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада, и он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю. С чем и шел. То и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось...

И потекли дни похода.

А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, восседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Грива белая, а хвост черный, таким уродился. Знатоки утверждали, что такой конь появляется под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине непревзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел иноходью, в постоянно напряженном темпе, как зарядивший ливень, проливаясь на землю горячим дыханием. Не будь удил, такой конь готов иссякнуть в горячем усердии, иссякнуть до капли, как пролившийся дождь. В старину один певец сказал: на таком коне человеку верится, что он бессмертен...

Доволен, счастлив был Чингисхан. Ощущая в себе небывалый прилив сил, он жаждал действовать, мчаться к цели, точно сам был неутомимым иноходцем, точно сам стелился в размеренном неиссякаемом беге, точно слился, как сливаются реки, телом и духом с бушующим круговоротом крови бегущего коня.

Да, седок и конь были под стать друг другу, — сила с силой перекликались. И оттого посадка седока походила на соколиную позу. Ступни плотно сидящего в седле коренастого, бронзолицего всадника упирались в стре-

мена вызывающе горделиво и уверенно. Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам...

И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой, как символ, как венец великой предназначенности. И все в этом смысле соотносилось одно с другим. Облако... Небо... Впереди же по ходу движения развевалось в руках знаменосца походное знамя, которое было всегда там, где находился Чингисхан. Их было трое при знамени, трое знаменосцев, внушительных и гордых доверенным им исключительно почетным делом. Все трое как на подбор — на одинаковых вороных конях. В середине — держащий древко, а по сторонам с пиками наперевес — его сопровождающие. Осеняя путь хагана, шитое шелком и золотом черное полотнище трепетало на ветру, и вышитый на нем дракон, исторгавший яркое пламя из пасти, казался живым. Дракон был в летучем прыжке, и глаза его, всевидящие во гневе, выпученные, как у верблюда, метались вместе с полотнищем по сторонам, точно и в самом деле живые...

С раннего утра неутомимый хаган с седла руководил походом. К нему с разных сторон скакали нойоны с донесениями и, получив указания на ходу, возвращались от него галопом на свои места в движущемся войске. Надо было поспешать, чтобы до предзимних дождей и распутицы достигнуть главного препятствия в походе — берегов великой реки Итиль — с тем, чтобы, дождавшись холодов, переправиться по ледяной тверди и двинуться дальше к заветной цели, к покорению Запада.

До позднего вечера длился поход. Предсумеречная степь простиралась в пологих лучах заходящего солнца

так далеко, как только можно было представить себе обширность зримого мира. И в том озаренном пространстве, окрашенном рдеющим солнцем, уже наполовину ушедшим за горизонт, двигались на закате колонны, тысячи конников, каждое войско в своих пределах, и все уходило в сторону заходящего солнца, напоминая издали течение черных рек, затуманенных мглой.

Натруженные спины коней отдыхали от седел и всадников лишь по ночам, когда войско останавливалось на ночлег.

Но рано утром на привалах снова гремели добулбасы — огромные барабаны из воловьих кож, понуждая армию к возобновлению похода. Всколыхнуть ото сна десятки тысяч людей не так просто. И побудчики усердствовали — несмолкаемый грохот добулбасов разносился окрест тяжким рокотом по всем лагерям и стоянкам.

К тому часу хаган уже бодрствовал. Он просыпался едва ли не первым и, прохаживаясь возле дворцовой юрты светлыми еще осенними утрами, сосредоточивался в себе, обдумывал мысли, набежавшие за ночь, отдавал указания и между делом внимательно вслушивался в гул барабанов, поднимающих войско в седла и на колеса. Начинался очередной день, умножались голоса, движения, звуки, заново начинался прерванный на ночь поход.

И гремели барабаны. Их утренний гул был не только сигналом к подъему, но заключал в себе и нечто большее. Так понукал Чингисхан каждого, кто шел вместе с ним в великом походе, — то было напоминанием взыскующего и непреклонного повелителя, врывающегося грохотом барабанов, точно в закрытые двери, в сознание просыпающихся, опережая тем самым какие бы то ни было иные мысли, нежели те, что исходили

от него, навязывались им, его волей, ибо во сне люди не подвластны ни чужой, ни собственной воле, ибо сон — дурная, зряшная, опасная свобода, прерывать которую необходимо с первых мгновений возврата ото сна, вторгаться решительно и грубо, чтобы вернуть их, очнувшихся, снова в явь — к служению, к беспрекословному подчинению, к действиям.

Похожий на бычий рык тяжкий гул барабанов всякий раз вызывал в Чингисхане холодок, связанный с давним воспоминанием: в отрочестве, когда поблизости от него ярились два сцепившихся быка, дико мыча, вскидывая копытами щебень и пыль, он, замороженный их ревом, сам не помнит, как схватил боевой лук и пронзил стрелой задремавшего единокровного братца Бектера, поссорившегося с ним из-за рыбки, выловленной в реке. Бектер дико вскричал, вскочил и снова повалился наземь, обливаясь кровью, а он, Темучин, да, тогда он был всего лишь Темучином, сиротой рано умершего Есугай-баатура, в испуге побежал на гору, взвалив на плечи добулбас, лежавший возле юрты. Там, на горе, он стал бить в барабан, долго и монотонно, а мать его, Аголен, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная братоубийцу. Потом сбежались другие люди, и все что-то кричали ему, размахивая руками, но он ничего не слышал, упорно колотя в барабан. И никто к нему не подступился почему-то. Он просидел на горе до рассвета, колотя в добулбас...

Мощный гул сотен добулбасов теперь был его боевым кличем, его яростным рыком, его неустранимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе, — внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела — есть же где-то предел горизонту, и все,

что существует на земле, — все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабанам, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь, плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого, огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти...

Хорошие утра выдавались в эти дни.

И по ночам, на сон грядущий, выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным таборам, на стоянках погонщиков табунов и стад стелились белесые дымы, люди в тот час, употевая, глотали похлебку и наедались вдосталь мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме лихорадочные глаза и доносилось до слуха заунывное подвывание несчастных тварей.

Армия между тем быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому — всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели — неукоснительному и безраздельному служению мирозахватнической идее Чингисхана. В такие минуты, пьянея душой, он постигал собственную суть — суть сверхчеловека — неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, и отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод — потребно лишь то, что соответствовало его власти прибавляю-

щей цели, а то, что не отвечало ей, — не имело права на бытие.

Поэтому и свершилась сарозекская казнь, предание о которой спустя многие времена записал Абуталип Куттыбаев на беду свою...

В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена. За пределами боевых лагерей находились стоянки обозов, погонщиков стад и разного рода подсобных служб. Дозор заглянул и в эти места. Все было в порядке. Истомленные переходом, люди спали всюду вповалку — в юртах, в шатрах, а многие под открытым небом у догорающих костров. Тихо было вокруг, и все юрты темны. Конный дозор уже завершал свой досмотр. Их было трое — дозорных. Придерживая коней, они о чем-то говорили между собой. Тот, кто был за старшего, — рослый всадник в шапке сотника — негромко распорядился:

— Ну, все. Вы езжайте, подремлите. А я погляжу еще тут.

Двое верховых удалились. А тот, что остался, тот сотник, сначала внимательно огляделся вокруг, прислушался, потом слез с коня и, ведя его в поводу, пошел мимо скопления обозов и походных мастерских, мимо распряженных повозок шорников, швей и оружейников в сторону одинокой юрты на самой обочине табора. И пока он шел, задумчиво склонив голову и прислушиваясь к звукам, лунный свет, льющийся с выси, смутно высветлял очертания его крупного лица и туманно поблескивающие большие глаза коня, послушно следовавшего за ним.

Сотник Эрдене приближался к юрте, где, должно быть, его ждали. Из юрты вышла женщина в накинута платке и остановилась, ожидая, возле входа.

— Самбайну¹, — приглушая голос, поприветствовал он женщину. — Ну, как дела? — спросил он с беспокойством.

— Все в порядке, все хорошо обошлось, хвала Небу. Теперь уж не тревожься, — зашептала женщина. — Она тебя очень ждет. Слышишь, очень ждет.

— Да я и сам рвался душой! — ответил сотник Эрдене. — Но, как назло, нойон наш решил пересчетом коней заняться. Все три дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал.

— Ой, да ты не мучься, Эрдене. Что бы ты тут делал, когда такое случилось? Зачем бы тут на глаза попадался? — Женщина успокоительно покачала головой и добавила: — Самое главное — что благополучно, так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила. И как ни в чем не бывало. Такая она у тебя славная. Ой, что ж это я! — спохватилась встречавшая. — Сокол, прилетевший к тебе на руку, да будет всегда с тобой! — поздравила она. — Имя придумай сыночку!

— Пусть Небо услышит твои слова, Алтун! Мы с Догуланг век будем тебе благодарны, — поблагодарил сотник. — А имя придумаем, за этим дело не станет.

Он передал женщине поводья коня.

— Не беспокойся, сколько надо, столько постерегу, как всегда, — заверила Алтун. — Иди, иди, Догуланг тебя очень ждет.

Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом, потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Догуланг, си-

¹ Самбайну — здравствуй.

дящую в глубине жилища, накинув на плечи кунью шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом.

— Эрдене! Я здесь, — негромко отозвалась она на появление сотника. — Мы здесь, — улыбаясь и смущаясь, поправилась она.

Сотник быстро отстегнул колчан, лук, клинок в ножнах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился на колени, и лица их соприкоснулись. Они обнялись, положив головы на плечи друг другу. И замерли в объятиях. И на том мир как бы замкнулся для них под куполом юрты. Все, что оставалось за пределами этого походного жилища, утратило свою реальность. Реальны были только они вдвоем, только то, что их объединяло в порыве, и крохотное существо в колыбели, которое явилось на свет три дня тому назад.

Эрдене первым разомкнул уста.

— Ну, как ты? Как чувствуешь себя? — спросил он, едва сдерживая учащенное дыхание. — Я так беспокоился.

— Теперь уже все позади, — ответила женщина, улыбаясь в полутьме. — Не об этом думай. О нем спроси, о нашем сыночке. Он такой крепенький оказался. Так сильно сосет мою грудь. Он очень похож на тебя. И Алтун говорит, что очень похож.

— Покажи мне его, Догуланг. Дай взглянуть!

Догуланг отстранилась и прежде, чем приоткрыть одеяло над колыбелью, прислушалась, невольно настораживаясь, к звукам снаружи. Все было тихо вокруг.

Сотник долго смотрел, силясь угадать свои черты в ничего не выражающем пока личике спящего младенца. Вглядываясь в новорожденного, затаив дыхание, он, может быть, впервые постигал божественную суть по-

явления на свет потомства как замысел вечности. Потому, наверное, и сказал, взвешивая каждое слово:

— Вот теперь я всегда буду с тобой, Догуланг, всегда с тобой, даже если что со мной и случится. Потому что у тебя мой сын.

— Ты — со мной? Если бы! — горестно усмехнулась женщина. — Ты хочешь сказать, что малыш — твоё второе воплощение, как у Будды. Я об этом подумала, кормя его грудью. Я держала его на руках, ребенка, которого не было еще три дня назад, и говорила себе, что это ты в новом своем воплощении. И ты об этом подумал сейчас?

— Подумал. Только не совсем так. С Буддой не могу себя сравнивать.

— Можешь не сравнивать. Ты не Будда, ты мой дракон. Я тебя с драконом сравниваю, — ласково прошептала Догуланг. — Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает — это все ты. На всех знаменах моих — это ты. Бывает, и во сне его вижу, во сне вышиваю дракона, он оживает, и, ты только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается — это ты. Ты со мной во сне — то дракон, то человек. И, просыпаясь, я не знаю, чему верить. Я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила — ты мой огненный дракон. И я не шутила. Так оно и было. Это я тебя, твоё воплощение в драконе, вышиваю на знаменах. И теперь, выходит, я родила от дракона.

— Пусть будет так, как тебе любо. Но ты послушай, Догуланг, что я тебе хочу сказать. — Сотник помолчал и молвил затем: — Вот теперь, когда у нас родился ребенок, надо думать, как нам быть. И об этом мы сейчас поговорим. Но раньше я хочу сказать, чтобы ты знала, да ты и так знаешь, но все равно скажу: я всегда

тосковал и всегда тоскую по тебе. И самое страшное, чего я боюсь, — не голову потерять в бою, а тоску свою потерять, лишиться ее. Я все время думал, уходя с войсками то в одну, то в другую сторону, как отделить от себя свою тоску, чтобы она не погибла вместе со мной, а осталась бы при тебе. И я ничего не мог придумать, но мне мечталось, чтобы тоска моя превратилась или в птицу, или, может быть, в зверя, во что-то такое живое, чтобы я мог передать тебе это в руки и сказать — вот возьми, это моя тоска, и пусть она будет всегда с тобой. И тогда мне не страшно погибнуть. И теперь я понимаю — мой сын родился от моей тоски по тебе. И теперь он всегда будет с тобой.

— Но мы еще не дали ему имени. Ты придумал ему имя? — спросила женщина.

— Да, — ответил сотник. — Если ты согласишься, назовем его хорошим именем — Кунан!

— Кунан!

— Да.

— А что, очень хорошо. Кунан! Молодой скакун.

— Да. Конь-трехлетка. В самом восходе сил. И грива как буря, и копыта как свинец.

Догуланг склонилась над младенцем:

— Послушай, отец твой скажет имя твое!

И сотник Эрдене сказал:

— Имя твое — Кунан. Слышишь, сынок? Имя твое Кунан. Воистину так.

Они помолчали, невольно поддаваясь значимости момента. Ночь была тиха, лишь в таборе по соседству беззлобно взлаяла собака, да донеслось издали протяжное ржание — быть может, вспомнилась среди ночи коню родина в горах, быстрые реки, густые травы, солнечный свет на спинах коней... Младенец же, обретший имя, безмятежно спал, и судьба его младенческая

пока еще спала рядом с ним. Но скоро ей предстояло спохватиться.

— Я подумал не только об имени нашего ребенка, — нарушил молчание сотник Эрдене и, поглаживая усы крепкой ладонью, сказал со вздохом: — Я подумал и о другом, Догуланг. Сама понимаешь, тебе с младенцем оставаться здесь нельзя. Надо побыстрее уходить.

— Уходить?

— Да, Догуланг, уходить, и чем быстрее, тем лучше.

— Я тоже думала, но куда уходить и как уходить?

А как же ты?

— Сейчас я тебе скажу. Мы уйдем вместе.

— Вместе? Это же невозможно, Эрдене!

— Только вместе. А разве может быть по-другому?

— Но ты подумай, что ты говоришь, ты, сотник правого тумена!

— Я уже думал, крепко думал.

— Но куда ты уйдешь от руки хагана, такого места нет на свете! Эрдене, опомнись!

— Я уже все продумал. Выслушай меня спокойнее. Мы не скрылись поначалу, когда еще можно было, когда еще стояли мы в городах многолюдных, с базарами и бродягами. Не зря я тебе говорил в те дни, Догуланг: обрядимся в тряпье чужеземцев, прибудем к странникам и уйдем скитаться по свету.

— По какому свету, Эрдене? — с горечью воскликнула вышивальщица. — Где для нас такой край, чтобы жить самим по себе? От Бога легче уйти, чем от хагана. Потому мы и не решились, сам понимаешь. Да и кто из войска мог бы решиться на такое. Вот и остались мы с тайной своей между страхом и любовью — ты не мог уйти из войска, тебе это стоило бы головы, я не могла уйти от тебя, мне это стоило бы счастья. И вот мы не одни. С сыночком.

Они тягостно умолкли в нахлынувшей тревоге. И тогда сотник сказал:

— Бывает, люди бегут от позора, от бесчестья, от расплаты за измену: бегут, только бы спастись. Нам придется бежать оттого, что судьба послала нам дитя, но платить придется той же ценой. Ждать пощады не приходится. Хаган от своего повеления никогда не отступится. Надо уходить, Догуланг, пока не поздно, другого выхода нет. Не качай головой. Другого выхода нет. Счастье и несчастье растут из одного корня. Было счастье, не побоимся теперь беды. Надо уходить.

— Я тебя понимаю, Эрдене, — тихо проговорила женщина. — Ты прав, конечно. Только я вот думаю, что лучше — умереть или остаться жить. Я не о себе. Я с тобой так счастлива, я говорила себе: если надо, умру, только не посмею убить то, что пришло ко мне от тебя. Глупая я или умная, но не поднялась моя рука...

— Не терзайся, не надо, ты не должна так терзаться — жить или не жить! Мы не хотели жертвовать тем, кто еще не родился. Теперь он родился. Теперь надо жить ради него. Убежать и жить. Мы оба хотели сына.

— Я не о себе. Я о другом. Можешь ли ты мне сказать, если меня казнят, — оставят ли в живых тебя и твоего сыночка?

— Не надо так. Не унижай меня, Догуланг. Разве об этом речь? Ты лучше скажи, как ты чувствуешь себя? Сможешь ли ты отправиться в путь? Ты поедешь в повозке с Алтун, она с тобой, она готова. Я буду рядом верхом, чтобы в случае чего отбиваться...

— Как скажешь, — коротко ответила вышивальщица. — Лишь бы с тобой! Быть рядом...

Опустив головы у колыбели, они снова затихли.

— А скажи, — промолвила Догуланг, — говорят, что скоро войско выйдет к берегам Жаика¹. Алтун слышала от людей.

— Пожалуй, через два дня, осталось не так много. А к пойменным местам уже завтра подойдем. Предесья начнутся, кусты да чащи, а там и Жаик.

— Что, большая, глубокая река?

— Самая великая на пути к Итилю.

— И глубокая?

— Не всякий конь сможет переплыть, особенно где стремнина. А по рукавам — там мельче.

— Значит, глубокая, и течение плавное?

— Спокойная, как зеркало, а есть где и побыстрей. Ты же знаешь, детство мое прошло в жаикских степях — отсюда мы родом. И наши песни все от Жаика. Лунными ночами поются наши песни.

— Я помню, — задумчиво отозвалась вышивальщица. — Ты как-то спел мне песню, до сих пор не могу забыть, песню девушки, разлученной с любимым, она утопилась в Жаике.

— Это старинная песня.

— У меня мечта, Эрдене, хочу сделать такую вышивку на белом шелковом полотне: вода уже сомкнулась, только легкие волны, а вокруг растения, птицы, бабочки, но девушки уже нет, не вынесла она горя. Чтобы, кто увидел эту вышивку, тому печальная песня слышалась над печальной рекой.

— Через день ты увидишь эту реку. Слушай меня внимательно, Догуланг. Ты должна быть готова к завтрашней ночи. Как только я появлюсь с запасным конем, так тут же ты должна выйти с колыбелью, в лю-

¹ Жаик, Яик — от слова «Жайык» (раздольная, широкая) — так казахи называли прежде реку Урал.

бой час. Медлить нельзя. Теперь медлить нельзя. Я бы сегодня, сейчас увез бы вас куда глаза глядят. Но кругом степь открытая, нигде не схоронишься, не утаишься, кругом как на ладони, и ночи пошли лунные. А с повозкой по степи от конной погони далеко не ускачешь. Но дальше, к Жаику, начнутся места зарослевые, там все по-иному пойдет...

Они еще долго переговаривались, то умолкая вдруг, то снова принимаясь обсуждать, что им предстоит в преддверии неведомой судьбы грядущей, теперь уже судьбы на троих, с народившимся младенцем. И малыш не заставил себя ждать, чуть погода зашевелился, кряхтя, в колыбели и заплакал, попискивая скулящим щенком. Догуланг быстро взяла его на руки и, смущаясь с непривычки, полуотвернувшись, приложила его к груди, столь знакомой сотнику, неисчислимо раз целованной им в горячем порыве, гладкой и белеющей груди, которую он сравнивал про себя с округлой спинкой притаившейся утки. Теперь все предстало в новом свете материнства. И сотник просиял взором от удивления и восхищения и, подумав о чем-то, pokrutil молча головой, — сколько пришлось пережить в последние дни, и вот свершилось то, что и должно было свершиться в отмеренный природой срок: он — отец, Догуланг — мать, у них — сынок, мать кормит дитя молоком... Тому и положено быть изначально. Трава родится от травы, и тому воля природы, твари рождаются от тварей, и тому воля природы, и только прихоть человека может встать поперек естества...

Младенец, чмокая, сосал грудь, младенец насыщался, убажываемый грудью-уточкой.

— Ой, щекотно, — радостно засмеялась Догуланг. — Вот ведь какой шустрый оказался. Прилип и не оторвешь, — приговаривала она, как бы оправдываясь за

свой счастливый смех. — А правда, он очень похож на тебя, наш Кунан. Наш маленький дракон, сын большого дракона! Вот он открыл глазки! Посмотри, посмотри, Эрдене, и глаза твои, и нос такой же, и губы точь-в-точь...

— Похож, конечно, очень похож, — охотно соглашался сотник. — Узнаю кого-то, очень даже узнаю.

— То есть как кого-то? — удивлялась Догуланг.

— Ну себя, конечно, себя!

— А вот возьми, поддержи его на руках. Такой живой комочек. Легкий такой. Как будто зайчика держишь.

Сотник робко принял дитя — сила и весомость его собственных рук оказались в ту минуту излишними, неуместными, и, не зная, как ему быть, как приспособить свои ладони к беззащитному тельцу младенца, он осторожно прижал, вернее, приблизил его к сердцу и, подыскивая сравнение неизведанному доселе ощущению нежности, счастливо улыбаясь тому, что открылось ему в то мгновение, растроганно сказал:

— Ты знаешь, Догуланг, это не зайчонок, это мое сердце в моих руках.

Малыш вскоре заснул. Сотнику же пора было возвращаться на свое место в войске.

Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над осенними сарозеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить, хотелось снова вернуться к Догуланг, к сыну. Таинственные звенящие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том, что, будучи вовлеченными судьбой в деяния великого хагана, идя вместе с ним в поход на Запад, служа ему, они же подвергались опасности — в любой момент неотврати-

мая его кара за рождение ребенка могла сокрушить их. Стало быть, в том, что их связывало с Повелителем Четырех Сторон Света, было нечто противоестественное, отныне несовместимое с их собственной жизнью, взаимоисключающее, и вывод напрашивался один — уходить, обрести свободу, спасти жизнь ребенка...

Вскоре он разыскал неподалеку прислужницу Алтун, которая все это время стерегла его коня, скармливая ему зерно из походной сумы.

— Ну, что, повидал своего сыночка? — живо заговорила Алтун.

— Да, спасибо, Алтун.

— Имя дал ему?

— Имя его — Кунан!

— Хорошее имя. Кунан.

— Да. Пусть Небо услышит. А теперь, Алтун, скажу тебе то, что надо сказать сейчас, не откладывая. Ты мне как родная сестра, Алтун. А для Догуланг с ее ребенком — ты верная мать, посланная судьбой. Не будь тебя, не смогли бы мы быть с ней вместе в походе, страдать бы нам в разлуке. И кто знает, быть может, мы с Догуланг никогда больше и не увиделись бы. Потому что, кто идет с войной, тот встречает войну вдвойне... И я благодарен тебе...

— Я-то понимаю, — проговорила Алтун. — Понимаю, что к чему. Ведь и ты, Эрдене, пошел на такое дело неслыханное! — Алтун покрутила головой. И добавила: — Дай Бог, чтобы все обошлось. Я-то понимаю, — продолжала она, — в этом великом войске сегодня ты сотник, а завтра оказался бы тысячником-нойоном, в чести на всю жизнь. И тогда бы мы с тобой не говорили о том, о чем сейчас говорим. Ты — сотник, я раба. И тем все сказано. Но ты выбрал другое — как душа твоя повелела. Моя-то помощь тебе — коня поддержать. Приставлена я служить

твоей Догуланг, сам знаешь, помогать ей в работе. И я привязана к ней всей душой, потому что она, так мне думается, — дочь бога красоты. Да, да! Она и собой хороша, как же! Но я не об этом. Я о другом. В руках у Догуланг волшебная сила — клубки нитей и кусок полотна найдутся у кого угодно, но то, что вышивает Догуланг, никому не повторить. По себе знаю. Драконы у нее бегут по знаменам, как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе. Говорю же, она мастерица от Бога. И я буду с ней. А если надумали уходить, то и я — с вами. Одной ей не управиться в бегах, ведь только родила.

— Об этом и речь, Алтун. Завтра, ближе к полуночи, надо быть наготове. Будем уходить. Ты с Догуланг и ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика. Самое главное, к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погоня не напала на след. А там уйдем...

Они помолчали. И перед тем как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Догуланг самим провидением, эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана. Кто она была ему, если подумать: случайной спутницей в колдовороде чингисхановского похода на Запад. Но по сути — единственной и верной опорой влюбленных в роковую для них пору. Сотник понимал: только на нее он мог положиться, на прислужницу Алтун, и больше ни на кого на свете, ни на кого! Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бои, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось.

Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжулдузе, минуя войска, спящие привалом в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога; по тому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог, в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это Небо, непостижимое и необъятное. И Небу знать, кому какую судьбу определить — кому народиться, кому жить.

Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать Небо, пытался услышать в душе ответ судьбы. Но Небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливаясь сиреневым потоком света над сарозекской степью, объятаю сном и таинством ночи...

А наутро снова загремели, зарокотали утробно добулбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седла, кидать поклажу в повозки, и снова, воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана, двинулась степная армада Чингисхана на Запад.

То был семнадцатый день похода. Позади оставалась обширнейшая часть сарозекской степи — наиболее труднопроходимая, впереди предстояли через день-другой припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины — Восток и Запад.

И все было, как и прежде. Впереди на гарцующих вороних двигались знаменосцы. За ними в сопровождении кезегулов и свиты — Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба с белой гривой и черным хвостом, и, тайно радуя взор,

подымая в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница — белая тучка. Куда он — туда и она. А по земле, заполняя пространство от края и до края, двигалась человеческая тьма на Запад — колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу бушующего вдали моря. И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружения, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы, все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать, — о вожденном мировом владычестве, о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеления, за благовременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями-повелениями, указывающими, как править миром, пребудет на свете и его воля. Вот о чем думал хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях как способе достижения бессмертия уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этим зимой, на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он и шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению.

И снова стали слагаться стихи:

Алмазным наверхиим державы моей
 Водружу сверкающий месяц в небе... Да!..

И муравей на тропе не уклонится
 От железных копыт моей армии... Да!..
 Переметную суму истории
 С потного крупа коня моего
 Благодарные потомки снимут,
 Постигая цену могущества... Да!..

Случилось так, что именно в этот день, пополудни, доложили Чингисхану о том, что одна из женщин в обозе родила — вопреки строжайшему на то его ханскому запрету. Родила ребенка — неизвестно от кого. Сообщил об этом хептегул Арасан. Краснощекий хептегул, с бегаящими глазками, всегда все знающий и неутомимый, и на этот раз первым принес известие. «Мой долг доложить тебе, величайший, все, как есть, поскольку на этот счет сделано тобой предупреждение», — похрипывая — жирок душил его, — заключил свое донесение хептегул Арасан, скача с хаганом стремя в стремя, чтобы лучше были слышны его слова на ветру.

Чингисхан не сразу внял, не сразу ответил хептегулу. Сосредоточенный в тот миг на мыслях о заветных скрижалях, он не сразу поддался нахлынувшей досаде и долго не хотел признаться себе в том, что не ожидал, что подобное известие так подействует на него. Чингисхан молчал оскорбленно, с досады прибавил ходу коню, и полы его легкой собольей шубы разлетались по сторонам, как крылья испуганной птицы. А хептегул Арасан, поспешая рядом, оказался в затруднительном положении, не зная, как ему быть; он то придерживал поводья, чтобы не гневить излишне хагана своим присутствием рядом, то снова шел стремя в стремя, чтобы быть готовым расслышать слова, коли они будут произнесены, и не понимал, не мог взять в толк причины столь долгого молчания владыки — что стоило тому изречь всего два слова: казнить ее, — и в тот же

час там, в обозах, задавили бы и эту женщину, и ее выродка, коли она осмелилась родить наперекор высочайшему запрету. Задушили бы дерзкую, закатав в кошму, другим в назидание, — и делу конец.

Вдруг хаган резко бросил через плечо, да так, что хептегул даже привстал в седле:

— Так почему, пока не разродилась эта обозная сука, никто не заметил, что она брюхатая? Или видели, да помалкивали?

Хептегул Арасан подался было объяснить, как это могло произойти, слова его оказались сбивчивы, и хаган властно осек его:

— Помолчи!

Спустя немного времени он желчно спросил:

— Коли она ничейная жена, так кто же она, эта разродившаяся в обозах, — повариха, истопница, скотница?

И был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальщица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же, как не думал он о том, что кто-то тачает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да и с чего бы, разве знамена не существовали сами по себе, рядом с ним и в его войске повсюду, возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам, на лагерных стоянках, в движущейся коннице, в сражениях и на пирах. Вот и сейчас — впереди гарцевали знаменосцы, осеняя его путь. Он шел походом на Запад с тем, чтобы установить там свои стяги, отшвырнув на истоптание чужие знамена. Так оно и будет... Ничто и никто не посмеет встать на его пути. И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из

идущих с ним на покорение мира будет пресекаться не иначе как смертной карой. Кара ради повиновения — таково неизменное орудие власти одного над многими.

Но в случае с этой вышивальщицей повинна не только она, но и еще кто-то, безусловно, находящийся в оборзах или в войске... Но кто он?..

С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадке в седле. Но никто из осмеливавшихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал, что омрачился хаган не столько потому, что обнаружился вызывающий факт непослушания какой-то вышивальщицы и ее неизвестного возлюбленного, сколько потому, что случай этот напомнил ему совсем другую историю, оставившую горький, неизгладимый, постыдный след в его душе.

И снова, кровотока, обжигая душу, припомнилось ему пережитое в молодости, когда он еще носил свое истонное имя Темучин, когда никто еще не мог предположить, что в нем, сироте, безотцовщине Темучине, грядет Повелитель Четырех Сторон Света, когда и сам он еще не помышлял ни о чем подобном. Тогда, в далекой молодости, пережил он трагедию и позор. Молодая, посватанная родителями еще с детства, жена его Бортэ в дни медового месяца была похищена при набеге соседнего племени меркитов, и, пока он сумел отбить ее в ответном набеге, прошло немало дней, много дней и ночей, подсчитывать которые с точностью у него не хватало сил и теперь, когда он шел с многотысячным войском на завоевание Запада, дабы утвердить и сделать навеки недосягаемым на троне мирового господства свое имя, дабы все затмить и... все забыть.

В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схват-

ки, когда они бежали, бросив табуны и стойбища, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни от возмездия, когда исполнилась клятва мести, в которой было сказано:

...Древнее, издалека видное свое знамя
 Я окропил перед походом кровью жертвы,
 В свой низко рокочущий, обтянутый
 Воловьей кожей барабан я ударил.
 На своего черногривого бегунца я сел верхом.
 Свой стеганный панцирь я надел.
 Свой грозный меч я в руки взял.
 С удит-меркитами я буду биться до смерти...
 Весь народ меркитский я истреблю до мальчика,
 Пока их земли не станут пустыми... —

когда эта страшная клятва исполнилась сполна в ночи, оглашенной криками и воплями, среди бегущих в панике, среди преследуемых удалялась крытая повозка. «Бортэ! Бортэ! Где ты? Бортэ!» — кричал и звал Темучин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя, и когда наконец он настиг крытую повозку и его люди перебили с ходу возниц, то Бортэ откликнулась на зов: «Я здесь! Я Бортэ!» — и спрыгнула с повозки, а он скатился с коня, и они бросились друг другу навстречу и обнялись во тьме. И в то мгновение, когда молодая жена оказалась в его объятиях, целая и невредимая, он ощутил, как неожиданный удар в сердце, незнакомый чуждый запах, должно быть, крепко прокуренных усов, оставшийся от чьего-то прикосновения на ее теплой, гладкой шее, и замер, прикусив губы до крови. А вокруг шла схватка, битва, расправа одних над другими...

С той минуты он уже не ввязывался в бой. Посадив вызволенную из плена жену в повозку, повернул назад, пытаясь совладать с собой, чтобы не высказать сразу

то, что прожгло его. И мучился потом всю жизнь. Понимал — не по своей воле оказалась жена в руках врагов. И тем не менее какой ценой удалось ей не пострадать? Ведь ни один волос с ее головы не упал. Судя по всему, Бортэ в плену не была мученицей, нельзя было сказать, что вид у нее был настрадавшийся. Нет, и потом откровенного разговора об этом у них не возникло.

Когда те немногочисленные меркиты, которым не удалось после разгрома откочевать в другие страны или в труднодоступные места, уже не представляли ни малейшей опасности, когда они пошли в пастухи и прислугу, превратились в рабов, никому не понятна была неумолимая жестокость мести Темучина, к тому времени ставшего уже Чингисханом. В результате все те меркиты, которые не сумели бежать, были перебиты. И никто из них не мог уже сказать, что имел какое-либо отношение к его Бортэ в бытность ее в меркитском плену.

Позже у Чингисхана было еще три жены, однако ничто не могло залечить боль от того первого, жестокого удара судьбы. Так и жил хаган с этой болью. С этой кровоточащей, хоть и никому не ведомой, душевной раной. После того как Бортэ родила первенца — сына Джучи, — Чингисхан скрупулезно вычислял, получалось — могло быть и так, и эдак, ребенок мог быть и его, и не его сыном. Кто-то, так и оставшийся неизвестным, нагло посягнувший на его честь, лишил его на всю жизнь покоя.

И хотя тот, другой неизвестный, от которого родила в походе вышивальщица знамен, не имел к хагану никакого отношения, кровь властелина вскипела.

Человеку порой так мало надо, чтобы в мгновение ока мир для него нарушился, перекосялся и стал бы не таким, как был только что — целесообразным и цельно воспринимаемым... Именно такой переворот произошел

в душе великого хагана. Все вокруг оставалось таким же, каким было до известия. Да, впереди гарцевали на вороных конях знаменосцы с развевающимися драконовыми знаменами; под его седлом шел, как всегда, иноходец Хуба; рядом и позади на отличных скакунах почтительно поспешала свита; вокруг держалась верная стража — отряды полутысячников-кезегулов; на всем пространстве, насколько мог охватить взгляд, двигались по степи войсковые тумены — разящая мощь, и тысячные обозы — их опора. А над головой, над всем этим людским потоком плыло по небу верное белое облако, то самое, что с первых дней похода свидетельствовало о покровительстве Верховного Неба.

Все было, казалось, прежним, и однако нечто в мире сдвинулось, изменилось, вызывая в хагане постепенно нарастающую грозу. Стало быть, кто-то не внял его воле, стало быть, кто-то посмел свои необузданные плотские страсти поставить выше его великой цели, стало быть, кто-то умышленно пошел против его повеления! Кто-то из его конников больше алкал женщину в постели, нежели жаждал безусловно служить, неукоснительно повиноваться хагану! И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица — разве после нее некому будет вышивать? — пренебрегая его запретом, решила родить, когда все другие обозные женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения!..

Эти мысли глухо прорастали в нем, как дикая трава, как дикий лес, затемняя злобой свет в глазах, и хотя он понимал, что случай в общем-то ничтожный, что следовало бы не придавать ему особого значения, другой голос, властный, сильный, все более ожесточенно настаивал, требовал сурового наказания, казни послушников перед всем войском, и все больше заглушал и оттеснял иные мысли.

Даже неутомимый иноходец Хуба, с которого хаган в тот день не слезал, почувствовал точно бы дополнительную тяжесть, все более увеличивающуюся, и неутомимый иноходец, всегда мчащийся ровно, как стрела, покрылся мыльной пеной, чего с ним прежде не случалось.

Молча и грозно продолжал путь Чингисхан. И хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый, крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем, и, думая все время об одном, он все больше раздражался на своих приближенных. Как они посмели доложить ему только теперь, когда женщина уже родила, а где они были прежде, куда они смотрели, разве так трудно было заметить беременную? И тогда разговор был бы другой — погнали бы ее в три шеи, как собаку блудливую. А теперь как быть? Когда ему доложили о случившемся, он резко спросил вызванного для объяснений нойона, отвечающего за обозы, — как так могло случиться, что все это оставалось незамеченным, пока вышивальщица не родила, пока не был услышан верными людьми плач новорожденного? Как могло случиться такое! На что нойон невразумительно отвечал, что-де вышивальщица знамен, по имени Дугуланг, жила в отдельной юрте, всегда на отшибе, ни с кем не общалась, ссылаясь на занятость, имела свою повозку, при ней состояла прислужница, а когда к ней приходили по делам, то вышивальщица сидела, обернутая ворохом тканей, обычно шелками вышиваемых знамен. И люди думали, что делает она это просто для красоты, поскольку любит наря-

жаться. И потому трудно было разглядеть, что она беременна. Кто отец новорожденного — неизвестно. Вышивальщицу еще пока не допрашивали. Прислужница же твердит, что ничего не знает. Пойди ищи ветра в поле...

Чингисхан с досадой думал о том, что эта история недостойна его высокого внимания, но поскольку запрет на деторождение установлен им самим и поскольку каждый из войсковых старшин, боясь за свою голову, спешил донести о случившемся вышестоящему, то он, хаган, оказался заложником собственного высочайшего повеления. Отступить от своего повеления он не мог. И кара была неминуема...

Около полуночи сотник Эрдене, сославшись на спешные поручения, сказал, что направляется к тысячному, но то был лишь повод выйти из лагеря, чтобы той же ночью бежать вместе со своей возлюбленной. Он не знал еще, что хагану уже все известно, не знал, что бежать ему с Дугуланг и ребенком не удастся.

Ведя запасного коня в поводу, точно охотничью собаку на привязи, сотник Эрдене благополучно обошел лагеря и, приближаясь к обозу, вблизи которого обычно располагалась юрта Дугуланг, молил Бога лишь об одном — чтобы не напороться вдруг на нойонский объездной дозор. Нойонский дозор — самый придирчивый и жестокий, если вдруг заметит кого-нибудь из конников нетрезвым, выпившим случаем молочной водки, никогда не пощадит, заставит впрячься в повозку вместо коня, а возница будет погонять кнутом...

Покинув свою сотню, уходя в бега, Эрдене знал, что, если его поймут, ему грозит высшая кара — удушение кошмой или предание смерти через повешение. Другой исход мог быть лишь в случае, если удастся бежать, уйти в далекие края, в иные страны.

Ночь в степи и в этот раз стояла лунная. Повсюду располагались лагеря, табуны, повсюду вповалку у тлеющих костров спали воины. Среди такого количества людей и обозов мало кому было дела до того, кто куда передвигается. На это и рассчитывал сотник Эрдене, и ему с Догуланг и сыном удалось бы бежать, если бы не судьба...

Что случилась беда, он понял тотчас же, как приблизился к табору мастеровых. Соскочив с седла, сотник замер в тени коней, крепко держа их под уздцы. Да, случилась беда! Возле крайней юрты горел большой костер, освещая округу тревожно полыхающим светом. С десятков верховых жасаулов, громогласно переговариваясь, топтались возле костра на конях. Те, что спешили, их было человека три, запрягали повозку, ту самую, на которой они с Догуланг собирались бежать этой ночью. Потом Эрдене увидел, как жасаулы вывели из юрты Догуланг с ребенком на руках. Она стояла в свете костра в своей куньей шубе, прижимая дитя к себе, бледная, беспомощная, напуганная. Жасаулы о чем-то ее спрашивали. Доносились возгласы: «Отвечай! Отвечай, тебе говорят! Потаскуха, блудница!» Потом донесся вопль прислужницы Алтун. Да, это был ее голос, безусловно ее. Алтун кричала: «Откуда мне знать! За что вы меня бьете? Откуда мне знать, от кого она родила! Не в степи, не сейчас же это случилось! Да, родила она ребенка недавно, сами видите. Так что же, разве вы не можете понять, что девять месяцев назад, выходит, случилось все это?! Так откуда мне знать, когда и с кем у нее было. Зачем вы меня бьете?! А ее зачем стращаете, до смерти напугали, — она же с новорожденным! Разве она не служила вам, не расшивала ваши боевые знамена, с которыми вы идете в поход! За что теперь убиваете, за что?»

Бедная Алтун, как травинка под копытом, что она могла поделаться, когда сам сотник Эрдене не посмел сунуться, да и что бы он мог против десятка вооруженных жасаулов?! Разве что погибнуть, унеся с собой одного или двоих? Но что бы это дало? Тем и берут всегда жасаулы — сворой своей. Только и ждут, чтобы кинуться всей сворой, чтобы терзать, чтобы кровь лилась!

Сотник Эрдене видел, как жасаулы усадили Догуланг с ребенком на повозку, туда же бросили прислужницу Алтун и повезли их куда-то в ночь.

И на том все улеглось, все стихло вокруг, стоянка опустела. И только тогда стали слышны в стороне собачий лай, ржание лошадей, какие-то невнятные голоса на привалах.

У юрты вышивальщицы Догуланг догорал костер. Поглотив суету, муки, борения людские, бесстрастно глядели безмятежно сияющие, беззвучные звезды на опустевшее пространство, точно тому, что случилось, и следовало быть...

Двигаясь, как во сне, сотник Эрдене нащупал онемевшими вмиг, похолодевшими руками узду на голове запасного коня, стащил ее, не ощущая собственных усилий, и бросил коню под ноги. Глухо брякнули удила. Эрдене услышал свое стесненное дыхание, дышать становилось все тяжелее. Но он еще нашел в себе силы, чтобы прихлопнуть лошадь по холке. Эта лошадь теперь была ни к чему, теперь она была свободна, никакой нужды в ней не было, и она побежала себе рысцой в ближайший ночной табун. А сотник Эрдене бесцельно побрел по степи, не ведая сам, куда идет, зачем идет. За ним тихо ступал в поводу его звездолобый Акжулдуз — верный и неразлучный боевой конь, на котором сотник Эрдене ходил в сражения, но на котором так

и не удалось ускакать, угоняя от злой судьбины повозку с любимой женщиной и народившимся ребенком.

Эрдене шел наугад, как слепой; глаза его были полны слез, стекавших по мокрой бороде, и ровно струящийся лунный свет судорожно колыхался на его согбенных, вздрагивающих плечах... Он брел, как изгнанный из стаи одинокий дикий зверь, предоставленный в целом мире самому себе: сможешь жить — живи, не сможешь — умри. И больше никакого выбора... Что было делать теперь ему, куда было деваться? Не оставалось ничего, кроме как умереть, убить себя ударом ножа, ударом в грудь, в нестерпимо ноющее сердце, и тем самым унять, прекратить эту сжигающую его боль или же исчезнуть, сгинуть, сбежать, затеряться где-нибудь навсегда...

Сотник упал на землю и, глухо рыдая, пополз на животе, обдирая о камни ладони и ногти, но земля не расступилась, потом он поднялся на колени и нащупал на поясе нож...

В степи было безмолвно, пустынно и звездно. Лишь верный конь Акжулдуз терпеливо стоял рядом в лунном озарении, всхрапывая, в ожидании приказа хозяина...

В то утро, прежде чем двинуться в поход, барабанщики, заранее собранные на холме, ударили сигнал сбора войска. И, ударив, добулбасы уже не стихали, сотрясая округу нарастающим, надсадным гулом тревоги. Барабаны из воловьих кож рокотали, ярились, как дикие звери в западне, созывая на казнь блудницы, вышивальщицы знамен; мало кто знал, что имя ее Догуланг, — родившей в походе ребенка.

И выстраивались под шаманский гул барабанов конные когорты при всем оружии, как на параде, полукругом вокруг холма, сотня за сотней, а по флангам рас-

полагались обозы с поклажей и на них весь подсобный люд, всякого рода походные мастеровые — юртовщики, оружейники, шорники, швеи, мужчины и женщины, все молодые, все плодоносящей поры. Это всем им в устрашение и назидание устраивалась показательная казнь. Всякий, посмевший нарушить повеление хагана, будет лишен жизни!

Добулбасы продолжали греметь на холме, холодя кровь в жилах, вызывая в душах оцепенение страха, а потому и согласие с тем, чему предстояло быть по воле Чингисхана, и даже одобрение тому.

И вот под гул несмолкающих добулбасов на холм пронесли в золотом паланкине самого хагана, учинявшего казнь опасной ослушницы, так и не назвавшей имени того, от кого она родила. Паланкин опустили на рыжем холме посреди знамен, купающихся в первых лучах солнца, развевающихся на ветру, с расшитыми шелком огнедышащими драконами. Это его, хагана, символом был дракон в могучем прыжке, но он и не подозревал, что вышивальщица, одухотворившая шитье, имела в виду не его, а другого. Того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях. И никому вокруг было невдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой.

И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает, и затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой.

Барабаны смирялись. И все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно-напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное.

Барабаны смолкли, когда из ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Догуланг. Дюжие жасаулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой коней. Догуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом.

Люди в рядах загудели, особенно женщины: вот она, та самая вышивальщица! Блудница! Ничейная жена! Хотя ведь могла при своей молодости и красе быть второй или третьей женой какого-нибудь нойона! А был бы он к тому еще и старец какой — и того лучше. Горя не знала бы. Так нет, завела себе любовника и родила, бесстыжая! Все равно что плюнула в лицо самого хагана! А теперь пусть расплачивается. Пусть ее вздернут на горбу верблюжем! Доигралась, красотка! Этот безжалостный суд молвы был продолжением злобного гула добулбасов, для того и гремели барабаны из воловьих кож так настойчиво и оглушительно, чтобы ошеломить, возбудить ненависть к тому, кого возненавидел сам хаган.

— А вот и прислужница с ребенком! Смотрите! — вскричали, злорадствуя, обозные женщины. То действительно была прислужница Алтун. Она несла новорожденного, завернутого в тряпье. В сопровождении громилы-жасаула, боязливо оглядываясь, вся съезжившись, Алтун шла у повозки, как бы подтверждая своей ношей преступность вышивальщицы, приговоренной к смерти.

Так их вели для устрашающего обозрения перед казнью. Догуланг понимала, что теперь иного исхода

быть не могло: никакого прощения, никакого помилования.

В юрте, откуда их выволокли на позор, она успела покормить ребенка грудью в последний раз. Ничего не ведая, несчастное дитя усердно чмокало, пребывая в дремотном легком сне под вкрадчиво стихающие звуки барабанов. Прислужница Алтун была рядом. Сдавленно плача, удерживаясь от громких рыданий, она то и дело зажимала себе рот ладонью. И в те минуты им удалось переброситься несколькими словами.

— Где он? — тихо шепнула Догуланг, торопливо перекладывая ребенка от одной груди к другой, хотя понимала, что Алтун не могла знать того, чего не знала она сама.

— Не знаю, — ответила та в слезах. — Думаю, далеко.

— Только бы! Только бы! — взмолилась Догуланг.

Прислужница горько покивала в ответ. Обе они думали об одном — только бы удалось сотнику Эрдене скрыться, ускакать подальше, исчезнуть с глаз долой.

За юртой послышались шаги, голоса:

— Ну, тащи их! Волоки!

Вышивальщица в последний раз прижала ребенка, горестно вдохнула его сладковатый запах и дрожащими руками передала его прислужнице:

— Пока поживет, присмотри...

— Не думай об этом! — Алтун захлебнулась от комка слез и больше уже не могла сдерживаться. Зарыдала громко и отчаянно.

И тут жасаулы поволокли их наружу.

Солнце уже поднялось над степью, зависнув над горизонтом. Со всех сторон за скоплением войск и обозов, готовых двинуться в поход после казни вышивальщицы, простирались сарозеки — великие степные равнины. На одном из холмов сиял золотистый паланкин

хагана. Выходя из юрты, Догуланг успела увидеть краем глаза этот паланкин, в котором сидел сам хаган — недоступный, как Бог, а вокруг паланкина развевались на степном ветерке расшитые ее же руками знамена с огнедышащими драконами.

Чингисхану, восседавшему под балдахином, все было хорошо видно с того холма — и степь, и войско, и обозный люд, а в вышине, как всегда, плыла над его головой верная белая тучка. Казнь вышивальщицы задерживала в то утро поход. Но следовало сделать одно, чтобы продолжить другое. Предстоящая казнь была не первой и не последней казнью в его присутствии — самые различные случаи ослушания карались именно таким способом, и всякий раз хаган убеждался, что прилюдная казнь необходима для повиновения народа единому, верховным лицом установленному порядку, поскольку и страх, и низменная радость, что насильственная смерть постигла не тебя, заставляет людей воспринимать страшную кару как должную меру наказания и потому не только оправдывать, но и одобрять действия власти.

И в этот раз, когда вышивальщицу вывели из юрты и заставили ее взойти на повозку для позорного объезда, люди, как рой, загудели, задвигались. На лице же Чингисхана не дрогнул ни один мускул. Он сидел под балдахином в окружении развевающихся знамен и застывших у древков, словно каменные истуканы, кезегулов. Объявленная казнь на то и была рассчитана — всякий да будет знать — даже малейшая помеха на пути великого похода на Запад недопустима. В душе хаган понимал, что мог бы не прибегать к столь жестокой расправе над молодой женщиной, матерью, мог бы помиловать ее, но не видел в том резона — всякое великодушие всегда оборачивается худо — власть слабеет, люди наглеют. Нет, он ни в чем не раскаивался, един-

ственное, чем он был недоволен, — что так и не удалось выявить, кто же был возлюбленным этой вышивальщицы.

А она, приговоренная к смерти через повешение, уже следовала на повозке перед строем войска и обозов, в разодранном на груди платье, с растрепанными волосами — черные густые космы, сияющие угольным блеском на утреннем солнце, скрывали ее бескровное, бледное лицо. Догуланг, однако, не склонила головы, смотрела вокруг опустошенным, скорбным взглядом, — теперь ей нечего было утаивать от других. Да, вот она, возлюбившая мужчину больше жизни своей, вот ее запретное дитя, рожденное от этой любви!

Но людям хотелось знать, и они кричали:

— Кобыла, а где же твой жеребец? Кто он?

И самовозбуждаясь и ожесточаясь от неосознанного чувства вины, толпа возопила, чтобы побыстрее освободить себя от низменного греха:

— Повесить суку! Повесить сейчас же! Чего тут ждать!

Устроители казни, должно быть, на то и рассчитывали, что неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы. От ханского окружения отделился верховой, один из нойонов, зычноголосый, бравый вояка, готовый ради хагана и на это дело. Он подскочил к скорбной процессии — повозке с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужнице с ребенком на руках.

— А ну, стойте, — остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул: — Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила! С кем она путалась! А теперь скажи, есть ли среди этих мужчин отец твоего ребенка?

Догуланг отвечала, что нет. Настороженный гул прокатился по рядам.

Повозка двигалась от сотни к сотне, а сотни пере-кликались:

— У меня не оказалось! Может, ловкач тот в твоей сотне?

Тем временем зычноголосый снова и снова требовал от вышивальщицы, чтобы она указала на того, кто был отцом новорожденного.

Вот снова повозку остановили перед отрядом конников, и снова вопрос:

— Укажи, блудница, от кого ты родила?

Именно в этом строю, в голове отряда находился сотник Эрдене на своем звездолобом коне Акжуддузе. Взгляды Догуланг и Эрдене встретились. В общем гаме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Догуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдене мог представить себе, чего стоила Догуланг эта молниеносная встреча глазами — какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение. На вопрос зычноголосого нойона опомнившаяся Догуланг, взяв себя в руки, снова твердо ответила:

— Нет, нет здесь отца моего ребенка!

И опять никто не обратил внимание на то, что сотник Эрдене уронил голову, но тут же усилием воли заставил себя принять невозмутимый вид.

А палачи были уже наготове. Трое в черных балахонах с закатанными рукавами вывели на середину двугорбого верблюда, настолько громадного, что всадник в седле головой доставал лишь до середины верблюжьего брюха. За отсутствием леса в открытых степных пространствах кочевники издавна прибегали к такому способу казни — осужденных вешали на верблюжьем межгорбьи — попарно на одной веревке или с противоре-

сом, которым служил мешок с песком. Такой противoves был уже приготовлен для вышивальщицы Догуланг.

Окриками и ударами палкой палачи заставили зло орущего верблюда опуститься и лечь на землю, подбрав под себя длинные мосластые ноги. Виселица была готова.

Барабаны ожили, слегка рокоча, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души.

И тогда зычноголосый нойон снова обратился к вышивальщице, должно быть, уже на потеху:

— Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе, глупая потаскуха, все равно погибать, и выродку твоему не жить! Как тебя понимать все-таки, неужто ты не знаешь, от кого понесла? Может, поднатужишься, припомнишь?

— Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда, — отвечала вышивальщица.

Над степью прокатился грубый утробный мужской хохот и злорадный женский визг.

Нойон же не унимался с вопросами:

— Так выходит, как понимать, — на базаре где приспособилась, что ли?

— Да, на базаре! — вызывающе ответила Догуланг.

— Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?

— Не знаю, торговец, или скиталец, или вор базарный, — повторила Догуланг.

И опять взрыв хохота и визг.

— А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор — самое главное на базаре этим делом заняться!

И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос. Кто-то сильно и громко крикнул:

— Это я — отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!

И все разом стихли, все разом оцепенели — кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю

минуту, навсегда уносившую с собой не выданную вышивальщицей тайну?

И все поразились: прищпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене. И, удерживая Акжулдуза на месте, снова повторил громко, оборачиваясь на стремянах к толпе:

— Да, это я! Это мой сын! Имя моего сына — Кунан! Мать моего сына зовут Догуланг! А я — сотник Эрдене!

С этими словами на виду у всех он соскочил с коня, хлопнул Акжулдуза наотмашь по шее, — тот отпрянул, а сам сотник, сбрасывая на ходу с себя оружие и доспехи, отшвыривая их в стороны, направился к вышивальщице, которую уже держали за руки палачи. Он шел при полном молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти.

В ту же минуту ударили добулбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повинования и общего экстаза страстей. И все разом опомнились, все вернулось на круги своя, раздалась команды — всем быть готовыми к движению, к походу. И возглашали барабаны: всем быть, как все, всем исполнять свой долг! А палачи немедленно приступили к делу. На помощь палачам бросились еще трое жасаулов. Они повалили сотника на землю, быстро связали ему руки за спиной, то же самое проделали и с вышивальщицей и подтащили их к лежащему верблюду; быстро накинули общую веревку — одну удавку на сотника, другую, через межгорбие верблюда, — на шею вышивальщицы и в страшной

спешке, под несмолкаемый грохот барабанов, стали поднимать верблюда на ноги. Животное, не желая подниматься, сопротивлялось. Верблюд орал, огрызался, злобно лязгая зубами. Однако под ударами палок ему пришлось встать во весь свой огромный рост. И с боков двугорбого верблюда повисли в одной связке, в смертельных конвульсиях, те двое, которые любили друг друга поистине до гроба.

В барабанной суматохе не все заметили, как паланкин хагана понесли с холма. Хаган покидал место казни, с него было довольно; наказание достигло цели, более того, превзошло ожидания — ведь обнаружился-таки тот неизвестный, обладавший вышивальщицей, что постельные утехи ставил превыше всего, им оказался сотник, один из сотников, обнаружился-таки на глазах у всех и понес заслуженную кару, быть может, в отместку за того, давнего неизвестного, так и оставшегося неизвестным, в объятиях которого побывала в свое время его Бортэ, родившая первенца, всю жизнь в глубине души не любимого хаганом...

А барабаны гудели, рокотали яростно и надсадно, сопровождая гулом своим проход верблюда с повешенными телами любовников, разделивших на двоих одну веревку, перекинутую через верблюжье межгорбие. Сотник и вышивальщица бездыханно болтались по бокам выючного животного, — то было жертвоприношение к кровавому пьедесталу будущего владыки мира.

Добулбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступи он вопреки воле хана, неуклонно идущего к своей цели...

Палачи-жасаулы прошествовали со своим верблюдом — передвижной виселицей — мимо войска и обо-

зов, и, пока они погребали тела умерщвленных в заранее вырытой яме, добулбасы не умолкали, барабанщики работали в поте лица.

Войско тем временем выступило в путь, и снова степная армада Чингисхана двинулась на запад. Полчища конницы, обозы, стада, гонимые для прикорма, оружейные и прочие подсобные мастерские на колесах, все, кто шел в походе, все до единого, поспешно снимались, поспешно покидали то проклятое место в сарозекской степи, все уходило не мешкая, и осталась на покинутом месте лишь одна неприкаянная душа, не знавшая, куда себя деть и не посмевавшая напомнить о себе, — прислужница Алтун с ребенком на руках. О ней вдруг все забыли, от нее уходили, словно бы стыдясь того, что она еще существует, все делали вид, что ее не видят, все бежали, как с пожара, всем было не до нее.

Вскоре все смолкло вокруг, никаких добулбасов, никаких возгласений, никаких знамен... Лишь вмятины от копыт, унавоженный путь, указывающий направление похода, — исчезающий след в сарозекской степи...

Покинутая всеми, в оглушительном одиночестве, прислужница Алтун бродила, подбирая у вчерашних очагов остатки подгорелой и брошенной пищи, складывая про запас полуобглоданные кости в сумку, и среди прочего наткнулась на оставленную кем-то овчину, взвалила тушку себе на плечи, чтобы постелить ее на ночь под себя и ребенка, мать которого она оказалась поневоле...

Поистине Алтун не знала, что ей делать, куда путь держать, как быть дальше, где искать приюта, как прокормить младенца. Пока светило солнце, она еще могла надеяться на какое-то чудо: а вдруг да улыбнется счастье, вдруг да встретится жилище — затерявшаяся в степи пастушья юрта. Так думалось ей, так пыталась она обнадеежить себя, рабыня, получившая нечаянно и сво-

боду, и ту ношу судьбы, о которой она страшилась думать. Ведь новорожденный вскоре проголодается, потребует молока и помрет у нее на глазах от голода. Этого она страшилась. И была бессильна что-либо предпринять.

Единственное и маловероятное, на что могла рассчитывать Алтун, — это обнаружить в степи людей, если таковые существовали в этих пустынных краях, и, если окажется среди них кормящая мать, поднести ей ребенка, а себя предложить в добровольное рабство...

Женщина бродила неприкаянно по степи, шла наугад то на восток, то на запад, то снова на восток... Она шла с ребенком на руках без отдыха. День приближался к полудню, когда дитя стало все больше ерзать, хныкать, плакать, просить грудь... Женщина перепеленала младенца и пошла дальше, убаюкивая его на ходу. Но вскоре ребенок заплакал сильнее и уже не утихал, плакал до синевы, и тогда Алтун остановилась и закричала в отчаянии:

— Помогите! Помогите! Что же мне делать?

На всем необозримом степном пространстве не было ни дымка, ни огонька. Безлюдно простиралась вокруг степь, глазу не на чем остановиться... Бескрайняя степь да бескрайние небеса, лишь маленькое белое облачко тихо кружило над головой...

Ребенок корчился в плаче. Алтун взмолилась и запричитала:

— Ну, что же ты хочешь от меня, несчастный?! Ведь тебе от роду седьмой день! На свое несчастье появился ты на этот свет... Чем же мне накормить тебя, сиротиночка? Не видишь — вокруг ни души! Только мы с тобой в целом мире, только мы с тобой, горемычные, и только белая тучка в небе, даже птица не летит, только белая тучка кружит... Куда же мы с тобой пойдём? Чем

мне кормить тебя? Покинуты мы, брошены, а отец и мать твои повешены и закопаны, и куда идут люди войной, и зачем сила на силу прет со знаменами да барабанами, и чего ищут люди, обездолив тебя, новорожденного?!

Алтун снова побежала по степи, крепко прижимая к себе плачущее дитя, побежала, чтобы только не стоять, не бездействовать, не разрываться живьем от горя... А младенец не понимал, захлебывался в плаче, требуя своего, требуя теплого материнского молока. В отчаянии Алтун присела на камень, со слезами и гневом рванула ворот своего платья и сунула ему грудь свою, уже немолодую, никогда не знавшую ребенка:

— Ну, на, на! Убедись! Было бы чем кормить, неужто я не дала бы тебе молока пососать, сиротиночке несчастной! На, убедись! Может, поверишь и перестанешь терзать меня! Хотя что я говорю! Кому я говорю! Что моя пустышка тебе, что мои слова! О, Небо, какое же наказание ты уготовило мне!

Ребенок сразу примолк, завладев грудью, и, принаравливаясь всем существом своим к ожидаемой благодати, зачмокал, заработал деснами, то открывая, то закрывая при этом заблестевшие радостно глазки.

— Ну и что? — беззлобно и устало укоряла женщина сосунка. — Убедился? Убедился, что попусту сосешь? Да ты ведь сейчас зайдешься плачем пуще прежнего, и что мне тогда с тобой делать в этой проклятой степи! Скажешь — обман, да разве бы стала я тебя обманывать? всю жизнь в рабнях хожу, но никогда никого не обманывала, мать еще в детстве говорила, у нас, в роду моем, в Китае никто никого не обманывал. Ну, ну, потешься малость, сейчас ты узнаешь горькую истину...

Так приговаривала прислужница Алтун, готовя себя к неизбежной участи, но — странно ей было, что сосу-

нок, кажется, не собирался отказываться от пустой груди, а наоборот, блаженство светилось на его крохотном личике...

Алтун осторожно вынула из уст младенца сосок и тихо вскрикнула, когда вдруг брызнула из него струйка белого молока. Пораженная, она снова дала грудь ребенку, потом снова отняла сосок и опять увидела молоко. У нее появилось молоко! Теперь она явственно почувствовала прилив некой силы во всем своем теле.

— О, Боже! — невольно воскликнула прислужница Алтун. — У меня молоко! Настоящее молоко! Ты слышишь, маленький мой, я буду твоей матерью! Ты не погибнешь теперь! Небо услышало нас, ты мое выстрадавшее дитя! Имя твое Кунан, так называли тебя родители, твой отец с матерью, полюбившие друг друга, чтобы явить тебя на свет и погибнуть из-за этого! Поблагодари, дитя, того, кто явил нам это чудо — молоко мое для тебя...

Потрясенная происшедшим, Алтун умолкла, жарко стало, пот выступил на челе. Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она ничего, ни единой души, ни единой твари, только солнце светило, и кружила над головой одинокая белая тучка.

Насыщаясь и наслаждаясь молоком, младенец засыпал, тельце его расслаблялось, доверительно покоясь на полусогнутой руке, дыхание становилось ровным, а женщина, позабыв обо всем, что было пережито, преодолевая все еще гудящий в ушах беспощадный бой добулбасов, отдалась неведомым ранее сладостным ощущениям кормящей матери, открывая в том для себя некое благодатное единство земли, неба, молока...

А тем временем поход продолжался... Все дальше на запад катилась заданным ходом великая степная армия завоевателя мира. Войска, обозы, гурты...

В сопровождении стражи и свиты, за знаменосцами с развевающимися знаменами, на которых яростные драконы, расшитые шелками, изрыгали пламя, двигался Чингисхан на своем неизменном и неутомимом иноходце поразительной, как сама судьба, масти — с белой гривой и черным хвостом.

Земля уплывала назад, гудя под литыми копытами иноходца, земля убегала назад, но не убавлялась, а все прирастала, постоянно простираясь до вечно недостижимого горизонта все новыми и новыми пространствами. И не было тому конца и края. И будучи песчинкой по сравнению с бескрайностью и величию земли, хаган жаждал обладать всем, что было обозримо и необозримо, достигнуть признания его Повелителем Четырех Сторон Света. Потому и шел завоевывать, и вел войско в поход...

Хаган был суров и молчалив, как, впрочем, и положено быть тому. Но никто не предполагал, что творилось у него на душе. Никто ничего не понял и тогда, когда вдруг случилось совершенно неожиданное, — когда хаган вдруг круто повернул коня, повернул вспять, так круто, что поспешавшие следом чуть было не столкнулись с ним и едва успели принять в стороны. Тревожно и тщетно обзиревал хаган небеса, прислонив дрожащую ладонь к глазам, нет, не задержалось, не отстало в пути белое облачко, не было его ни впереди, ни позади...

Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее его белое облачко. Больше оно не появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло хагана.

Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что Небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков, сам же вернулся

назад в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным неизвестно где...

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через сарозекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безномерной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне, — одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина, наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом благодаря задуманному старшим следователем одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана Тансыкбаевым делу оказался в этот раз Абуталип Куттыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Тансыкбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города.

Тансыкбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели — допросы продолжались и в пути. Задача Тансыкбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из немецкого плена, оказавшихся в Югославии и вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов Советской власти путем неустанных допросов, сличения показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество ко-

ролевы следствия — полное признание обвиняемыми их вины и раскаяние в содеянном.

Начало тому было уже положено — в процессе допросов Абуталип Куттыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии; большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обростало живой плотью и, с благословения высшестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика в выявлении вражеских элементов никогда не вредна, вступало во вполне серьезную фазу. В случае успеха на фоне разгоравшегося международного конфликта с югославской компартией, предания Тито идеологической анафеме самим Сталиным оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало «большой урожай» не только зачинателю процесса Тансыкбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине — всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться. Отсюда шла согласованность действий. Во всяком случае, в таких областных городах, как Чкалов (бывший Оренбург), Куйбышев, Саратов, куда везли Абуталипа Куттыбаева на очные ставки и перекрестные допросы, приезда Тансыкбаева ожидали с нетерпением.

Тансыкбаев не терял времени, он любил темпы, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения, с какой болью и тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящиеся за окном пристанционные поселки. Тансыкбаев понимал, что происходило у Куттыбаева на ду-

ше, и пытался внушить ему, насколько возможно, доверительным тоном, что он-де, следовательно, нисколько не желает ему зла, потому как предполагает, что не так уж велика вина самого Куттыбаева, что-де ясно, конечно, что не он, Абуталип Куттыбаев, резидент, руководитель агентурной сети, зарезервированной спецслужбами на случай чрезвычайной ситуации в стране, и если Куттыбаев поможет следствию обнаружить главаря-резидента и, главное, раскрыть, железно доказать это на очной ставке, то свою участь он этим может облегчить. Очень даже. Смотришь, лет через пять—семь вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшей меры наказания — расстрела — он избежит, и наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка...

Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному: если тот пойдет на сотрудничество, то его записи сарозекских преданий, особенно «Легенда о манкурте» и «Сарозекская казнь», не будут приобщены к делу, и наоборот, если Абуталип этого не сделает, Тансыкбаев предложит суду рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. «Легенда о манкурте» — вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции наций, а «Сарозекская казнь» — осуждение сильной верховной власти, подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности, сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации, т. е. подчинения коллектива единой цели, отсюда недалеко и до

негативного восприятия социализма. А, как известно, любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается... Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают десять лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических «колосков»! С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу сарозекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Куттыбаева и заведению дела...

Поезд шел уже вторые сутки. И чем ближе к сарозекам, тем больше волновался Абуталип, вглядываясь через зарешеченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы, после тягостных увещаний и яростных угроз, он мог остаться наедине с собой, закрытый в своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма, как и алма-атинский полуподвал, здесь тоже окно было зарешечено, не менее крепко, чем там, здесь тоже в глазок присматривало жесткое око надзирателя, но все же это было движением в пути, переменой мест, и, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточно слепящего света с потолка, и самое главное — теплилась, то возгораясь, то угасая, неутихающая, саднящая душу надежда — увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке Боранлы-Буранный. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить и от них не получил ни единой строчки.

Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алма-Атой и водворили в спецвагон, в купе под стражу. И как только

понял он по ходу движения, что поезд идет в сарозекском направлении, так с новой силой застонала, запрочитала душа его — увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, Зарипу, и тогда будь что будет, только бы глянуть, узреть мимолетно...

Истосковался он до такой степени, что ни о чем другом теперь и думать не мог, только молил Бога, чтобы проезд через Боранлы-Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда Зарипа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака.

Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то, в самом деле, что стоило случаю волей своей распорядиться так, а не иначе, — почему бы детям и Зарипе не оказаться в тот час во дворе, пусть бы детишки играли в свои игры, а Зарипа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд, и дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов. А вдруг случилось бы такое, что редко, но случалось, — поезд бы взял да остановился на разъезде на несколько минут! И тут душа Абуталипа разрывалась: и хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо, — нет, не выдержал бы он такого страшного испытания, умер бы, да и детишек жалко — каково-то бы им пришлось, если б увидели отца в зарешеченном окне, как зашлись бы они в реве... Нет, нет, лучше не видеться...

И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, заговорить судьбу смилостивиться, чтобы исполнились загаданные желания, он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь по железнодорожным приметам, станциям в пути, различные варианты продвиже-

ния поезда — важно было установить, в какое время суток должны были они миновать сарозекский разъезд Боранлы-Буранный. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными, ведь поезд мог задержаться, выйти из графика, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абуталип, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая.

И еще очень опасался Абуталип и молил Бога избавить его от этой напасти — как бы кречетоглазый следователь Тансыкбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать боранлинский разъезд.

Сколько препятствий и опасностей злейшим образом противостояли чистому желанию человека всего лишь мельком увидеть своих родных — такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет, — окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Боранлы-Буранный.

Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абуталипа в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи, он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе, не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себе отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Тансыкбаевым, фанатично и цинично добивавшимся по-

ставленной цели — раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность.

Не подконтрольный ни Богу, ни сатане, Тансыкбаев все рассчитал и предопределил, как Бог и сатана, оставалось только действовать. С тем он и ехал, с тем он и вез в арестантском купе Абуталипа Куттыбаева на очные ставки, чтобы поставить последние точки над «і».

Абуталип же молил Бога лишь об одном — чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих Эрмека и Даула, увидеть Зарипу, напоследок, навсегда. Большого он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду! Что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Тансыкбаевым, перед которым он был абсолютно беззащитен и бесправен и, стало быть, столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме гибели, чуть раньше или чуть позже, но гибели в лагерях. Абуталип приходил к неизбежному выводу: он обреченная жертва в руках Тансыкбаева. В свою очередь, Тансыкбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле.

Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием: расстрелом, лишением свободы на двадцать пять лет, на пятнадцать или де-

сять лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу, не только оправдывала карателя, но и более того — обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессуемого, приносимого в жертву кровавому молоху истребления инакомыслия, обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость.

Так оно и получалось. Поезд катился по сарозекской степи, колеса вращались, Тансыкбаев и его подследственный ехали в одном вагоне, чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимое для блага трудящихся дело — осуществить очередное разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы невыносим, самораспустился бы, иссяк в сознании масс. Потому требовалось все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то ликвидировать...

А поезд катился. И поскольку Абуталип ничем и никак не мог изменить судьбы, то вынужденно смирился со своей горькой участью как с неотвратимым злом. Теперь он воспринимал суть происходящего настолько же покорно и безнадежно, насколько болезненно и отчаянно сопротивлялся тому поначалу. Теперь он все больше убеждался, что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыкбаевым. Эта сила оказалась страшнее войны и страшнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роду человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделия в просторах Вселенной, пока не появился на

земле человек, который, один-единственный из всех земных тварей, сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо дня в день, из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла. В этом смысле Тансыкбаев был для Абуталипа начальным носителем дьявольщины. Потому-то они и следовали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу.

Когда Тансыкбаева отвлекали на разных станциях встречающие сослуживцы местного уровня, приносившие, кто по дружбе, кто по службе, всяческую дорожную снедь и выпивку, Абуталипа это даже радовало — все же меньше времени оставалось у того на терзание допросами. Пусть себе услаждается в пути. В Кызыл-Орде на вокзале была особенно радушная встреча коллег — друзья принесли в вагон Тансыкбаева дымящееся блюдо, покрытое белым полотенцем. В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощение: «Казы, кабырга! — полушепотом, с удовольствием проговорил один из них. — А запах какой! В городе такого не бывает. Степное мясо!»

Через краешек зарешеченного окна Абуталип увидел, как Тансыкбаев в шинели внакидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие, — возможно, по поводу нового анекдота, — пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов, каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. А бдительная милиция никого сюда не подпускала — в изголовье состава, у спецвагона стояли они, тансыкбаевцы, одни, довольные, уверенные, счастливые, и никому совершенно не было дела до того, что рядом, в арестантском купе,

томился посаженный их стараниями не вор, не насильник, не убийца, а, напротив, честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене, и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете и потому не клявшийся и не кающийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу...

После Кзыл-Орды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь в заснеженных низинах, блеснула Сыр-Дарья, и вскоре, уже на заходе солнца, завиднелось посреди степи Аральское море. Вначале то камышовой излучиной, то отдаленным краем чистой воды, то островком напоминало море о себе, а вскоре Абуталип увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение: и снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на каменистом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков.

Припомнил Абуталип, что Буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казангап получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарняках, и заныло, защемило тревожно сердце — до разъезда Боранлы-Буранный оставалось не так много — ночь езды, а утром, часам к десяти или чуть позднее, прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове состава, мчась мимо боранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сараюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегаящиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходит, поездов, — с востока на запад и с запада на восток, но под-

скажет ли сердце Зарипе, что Абуталип проедет мимо в то утро на запад в арестантском купе спецвагона, а может, детские души почувют нечто необъяснимое и тревожное, и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд! О создатель, для чего же надо жить людям так тяжело и горько!

Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже накатывалась исподволь зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни. А поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи...

Не спалось, маялся Абуталип Куттыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе:

— Заключенный, ты что все шебуршишься? Не положено так! Сиди спокойно!

Но Абуталип не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику:

— Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру. Честное слово! А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему — зачем я вам мертвый? Истинно — не могу заснуть!

Как ни странно (причину той отзывчивости Абуталип понял на другой день утром), надзиратель принес из купе Тансыкбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталип уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне под drobный стук колес и завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза, бежит, надрываясь и хрипя, в страхе,

что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза, и казалось, что происходит это наяву, настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось, в горле пересыхало. Паровоз же гнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу, и звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам: «Зарипа, Даул, Эрмек, где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь!» Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла, а позади наступил, готовый смять, раздавить его, грохочущий паровоз, и не было сил убежать, скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе, по пятам паровоза... И оттого становилось еще хуже — страх, отчаяние сковывали движения, ноги становились непослушными, дыхание прерывалось...

Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип уже сидел у зарешеченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи, но постепенно земля прояснялась, утро входило в силу.

День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы...

Да, пошли уже собственно сарозекские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям, — пригорки, овраги, поселения, первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши с зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там и разъезд Боранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко — ведь сюда, в эти места, Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах — на поминки, на свадьбы...

Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке — лисьем малахае, и Абуталип приник к самой решетке — а вдруг это кто из своих... А что, если вдруг то Едигей на своем Каранаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который бежит, как, должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке...

И как-то, сам того не замечая, поддался Абуталип настроению — стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещмешок. И стал ждать. Но не усидел — добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете, и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя.

А поезд шел по сарозекским степям... Смирив себя, Абуталип сидел, зажав сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно.

На станции Кумбель поезд простоял семь минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда — товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разминуться в разные стороны, — казались Абуталипу желанными и родными, ведь они совсем недавно проходили через Боранлы-Буранный, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы.

Но вот его поезд снова двинулся в путь, и, пока он шел вдоль перрона, пока выходил из пределов станции, Абуталип успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да, да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев, да и они наверняка знали старожилы боранлинских — Казангапа, Едигея, их домочадцев, ведь сынок Казангапа Сабит-

жан окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте...

Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрее и быстрее. Припомнилось Абуталипу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам...

К еде, выданной ему на утро, Абуталип даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда Боранлы-Буранный осталось совсем немного — часа два с небольшим, и теперь Абуталип опасался, как бы не пошел снег, как бы не заметелило, — ведь тогда Зарипа и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали...

«О, Боже, — думалось Абуталипу, — воздержись в этот раз от снега. Повремени немного. Ведь и потом у тебя хватит времени на это. Ты слышишь? Прошу тебя!» Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые руки между колен, Абуталип пытался сосредоточиться, набраться терпения, уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дождаться того, чего он просил у судьбы, — увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели... Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец, даже в плену не был так желт, и уже сед, и глаза не те, поугасшие от горя, морщины резко прорезались на лбу... А ведь о старости еще не думалось... Если бы сыночки Даул и Эрмек, если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы — испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы, и стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде...

Размышляя об этом, Абуталип поглядывал в окно. Вот опять знакомое место — пригорки, а между ними седловинка. Мечтал когда-то приехать сюда с детворой боранлинской, чтоб набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа.

В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей.

— Выходи на допрос! — приказал старший из них.

— Как на допрос? Зачем! — невольно вырвалось у Абуталипа.

Надзиратель даже придвинулся к нему недоуменно, не больной ли случаем:

— Что значит, зачем? Не понимаешь, что ли, выходи на допрос!

Абуталип в отчаянье опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая, в окно, чтобы камнем проломиться прочь, но на окне была решетка... Пришлось подчиниться. Значит, не судьба. Значит, не увидать ему, прикинув к окну, того, чего он так ждал. Абуталип медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Тансыкбаеву, как на виселицу. И, однако, мелькнула последняя надежда — впереди еще часа полтора пути, может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Тансыкбаева было всего четыре шага. Долго шел Абуталип эти четыре шага. А тот уже ждал его.

— Заходи, Куттыбаев, поговорим, поработаем, — соблюдая строгость в лице и голосе и тем не менее довольно оглаживая свежесбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Тансыкбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами. — Садись. Разрешаю садиться. Так будет удобней и тебе, и мне.

Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зову. Убить кречетоголазого было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, кречетоглазый не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе.

Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением сарозекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Боранлы-Буранный, Тансыкбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах. И Абуталип не утерпел, он истомился, извелся за несколько минут, так тяжел был ему этот вызов на допрос. И он сказал Тансыкбаеву:

— Я жду, гражданин начальник.

Тансыкбаев удивленно поднял глаза.

— Ты ждешь? — недоуменно проговорил он. — Чего ты ждешь?

— Допроса жду. Вопросов жду...

— Ах вон оно что! — протянул Тансыкбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество. — Что ж, это неплохо, Куттыбаев, я тебе скажу, совсем неплохо, когда обвиняемый сам, как говорится, по доброй воле, раскаившись, ждет допроса, чтобы ответить на дознание... Значит, ему есть что сказать, есть что открыть следственным органам. Не так ли? — Тансыкбаев понял, что именно так следует вести сегодня допрос, сменив угрожающий тон на обманчиво дружелюбный. — Стало быть, ты осознал, — продолжал он, — в чем твоя вина, и желаешь помочь следственным органам в борьбе с врагами Советской власти, даже если ты сам был врагом. Важно, что для нас с тобой Советская власть прежде всего, дороже отца-матери, разумеется, для каждого по-своему. — Он замолчал удовлетворенно и добавил: — Я всегда думал, что ты разумный человек, Куттыбаев.

И всегда надеялся, что мы с тобой найдем общий язык. Что молчишь?

— Не знаю, — неопределенно ответил Абуталип, — не понимаю, в чем я виноват, — добавил он, украдкой поглядывая за окно вагона. Поезд шел напряженно, и сарозекская степь под хмуро нависающим небом убегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино.

— Вот что я тебе скажу. Будем откровенны, — продолжал Тансыкбаев. — Ведь тебя везут, как короля, в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря. За таксык в купе отдельном не повезут. Значит, ты важная персона в следственном деле. От тебя многое зависит. И с тебя особый спрос. Подумай. Очень даже подумай. А теперь послушай, что я скажу. Сегодня поздно вечером мы прибываем в Оренбург, в Чкалов то есть. Там нас ждут. Это наш первый пункт. Ты знаешь, там проживают двое из твоих подельников: Попов Александр Иванович и татарин Сейфулин Хамид. Оба они уже под арестом. Кстати, с твоих показаний. И оба признаются, что вместе с тобой были в плену в Баварии, а потом вместе бежали, — кстати, при странных обстоятельствах, почему-то только вашей бригаде удалось бежать из каменоломен, в этом мы еще разберемся. А потом в Югославии подвизались, и оба они дают показания, что были на встрече с английской миссией. Ты хорошо знаешь, о чем речь. Об этом ты писал в своих воспоминаниях. Надо сказать, любопытно написанных. Нам известно, что Попов — резидент, а Сейфулин его дублер, правая рука. Ты, Куттыбаев, конечно, не первая скрипка в агентуре, потому тебе облегчение, если сможешь следствию.

— Какая агентура? Я уже говорил, что я не видел их с сорок пятого года, как кончилась война, — вставил Абуталип.

— Это не важно. Совсем не важно. Не обязательно видеться в личном порядке, с глазу на глаз. Кто-то был связным. Ну, скажем, этот самый правдолюбец Едигей Джангельдин не ездил ли в Оренбург или куда еще? Ведь и так могло быть, что вы держали связь через кого-то. Ты подумай сначала.

— Если я скажу, что Едигей ездил в Оренбург на своем верблюде Каранаре, — это пойдет? — не удержался Абуталип.

— Ты опять за свое, Куттыбаев. Напрасно. Я с тобой ведь по-хорошему, а ты уже нос воротить. Сопротивление только во вред тебе. А насчет Едигея можешь не беспокоиться. Надо будет, возьмем и его, даже вместе с верблюдом. Если хочешь, чтобы мы его не трогали, не крути на очной ставке.

Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Боранлы-Буранный. Ход рассуждений кречетоглазого ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тансыкбаева напала необычная словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос.

— Так вот, — прервал молчание Тансыкбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа. — Я уверен, что мы пойдем друг друга, в этом твой выход. Очная ставка в Оренбурге определит главное — или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему. Мы доберемся и до самого Тито, которому вы служили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным, корче-

вать будем беспощадно. Так что, дорогой, благодари судьбу, что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу. Ты понимаешь, о чем речь?

Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. Значит, так и не придется увидеть своих хотя бы в окно. Эта мысль сверлила его мозг.

— Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь? — допытывался Тансыкбаев.

Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь.

— Ну вот, так бы давно! — Тансыкбаев истолковал кивок как знак согласия, он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо. — Я знал, что ты неглупый джигит, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся. Делай все, как я скажу. Самое главное — не волнуйся на очной ставке, гляди в глаза и говори все, как есть. Попов — резидент, с сорок четвертого года завербован английской разведкой, перед депортацией был на совещании у самого Тито, имеет долгосрочное задание на случай волнений. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина, значит, так, Сейфулин — правая рука Попова. И все — этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявления и не сомневайся. Тебе ничего не грозит. Абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так, стало быть. С врагами у нас разговор короткий — врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем — делаем скидку. Запомни. И еще запомни, со мной шутки плохи. А что ты такой бледный, потный какой-то, тебе что, нездоровится? Душно?

— Да, плохо себя чувствую, — сказал Абуталип, преодолевая приступ головокружения и тошноты, точно он отравился дурной пищей.

— Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге чтобы как штык. Понял? На очной ставке чтобы никаких шатаний. Никаких «не помню, не знаю, забыл» и прочее... Все, как есть, выкладывай, и баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами. Вот так. Сейчас не будем заниматься писаниной, иди отдыхай, а по итогам очной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаю, что мы с тобой обо всем договорились. — С этими словами Тансыкбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе.

И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места, до Боранлы-Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать, быть готовым к любому для себя исходу, но прежде всего надо было умерить скорость поезда. «Надо, чтобы поезд шел медленнее», — подумал Абуталип, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость, за окном прекратилось раздражающее мелькание. И тогда он сказал себе: «Все будет, как я прошу!» — и немного успокоился, перестал задыхаться; приникнув к решетчатому окну, он стал ждать.

Поезд и в самом деле подходил к разъезду Боранлы-Буранный, куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому оказалось не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы, а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне.

Абуталип всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь, до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы: сугробы, прогалины у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь, — он воспринимал, как святое видение, — с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с Зарипой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах, вот полянка, где летом бегала детвора боранлинская и его мальчишки Даул и Эрмек... А вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них — едигеевский Каранар, его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себе куда-то; но что это — снег пошел вдруг, в воздухе за окном заметались снежинки, ну конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть непогоде, но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку, ведь видны уже загоны верблюжьи и первая крыша с дымом из трубы, а вот и стрелка, поезд переходит на запасную колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у будки с флажком, так это же Казангап, жилистый, как посохшее дерево; о Боже, вот промелькнула будка Казангапа, поезд движется дальше, мимо поселка: вот домики, их крыши и окна, вот кто-то вошел в дом, только спину его увидел Абуталип, а вот кто-то орудует у жердей и досок, что-то строит для детворы. Едигей, — да, это он, Едигей, в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек, да, Эрмек мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то подает ему с земли, о Боже, лицо его только мелькнуло, а где же Даул, где Зарипа? Вон женщина идет беременная, то жена начальника разъезда Сауле, а вот и Зарипа, в платке,

сбившемся на плечи, Зарипа и Даул, она ведет младшего за руку, они идут туда, где Едигей с детворой что-то сооружают, они идут и не знают, что он, Абуталип, судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать дико и отчаянно: «Зарипа! Родная! Даул! Даул, сынок мой! Это я! Я вижу вас последний раз! Прощайте! Даул! Эрмек! Прощайте! Не забывайте! Я не могу без вас! Умру я без вас, без родных моих детей, без жены моей любимой! Прощайте!»

И все, что было увидено в те прмелькнувшие мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Боранлы-Буранный. Уже валил снег за окном, густо и обильно, уже давно все осталось позади, но для Абуталипа Куттыбаева время остановилось в минувшем пространстве, на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни.

Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некоей воле, тихо, украдкой проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь, ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы, и он, вместо того чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий, глядел в окошко, позволил Тансыкбаеву обращаться с собой, как с собакой, которой приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталип дал себе слово, которое не произнес, но понял...

Горькую сладость мимолетной встречи Абуталип испытывал теперь до дна. Только это было в его силах, только это оставалось в его воле — воскрешать и воскре-

шать все заново, подробно, в деталях, зримо: то, как увидел вначале Казангапа, все такого же, с неизменным флажком в жилистой руке, на постоянном его посту, сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда; и то, как потом пошли боранлинские домики, загоны для скота, дымки над трубами, и потом — как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле Буранного Едигея, что-то соорудившего для ребятишек в тот час, верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно — Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, смуглолицый, в телогрейке с засученными рукавами, в кирзачах, и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом. Бедная, родная Зарипа так близко увидена была им — и то, что платок сбился на плечи, обнажив ее черные волнистые волосы, и бледное лицо, такое трогательное и желанное; расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные им, наклон головы к сыночку — она что-то ему говорила, — все это, бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи... И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда...

Всю дорогу шел снег, мела, крутила пурга. На одной из станций перед Оренбургом поезд задержался на целый час — расчищали пути от сугробов... Слышались голоса, люди работали, проклиная погоду и все на свете. Потом поезд снова двинулся и шел, окутанный метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго, придорожные деревья смутно высились черными, безмолв-

ными корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видно. На сортировочной станции опять же долго стояли в ночи — спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это понял по толчкам вагонов, по крикам сцепщиков, по гудкам маневровых локомотивов. Потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, на запасный путь.

Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу: «Хорош! Отваливай!» Вагон остановился как вкопанный.

— Ну, все! Собирайся! Выходи, заключенный! — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. — Не задерживай! Выходи! Заспался? Глотни свежего воздуха!

Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю:

— Я готов. Куда идти?

— Ну, готов, так шагай! А куда идти, конвой укажет. — Надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивленно и возмущенно заорал, остановил его: — А вещмешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки!

Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок, и когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону.

— Остановись! — прижал Абуталипа к стенке надзиратель. — Пропусти! Пусть товарищи пройдут.

Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыкбаева.

— Товарищ Тансыкбаев! — донеслись их взволнованные голоса. — С прибытием! Уж мы заждались вас!

Уж мы заждались! А у нас снегопад! Извините! Разрешите представиться, товарищ майор!

Вооруженный конвой — трое в ушанках, в солдатской форме — стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине.

— Ну, сходи! Чего ждешь? — торопил один из конвоиров.

Сопровождаемый надзирателем, Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег. От морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, заметных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей.

— Сдаю заключенного номером девяносто семь! — доложил конвою старший надзиратель.

— Принимаю заключенного номером девяносто семь! — эхом ответил старший конвоир.

— Все! Шагай, куда прикажут! — сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то: — А там посадят в машину и увезут...

Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. Шли, закрываясь от снега. Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены.

Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако, задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более что ночь, нерабочее время. Кто не согласится! В разговоре Тансыкбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад, можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алма-Аты.

Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот ног по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший надзиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыкбаеву, крикнул:

— Заключенный номером девяносто семь погиб!

— Как погиб? — вскочил вне себя Тансыкбаев. — Что значит погиб?

— Бросился под паровоз! — уточнил старший надзиратель.

— Что значит бросился? Как бросился? — неистово тряс надзирателя Тансыкбаев.

— Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались, — начал сбивчиво объяснять конвоир. — Там же состав передвигали. Туда-сюда... Ну, мы и остановились, чтобы переждать... А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса...

Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыкбаев стал лихорадочно собираться к выходу.

— Гад такой, сволочь, выкрутился! — выругался он с дрожью в голосе. — Все дело сорвал! А? Надо же! Ушел ведь, ушел! — и отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки.

Его оренбургские коллеги, однако, не преминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой...

Содержание

О том, как жить и как умирать. <i>Г. Гачев</i>	5
КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ (ВЕЧНАЯ НЕВЕСТА). Роман	17
ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ. Повесть	265
БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА. Новелла	371

Литературно-художественное издание

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ
(ВЕЧНАЯ НЕВЕСТА)

Ответственная за выпуск Наталия Соколовская
Редактор Ирина Доронина
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Корректоры Эмилия Коваленко, Алевтина Борисенкова, Людмила Ни
Верстка Александра Савастени

Директор издательства Максим Крютченко

Подписано в печать 15.12.2006. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Тираж 50 000 экз.
Усл. печ. л. 30. Изд. № 227. Заказ № 0628060.

Издательский Дом «Азбука-классика».
196105, Санкт-Петербург, а/я 192. www.azbooka.ru



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЗБУКА» ОБРАЩАТЬСЯ:**

- Санкт-Петербург:** *издательство «Азбука»
тел. (812) 327-04-56,
факс 327-01-60
«Книжный клуб «Снарк»
тел. (812) 703-06-07
ООО «Русич-Сан»,
тел. (812) 589-29-75*
- Москва:** *ООО «Азбука-Максимум»
тел. (495) 627-57-28
info@azbooka-m.ru
Интернет-магазин «Лабиринт»
www.labyrinth-shop.ru*
- Екатеринбург:** *ООО «Валео Книга»
тел. (3432) 42-07-75*
- Новосибирск:** *ООО «Топ-книга»
тел. (3832) 36-10-28;
www.opt-kniga.ru*
- Калининград:** *Сеть магазинов «Книги и книжечки»
тел. (0112) 56-65-68, 35-38-38*
- Хабаровск:** *ООО «МИРС»
тел. (4212) 29-25-65, 29-25-67;
sale_book@bookmirs.khv.ru*
- Челябинск:** *ООО «ИнтерСервис ЛТД»
тел. (3512) 21-33-74, 21-26-52*
- Казань:** *ООО «Таус»
тел. (8432) 72-34-55, 72-27-82
tais@bancorp.ru*

INTERNET-МАГАЗИН

*Все книги издательства в Интернет-магазине «ОЗОН»
<http://www.ozon.ru/>*

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЗБУКА» ОБРАЩАТЬСЯ:**

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Украина: 000 «Азбука-Украина», 04073
г. Киев, Московский пр., 6
(2 этаж, офис 19)
тел. (+38044) 490-35-67;
sale@azbooka.net

Израиль: «Спутник», P.O.B. 2462, Kefar-Sava,
Israel, тел. +972-9-767-99-96,
dob@sputnik-books.com

Германия: Каталог «Аврора»,
официальный представитель
издательства «Азбука»,
Франкфурт-на-Майне
тел. (069) 37564252;
avrora-katalog@yandex.ru

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас посетить интернет-сайт
издательства «АЗБУКА» по адресу

www.azbooka.ru

На нашем сайте вы найдете каталог книг издательства,
информацию о новинках и планах на будущее,
отрывки из новых книг и многое другое.

Здесь можно задать интересующие вас вопросы
и высказать свои пожелания.

На сайте вы также найдете ссылки
на интернет-магазины, торгующие книгами
издательства «Азбука».

Ждем вас круглосуточно, каждый день!

КНИГА — ПОЧТОЙ

ЗАО «Ареал», СПб., 192242, а/я 300
тел.: (812) 774-40-63; www.areal.com.ru;
e-mail: postbook@areal.com.ru